1 р. 50 к.

ИНДЕКС 73274

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 1992 году вы прочтете в нашем журнале

Виктор АСТАФЬЕВ. Новые произведения.

Василий БЕЛОВ. Рассказ; главы из новой книги.

Юрий БОНДАРЕВ. **Мгновения** (цикл художественных миниатюр); Размышления о русской и мировой литературе.

Олег ВОЛКОВ. **Воспоминания** (новое произведение тематически продолжает книгу "Погружение во тьму"; писатель рассказывает о тех нравах, которые царили в Московской писательской организации в 60–80-е годы, о том, как общественность боролась за спасение Байкала, русского леса, рек, за чистоту нашей природы).

Дмитрий ЖУКОВ. **Сны** (исторический роман о монархисте и мистике В. В. Шульгине, видевшего всех властителей за последние 100 лет – от Александра II до Брежнева, бывшего другом и врагом великого множества исторических фигур – персонажей книги; роман о размышлениях Шульгина, его пророчествах, испытаниях и загадочных встречах).

Владимир КРУПИН. **Прощай, Россия, встретимся в раю. Стариковские записки.** Повесть.

Станислав КУНЯЕВ. **Сергей Есенин.** Из серии "Жизнь замечательных людей".

Эдуард ЛИМОНОВ. Рассказы.

Владимир ЛИЧУТИН. Новые очерки из цикла **"Душа неизъяснимая"** (Размышления о русском народе).

М. О. МЕНЬШИКОВ. **Неопубликованные работы.**

Неизвестные материалы о друзьях и врагах Сергея Есенина.

Федор НЕСТЕРОВ. Наиболее интересные фрагменты из только что законченной книги **"Очерки по истории зарубежной русофобии".**

Валентин ПИКУЛЬ. **На задворках великой империи.** Главы из неоконченной третьей части романа.

Валентин РАСПУТИН. Новые произведения.

Дуглас РИД. **Спор о Сионе.** 2500 лет еврейского вопроса.

Ирина РИМСКАЯ-КОРСАКОВА. **Побежденные.** Роман. (Это значительное по объему, многоплановости и глубине содержания произведение рассказывает о трагических судьбах русских аристократов, оставшихся на Родине и пытавшихся приспособиться к чудовищной действительности. Действие разыгрывается в 1931–1932 годах, когда органам ГПУ удалось нащупать следы этих людей, выявить их и уничтожить. И. В. Римская-Корсакова – внучка великого русского композитора.)

Аркадий САВЕЛИЧЕВ. **Потоп.** Роман (трагическая история затопления старинных русских сел и городов на Волге в предвоенные годы).

Владимир СОЛОУХИН. **Камешки на ладони.**

Княгиня Зинаида ШАХОВСКАЯ. Рассказы.

Подписная цена на год – 24 руб.
Розничная цена одного номера – 2 руб. 50 коп.

ПОДПИСЫВАЯСЬ НА ЖУРНАЛ "НАШ СОВРЕМЕННИК", ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА!

Наш современник, 1991, № 10, 1–192.

НАШ СОВРЕМЕННИК №10 1991

ISSN 0027-8238

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

№10 1991

ПРАЗДНИК СЛАВЯНСКОГО БРАТСТВА

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ
РСФСР

№10 1991

ИПО
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР
МОСКВА

Содержание

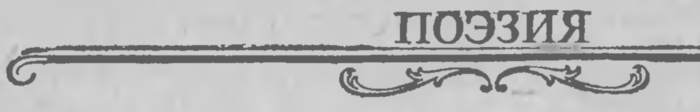
За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Технический редактор Л. Л. Ежова Корректоры М. В. Масленникова, Л. Н. Тихонова

Адрес редакции 103750, ГСП, Москва, Цветной бульвар, 30. Телефоны: 200-21-24 (главный редактор), 200-24-83, 928-32-16 (заместители главного редактора), 200-24-94 (ответственный секретарь), 921-46-71, 200-23-05 (отдел прозы), 200-22-97 (отдел поэзии), 200-24-28 (отдел очерка и публицистики), 200-24-70 (отдел критики), 200-24-78 (отдел писем, корректоры), 921-43-59, 200-24-62 (бюро проверки, технический редактор), 200-24-12 (зав. редакцией)

Сдано в набор 12.07.91. Подписано к печати 24.09.91 г. Формат 70×108[1]/16. Бумага типографская № 2. Высокая печать. Усл. печ. л. 16,8. Усл. кр.-отт. 17,24. Уч.-изд. л. 20,45. Тираж 313 025 Заказ 1783.

НПО Союза писателей СССР. 103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Ордена «Знак Почета» типография «Красная звезда».
123826, Москва, Хорошевское шоссе, 38.



ВИКТОР ЛАПШИН

ОТЕЦ

Что нового под солнцем, голытьба?
Кто из себя уж выдавил раба
И давит с чистой совестью соседа?
Иль мертвецов клянете до сих пор
За зверства, за безбожье, за разор?
Куда как весела у вас беседа!

Недаром вы повесили носы!
А ну-ка глянь, голуба, на часы...
Держи червонец —
шагом марш за водкой!
Родная власть погибнуть не дает:
Вновь мать-Россия,
как бывало, пьет,
Финансов нет —
и разговор короткий.

Ишь как помчался:
рубль-то даровой!
Ну ты, чего качаешь головой?
Я прав,
на дармовщину все мы падки,
Я сам такой, я в нем — себя корю.
...А в общем-то сегодня я дурю.
Немудрено: в семействе беспорядки.

Эх, жизнь! Вчера я поздновато лег.
Табак смолил,
никак заснуть не мог;
Жена храпела,
словно конь на случке...
А задремал — опамятовал вмиг:
На улице визг визгом, криком крик,
Приспичило орать какой-то сучке.

Нет, девкам нынче нечего терять!
Валяй, ори, коли взялась орать,
Да только умотай куда подале!..
Я на другой перевернулся бок...
Тут и пожаловал ко мне сынок,
Таким его мы сроду не видали:

Белее смерти! Бьет беднягу дрожь!
В руке блестит
кривой садовый нож...
Сам в валенках, в одних трусах...
Умора!
«Что? — говорит мне,—
надо бы помочь!»
В окно я глянул...
Вот уж ночь — так ночь!
Сова — и та прозрела бы не скоро!

ЛАПШИН Виктор Михайлович родился в 1944 году в городе Галиче Костромской области. Учился в Костромском и Вологодском педагогических институтах, служил в армии, двадцать лет проработал в районной газете. Автор нескольких книг стихотворений. Член СП СССР. Живет в Галиче.

Хрен знает где шатается луна!
Сказал я: «Наше дело сторона.
Теперь везде и мордобой, и свары.
Свою-то шкуру как бы уберечь!
Уж не о жизни — о покое речь!
А ты тут мне
разводишь тары-бары...»

Он мне в ответ:
«Да как же так, отец?
Выходит,
пусть бесчинствует подлец?
Неужто мы дадим уйти паскуде?»
Деваха будто сговорилась с ним —
Благует голосом недаровым:
«Спасите! Помогите! Люди, люди!»

На то и люди, чтобы жить умом!
Я говорю: «Зачем я строил дом?
Чтобы шпана его сожгла из мести?
Зачем родился ты, зачем живешь?
Чтоб засадили под лопатку нож?
Случись беда —
что я скажу невесте?»

Черт дернул за язык,
мать-перемать!
Невесту лучше б не упоминать!
Знать, я вчера
не с той ноги обулся...
Сынишка взвился...
По ручью из глаз...
«Вдруг там — она!
Вдруг там — ее — сейчас!»
К дверям он
как из пламени метнулся!

Я не зевал, схватить его успел.
Он вырвался, зубами заскрипел,
Глазами зыркнул —
и опять к порогу!
Тут я ему: «Лети — куда летишь!
Но, может быть,
сперва ты поглядишь,
Не отдала ли мать-то душу Богу?»

Оторопел, замешкался герой,
Моя острастка для него впервой,
Перевести не удается духа...
Глядит — и правда: мать едва жива,
Лежит пластом...
трясется голова...
Ну, думаю, не подвела старуха!

Дверь распахнул я —
«Не держу, иди!
Потом до гроба сам себя суди!
Неужто струсил?
Где ж твоя отвага?»
Он вздрогнул,
покраснел до черноты,
В лицо мне зыкнул ненавистно:
«Ты!..»
Сел на порог и зарыдал, бедняга.

Да я любому место укажу!
...А утром хвать — записка:
«Ухожу!»
Ну ничего, родная кровь обяжет.
У дурака в кармане ни рубля...
Но если что — дойду я до Кремля!
Вернется — и еще спасибо скажет!

ПРОЗА

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

АНГЕЛ ПРОЛЕТЕЛ

РОМАН

Глава первая

Луч летел над русской равниной, одинокий, пылающий. Вырывался из плотных косматых туч, касался мути земной, проводил огненную борозду, и там, где он трогал равнину, происходило преображение земли, озарялись воды и недра, открывались подземные клады, проступали сокровенные знаки и письмена.

Луч вонзался в лесные, окутанные туманом опушки, и там вскипали, превращались в пар мокрые снега. В дыму, в блеске катались шаровые молнии, озарялся дуб в неопавшей листве, и под ним кабанья лежка с дремлющим зверем. Луч мчался к ледяным озерам, и во льдах вставали столпы серебра, высвечиваясь из донных глубин, будто в озере подо льдами дышало, колебалось неведомое, готовое всплыть существо. Луч долетал к заброшенной, без проселков и дорог, деревне, ударялся в каменную колокольню, и на ржавом железе и мусоре загорались малые золотые крупицы, вспыхивал крест и нимб.

Луч пробегал над дорогой, и дорога, грязная, с черной жижей превращалась в плазму света, и колонна грузовиков расплескивала ртуть, белые брызги огня. Луч озарял железнодорожный ребристый

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих романов и повестей, в том числе «Шестьсот лет после битвы», «Рисунок баталиста», «Вечный город». Редактирует газету «День». Живет в Москве.

мост, и тусклое железо моста начинало искриться и плавиться, сквозь синее испарение металла мчался состав, и цистерны с мазутом казались слитками серебра.

Луч пролетал над огромной стройкой, над мокрыми котлованами, над бетонными коробами и башнями, над чадом и вонью моторов. Угрюмое месиво крутило и двигало, мяло землю, выдавливало из преисподней громадный пузырь. И этот уродливый, в ржавчине и окалине, купол преображался, соприкасаясь с лучом. Одевался в тончайшую слюду, покрывался легчайшей драгоценной пыльцой, словно храм с белоснежными столпами и фресками, с драгоценной мозаикой вставал средн вод и лесов.

Луч летел над равниной, пробивая хмурые тучи, и казалось — за тучами, невидимый, проносится ангел. Приближает к земле свой всевидящий огненный зрак.

Антонина и Фотиев встретились у обочины, по которой катился оранжевый японский бульдозер, и нож его в стальном параболоиде нес тусклое отражение дня. Антонина вышла после шумного изнурительного заседания профкома, где недоверчивые, отчаявшиеся рабочие требовали справедливого распределения квартир, грозили направить депутацию в Москву, а то и объявить забастовку. Фотиев освободился после ежедневно кропотливой работы с «Вектором» — окончил построение графиков, выявил зоны отставаний и срывов, оценил нерадивых и прилежных, развесил плотные многоцветные листы на стеклянных витринах, где в ломаных, с падениями и всплесками, линиях отражались пульсы и биения стройки — ее обмороки, стрессы, инфаркты, упрямый рост, неравномерное развитие. Эта встреча увенчала их день. Они легко отыскали друг друга среди путаницы и многолюдья.

— Боже, как я устала!.. Как я рада тебе!.. А ты?..

Они долго шли по пустынной булыжной дороге среди весеннего блеска, пока не добрались до ветхой, окруженной забором усадьбы. Проникли сквозь дощатую, похожую на торговый ларек проходную за высокую, в два роста, ограду и оказались в липовом парке. Здесь было влажно, туманно. В голых воздетых ветвях истошно кричали грачи. Сквозь сырые, угольно-черные стволы розовела больница — двухэтажная облупленная усадьба с колоннами, с растрескавшимся фасадом, ржавой продавленной крышей. Из-под известки щербато краснел кирпич. Колонны шелушились. Перед входом на каменной тумбе сидел чугунный грифон с отбитыми крыльями. Валялся больничный мусор — железные кровати, желтые медицинские шкафы, грязные бинты и вата.

Перед домом у деревянного столика топтались больные, в тощих пальто, в телогрейках, в одинаковых грязно-синих штанах. Смотрели на вошедших.

— Ты ступай, а я уж здесь подожду, — сказал Фотиев, испытав мгновенную тяжесть при виде запущенного строения, не желая погружаться в неопрятное вместилище хворей, недугов, страданий. — Погуляю, тебя подожду.

Он остался под липами, издали присматриваясь к стайке больных, над которыми хлопали крыльями, качались в вершинах черные птицы, роняли обломки веток.

Антонину у входа встретила немолодая женщина в белом, не слишком свежем халвте — главврач. На ее усталом, блеклом лице серые среди морщинок глаза выражали упрек, упрямое долготерпение, безнадежный, укоренившийся стоицизм. Они шли по коридору, где в проходах на кроватях недвижно, как мумии, лежали больные. Иные притулились у пыльных, заляпанных окон, окаменело смотрели в парк. Третьи вяло бродили, пропадая в сумерках коридора, как тени, и вновь возникали, одинаковые, в синих больничных пижамах, не замечая друг друга.

— Вы видите, какая у нас развалюха! — жаловалась главврач, показывая протекавшие потолки, лопнувшие, в ржавых потеках, трубы, просевшие потолочные балки. — Здесь когда-то жил граф, было собрание картин, библиотека, а потом усадьбу спалили и до войны хранили колхозное сено. В войну, когда наши отступали, тут разместился штаб, пушки прямо из окон стреляли. Немцы пришли и устроили госпиталь, немецкие могилы под липами. После войны здесь был дом инвалидов и колония малолетних преступников. Ну а уж после выделили нам под больницу. С тех пор латаем, закрашиваем, но сами видите, вот они, наши латки! Уж вы нам помогите в ремонте!

В палате под капельницей лежал старичок. Его худое обтянутое лицо напоминало долбленый, утонувший в подушке камень. В глазницах, словно скопившаяся вода, остановились глаза. Над ним наклонился бородатый санитар. Из-под белого халата до пола свисала черная ряска. На голове у санитара была маленькая скуфейка. И весь его облик, белый халат, ряска, голубые, мягкие, терпеливые глаза поразили Антонину. «Откуда здесь попик?» — удивилась она.

— Ну, как вы, Игнатий Тимофеевич? — спрашивал священник у старичка, поправляя ему одеяло, проводя рукой по каменному желтому лбу и незаметно, быстро крестя его. — Полегче? Отпустили вас чердачные силы?

— Полегче... Отпустили.. — донеслось из глубины долбленого камня, в котором слабо разомкнулись и тут же стиснулись губы. — Спасибо, отец Афанасий.

— И отпустят, и совсем уйдут! Вы Христову молитву читайте, как я вас учил. Ею и отбивайтесь от сил чердачных, когда подступят.

Врач негромко пояснила Антонине:

— У него бред. Мерещатся голоса, нечистая сила. «Чердачные», как он их называет. Запрещают ему есть. Он неделями в рот ничего не берет. Только капельницей его поддерживаем.

Отец Афанасий тем временем уже занимался с другим. Усадил у окна губастого, с идиотским лицом больного, водил по его щетине электробритвой, и тот замер, послушно отдавал себя во власть санитара, мраморно-белый при свете хмурого дня. А санитар в скуфейке водил бритвой, приговаривая:

— Вот теперь ты аккуратный будешь, Иван Викторович! А то нехорошо, как ежик ходишь! — Он провел своей пухлой мягкой ладонью по выбритой щеке, и больной по-собачьи благодарно потерся щекой о ладонь.

Находясь среди больных, Антонина тяготилась своим здоровьем, молодостью, красотой. И такое сострадание испытала она, такое стремление помочь, пожертвовать собой, послужить, как служит им синеглазый отец Афанасий. Невольно стала озираться, искать, в чем же могла проявиться ее немедленная помощь и жертва.

Сквозь грязные стекла в полукруглый старинный проем прорвался солнечный луч. Упал в темный угол. И там на кровати осветилось худое, яростное, ненавидящее лицо. Красные кабаньи глазки, мокрые, в пене, губы. Она ужаснулась этой беспощадной, необъяснимой ненависти. Все погасло, угол померк. Луч отлетел от больницы.

Фотиев ожидал Антонину, стоя перед больничным корпусом у щербатых ступеней. Оглядывал облупленный линялый фасад, напоминавший забинтованное лицо. Рука его рассеянно лежала на чугунной голове грифона. Железная птица с отломанными крыльями открыла металлический клюв, уперла в тумбу когтистые собачьи лапы. А в голых деревьях истошно кричали живые угольно-черные птицы, стучали о ветки живыми твердыми клювами.

Он вдруг увидел, как от столика, где топтались больные, отделился, направился к нему человек. Не прямо, не напрямик, а по извили-

стой сложной линии, не совпадавшей с тропинкой. Осторожно приблизился к Фотиеву, приподнялся на цыпочках, заглянул в глаза.

— От веществ проникновения в желание жизни случаются всевозможные перемещения и прогнозы.

Человек умолк, внимательно глядя на Фотиева. А тот смутился, испугался. Не знал, что ответить. Стоящий перед ним человек произнес нечто важное, сокровенное, переполнявшее его, не находившее отклика у других. Умолял, чтобы Фотиев понял его и откликнулся.

— Многие факторы происходят от размещения причин и несходства частей, проникающих в личные свойства.

Человек смотрел на него немигающими черно-выпуклыми глазами, словно хотел понять, как глубоко проникают в Фотиева его сложные мысли. Фотиев чувствовал, как болезненно-странно усваиваются им мысли, проникают в мозг, создавая в нем напряжение и страдание.

— Вы, как я понимаю, можете судить о наличии каких-то аномалий, каких-то отклонений, если я вас правильно понял? — произнес Фотиев, пытаясь угадать скрытый в речениях смысл.

— Отклонение аномальных отрезков просматривается посредством воздействий,— больной оглянулся в парк, проделал глазами змейку по мокрой, усыпанной прошлогодней листвою земле, по которой только что витиевато и сложно прошел. — Чувствительно по отношению к проводке на глубину залегания. Утечки в касаниях ног и легкое жжение суставов. Кожа лица и тела в сочетании с полями земли.

Больной был худ и измучен, с напряженным стиснутым телом, в мятом пальто, из-под которого виднелись синие больничные брюки. Птицы над его головой стучали клювами в ветки, и все его мускулы, каждая клеточка, жилка чувствовали близость атомной станции. Работу реактора, бег кипятка, выбросы газов, хрупкость металлических стенок, утечки ядовитых веществ, приближение аварий и взрывов. Его тело, превращенное в датчик, улавливало движение частиц, рассеянных в почве и водах. Он делал непрерывные замеры, брал пробы, ловил радиацию станции. Она, невидимая, излучала в его разум таинственную угрюмую силу, питала его безумие. Была наделена громадным разумом, гипнотизировала сознание больного.

Фотиев ощущал безмерность его тревоги, непосильное, изматывающее его дежурство. Он был ответствен за сохранение станции, стоял на страже ее турбин и реакторов. А она угрожала ему катастрофой, и симптомы беды сквозь тысячи проводков и контактов входили в хрупкое тело, причиняли жжение и боль.

Они смотрели один на другого, и Фотиеву казалось, что они вступили в тайный союз. Оба вместе стоят на дежурстве. Их двое, стерегущих, спасающих.

От столика, где стояли больные, к ним двинулся второй человек. Руки в карманах. Воротник пальто поднят. На голове помятая, с опущенными полями шляпа. Лицо небритое, остроносое. Шаг резкий, порывистый. Подошел не к Фотиеву, а к своему товарищу, с испугом наблюдавшему за его приближением.

— Лад-но! Лад-но! — ударяя на твердое «д», подошедший придвинул лицо, оскалив желтые зубы, выдвинул небритый костяной подбородок. — В глаза!.. Не мигая!.. В глаза!..

Его жалящие, с лиловыми точками глаза впились в зрачки другого. И тот замер, прикованный, завороженный. Смотрел, подчиняясь неистовой воле другого. Затем, опустошенный, обескровленный, понуро, устало побрел прочь.

— Секретно!.. Спецпропаганда!.. Документация! — теперь подошедший смотрел на Фотиева, впивался в его зрачки. — Пароль!.. Пароль, я вас спрашиваю! — больной угрожающе, злобно играл желваками, стискивал в карманах пальто кулаки. Фотиев чувствовал, как от него исходит острая, мучительная энергия, возбуждает и одновременно парализует. — Пароль, я вас спрашиваю! — настаивал человек, тыкая в лицо полями измятой шляпы.

Его подозрительность к Фотиеву сменилась доверием. Он видел в нем присланного из центра связного. Торопился передать сообщение. Кто-то враждебный хотел взорвать установку, какой-то вентиль, помещенный в тайную шахту. Уничтожить реактор. А он, одинокий, рискуя и жертвуя, скрывался в этой старой усадьбе, облаченный в дурацкую шляпу, в мятый больничный костюм.

— Вы наблюдатель? Агент? — спросил Фотиев, чувствуя, как его собственный ум погружается в зыбкие волны безумия. Испугался, что в нем, разумном, здравомыслящем, притаилась болезнь. — Вы агент? — повторил он чуть слышно.

Человек в шляпе замер. Насторожился. Что-то заподозрил. Глаза его спрятались в узкие прозорливые щелки. Он испытывал Фотиева, просвечивал, не верил ему. Фотиев был подставлен, подослан, был из стана врагов. Выуживал информацию.

Глаза его снова расширились, и под шляпой возникло другое лицо — легкомысленное, беззаботное, улыбающееся. Личина, под которой спасался, догадавшись о Фотиеве.

— Я нэ понимайт!.. Нэ понимайт по-русски! — картаво заговорил человек. — Матэ вылка уж марылка!.. Векер байка ил манайка!.. Эпер докер извалайка!.. — он улыбался, декламировал какие-то стихи на неведомом языке, победно смотрел на Фотиева. Превосходил его умом и знаниями. Был полиглот. Был воспитан, изящен в манерах. Их встреча проходила в изысканной нарядной гостиной среди дипломатов, политиков. Они оба, разведчики разных стран, знали все друг о друге. Боролись один с другим, но и ценили друг друга. Понимали истинное устройство мира, чувствовали свое превосходство над другими, неведающими. Теми, жалко и убого одетыми, столпившимися у деревянного столика, над которым грачи долбили ломкие ветки.

— За кем вы следите? Кто здесь скрывается? — Фотиев испытывал к нему влечение, был втянут в его пространство и время, в загадочное, искривленное призраками мироздание.

— Хотят взорвать станцию... Объект особого рода!.. Сто городов! Радиация!.. Грунтовые воды!.. В отсеки к пульту питания!

— Да кто взорвать хочет? — Фотиев пытался стряхнуть наваждение. Вспомнил свой давний, никуда не исчезнувший ужас, бегство в Чернобыле, опустевшую Припять. — Кто хочет взорвать?

— Условные знаки!.. Шифры команд!.. В газете, в разделе программ! Впечатан абзац о погоде!.. Читать на просвет!.. Воскресение в семнадцать ноль-ноль!.. — Он тонко вскрикнул, рубанул воздух ладонью: — Не позволю!.. Отсечка!.. Ноль информации!.. Только по экстренной!..

Фотиев помнил свое облучение в Чернобыле. Вой пожарных машин. Движение колонн по дороге. Зарево над взорванной станцией. И те сумасшедшие мысли: ее взорвали специально. Чья-то злая, жестокая воля разрушила корпус реактора, отравила воды и земли, окрестные города и селения. Весь мир, вся земля заминирована, и кто-то безумный и злобный держит палец на кнопке, готов надавить

Стоящий перед ним человек следил за атомной станцией. К ее водоводам и блокам, к раскаленной ядерной топке прокрадывались диверсанты, готовили взрыв. И он, аналитик, разведчик, стремился их упредить. Прослушивал позывные эфира. Просматривал газеты и письма. Отыскивал тайные знаки. Подмечал выражение лиц. Готовился к близкому часу: в потаенном отсеке, в подземном колодце, у секретного пульта перехватит и обезвредит врага.

Фотиев сострадал, узнавал в нем себя. Человек нахлобучил шляпу, засунул руки в карманы, уходил, убредал. Что-то бормотал, лепетал: «Лад-но! Лад-но!..» Ноги его едва волочились. Мелькала за деревьями мятая серая шляпа.

Антонина шла к нему по дорожке. Он заторопился к ней, будто не видел вечность. Радостно всматривался в милое под платком лицо. Здесь, в больнице, где скопилось столько бед и несчастий, он вдруг остро ощутил, как она дорога ему и любима.

— Ну, наконец-то!.. Заждался!.. Пойдем скорее отсюда!..

Они услышали быстрые, нагоняющие их шаги. Оглянулись. Скорой мелкой походкой их нагонял тот самый священник, которого Антонина видела в больнице. Длинная ряса мокрой бахромой мела дорогу. На голове остренько темнела бархатная скуфейка. Золотилась бородка, длинные, свисавшие из-под скуфейки пряди. Когда попадалась очередная лужа, он подхватывал рясу и ловко перескакивал, приземлялся на каблук сапога. Еще издали им улыбался.

Антонина смутилась:

— Я только что о вас вспомнила. Как вы больным помогаете. Меня это так тронуло. Хотелось вам поклониться.

— Спасибо на добром слове, — отец Афанасий догнал их, шел вровень. — Но только за что же кланяться? Это я должен им поклониться, они позволяют мне делать добро. Если б не позволяли, если б гнали прочь от себя, — как еще проявиться добру? Эти болящие моей душе работу находят. Милосердная душа Бога узрит. Я должен им поклониться за то, что они позволяют мне Бога узреть!

— Это так! Согласна! — закивала Антонина, радуясь словам о милосердной душе. Фотиев же почувствовал легкое отчуждение. Слова священника показались ему книжными, и он испытал раздражение.

— А я вас знаю! — обратился к нему отец Афанасий, будто угадал его отчуждение. — Я вас слушал однажды в Доме культуры, когда вы про свой «Вектор» рассказывали. Даже записывал. И в газеточке нашей местной читал статейку про «Вектор», про «Века торжество», как вы его называете. К тому же побывал в селе Троица. Познакомился с величавым старцем Костровым, который ладит челн на случай потопа. Читал его скрижаль, именуемую «Книгой утрат». И от него о вас слышал, узнал некоторые подробности вашего учения. Все хотел познакомиться, да не было случая, а вот теперь в больнице встретились. Бог знал, где свести.

— Вы, я вижу, отец святой, интересуетесь делами мирскими, — усмехнулся Фотиев, удивляясь осведомленности священника. — А я, признаться, человек далекий от неба. Занимаюсь земным устроением.

— Как же не заниматься нам сегодня земным устроением, когда кругом одно неустройство! Ведь я понимаю, вы со своим учением пришли не в райский сад, а в гиблое место, в гноище, откуда истекает погибель. Говоря образами писания — отсюда и дракон, и блудница. Вы со своим учением, как с копьем, нацелились в пасть дракону. Это, скажу я вам, подвиг!

— Да нет никакого дракона! — поморщился Фотиев. — И подвига нет никакого! Просто у меня есть концепция: управления атомной стройкой, и я ее внедряю. Принесет она успех или нет, будет легче строителям или они останутся в неразберихе и хаосе, — вот в чем забота!

— Об этом как раз и хотел высказаться, когда вас слушал в Доме культуры. Даже записывал в книжицу. Все земные устроения, за которые принимаемся, выпадут из рук и рассыпятся, если без Бога. А если с Богом, то выйдут желаемые. Без Бога, как уже бывало у нас, сговоримся, сладимся, соберемся в кучу, навезем для строительства кирпича, камня, железа, поставим столп до неба, а он нам на головы рухнет. Одних придавит, а другие, которые уцелеют, побегут прочь, завопят на ста языках, а что, понять невозможно. Ведь затевали уже однажды на Руси «Века торжество». Такой замечательный столп спроектировали, что казалось, по нему все люди в рай заберутся. Да вот только у Бога не спросились. Церкви разрушили, потому что мешали. Духовенство перебили, потому что против них свидетельствовали. Ну и где он, столп-то? Нам же на головы рухнул, и мы все кто ни есть под обломками мучимся, орем на ста языках, а друг друга услышать не можем! Вот я и хотел вам сказать — затеваете дело большое, но если без Бога, опять все прахом пойдет! Выйдет один конфуз!

— Я, признаться, не очень вас понимаю, — ответил Фотиев, подозрительно вглядываясь в синие, ласково-серьезные глаза священника, подмечая, как он ловко, словно юбку, приподымает ряску, проносит над лужей яловый мужицкий сапог. — Вы говорите о Вавилонской башне, не так ли? Но мне эти образы мало чем помогают. У меня, простите, несколько иное мышление. Я изучал экономику, социологию, теорию управления. Оттуда и черпаю аргументы.

— Не обижайтесь, если я вас задел. Просто мысль моя такова, что если мы в наших начинаниях не выбираем советником Бога, то выйдет не лучше, а хуже. Сейчас такие времена в России, что если без Бога, без покаяния, без смирения, то случится беда уже последняя и окончательная. Не «Века торжество», как вы говорите, а «Века проклятие». Все наше строительство превратится в огонь и в дым, и мы сойдем в преисподнюю, держа в руках траву-полынь, чернобыльник, как вам уже, я знаю, приходилось держать!

Фотиев слушал голубоглазого в черной ряске священника, шлепающего рядом по лужам, и все в этом человеке раздражало его. И певучая архаическая интонация, напоминавшая проповедь. И тон назидания и всеведения. И скорые, наперед приготовленные суждения, добытые с чужих слов, а не в мучительных раздумьях. И только яркие детски-чистые глаза, простодушные, голубые, влекли к себе.

— Ну какое покаяние, какие слезы! — раздражался Фотиев. — Нет у нас времени каяться! Нужно торопиться, действовать! Народу нужны не покаяния, а открытия. Пусть каятся палачи, предатели, воры. Мне не в чем каяться. Мне повезло, я сделал открытие, спроектировал систему управления, не противоречащую здравому смыслу, человеческой природе, идеалам. Надеюсь с ее помощью улучшить жизнь. А вы говорите — покаяние!

— Человеческая природа, здравый смысл! Тут-то наша беда! Человеческая природа, оторванная от Бога, — звериная. Идеалы, если они мыслятся без божественного откровения, — безобразие, зверство, всему конец! Если безбожнику дать в руки нож или лук, он тут же изобретет страшную бомбу и взорвет всю землю. Если безбожнику дать телегу или мельницу, он тут же преобразует ее в такую машину, от которой увянут все леса, иссохнут все реки, сгорит весь воздух. Если богооставленному человеку дать в подчинение другого человека, он его станет мучить, пытать, изуверствовать. И в итоге строительства будет не дом, а тюрьма, не сад, а место казни, не общество, а побоище до последнего старика и младенца во чреве. Всенародное покаяние, общерусское обращение к Богу, чтоб вернулся на Русскую землю, в свой оскверненный храм, — вот о чем должны говорить, проповедовать!

Фотиев всматривался в синеву его глаз, и та же синева была в малом клочке небес, проносящемся среди лохматых туч. И было сходство этих глаз с голубой глазницей неба. И Фотиев вдруг почувствовал в словах человека неведомую истину, выстраданную на последнем пределе терпения и ожидания. И были они с человеком похожи.

Антонина слушала их, понимала, не понимала. И было в ней ощущение дороги, на которую ее кто-то поставил, отправил в путь. Сзади удалялась больница, окруженная черными липами, где томились пораженные безумием люди. Впереди в угрюмом свечении приближалась стройка, где упорным трудом возводилась могучая станция. И путь ее был по русской дороге от ветхой усадьбы к черным, наполненным огнем котлованам.

— Что это за покаяние, о котором вы говорите? Как это всем народом каяться? Крестный ход, что ли, устроить от Владивостока до

Бреста? Или всесоюзный субботник покаяния? — пробовал шутить Фотиев, уже не испытывая раздражения, а стремясь понять человека.

— А может, и так, отчего же! Устраивают же по радио минуту молчания, поминовения убиенных. Или цепочки мира от моря до моря. Так и тут — объявить по радио для всех русских людей единовременную покаянную молитву. Кто бы где ни был — в работах, в шахтах, в цехах или в ратных походах, в морских путешествиях или в школьном классе, или на смертном одре, — всем молиться и каяться! Такая покаянная очистительная молитва будет услышана Господом. Но прежде покаяться должна сама Церковь, ее пастыри и иерархи. Ибо воцерковление, обретение для России утраченной благодати и есть спасение. Без благодати мы гибнем, мрем, истаиваем, как туман. Церковь вернется в Россию во всем своем величии и блеске!

Там, впереди, в мутных пространствах дышал раскаленный реактор. Ровно, грозно в стальных оболочках сгорал уран. Вращались валы и колеса. Неслись над лесами потоки бестелесной энергии. Действовала громадная сконструированная махина, охватывая землю и небо. И он, Фотиев, участвовал в сотворении махины, а этот маленький в ряске священник знал о чем-то ином, какую-то притчу и сказ, об иной красоте и величии.

— А вам в чем каяться? — спросил рассеянно Фотиев, уставая от новых, плохо понимаемых слов. — Вы же делаете доброе дело. Ухаживаете за больными, служите милосердию.

— Я грешник великий, — торопливо ответил отец Афанасий. — Суетный грешник, — повторил он, и лицо его опечалилось, стало несчастным, детские глаза потемнели от боли. — Гордыня во мне, во всем, в каждом слове. Держусь трудами, унижением плоти. Смиряю гордыню. Претендовал на большие роли. Был свергнут, лишен прихода, посрамлен перед людьми. Скитаюсь. Теперь, как говорится, лежу во прахе. Но гордыня моя поднимается! Вот и вас учу, наставляю, а сам не готов. Не готов к покаянию. Старик Костров, вам известный, который в Троице строит ковчег, этот готов! Я же, священник, — нет! Однако вы мои слова не отвергайте, не от себя говорю, поверьте! Грядет покаяние русских людей за наш всеобщий вселенский грех. Искупленные, очищенные, вместе с Господом Иисусом Христом пойдем на великое дело! А до этого — рано! Не будет торжества ни в этом веке, ни в будущем!

Они подошли к Старым Бродам, к черным осевшим избам, кирпичным лабазам, складам. Втягивались в грязные, с текущей жижей улицы. Им встречались сумрачные, словно опухшие от сна обитатели. Лаяли собаки, хрипло кричали петухи. Над черными коробами и закопченными трубами белел новый город. И хотелось скорее миновать этот полусгнивший, полуосевший посад и оказаться среди белизны.

— Простите меня, если что не так, — улыбнулся милой улыбкой отец Афанасий. — Вот тут я живу, уголок снимаю. Если заглянете, буду рад. Вон ворота — тетку Василису спросите!

— Надумаю покаяться, приду! — пошутил Фотиев, окончательно примиренный этой бесхитростной простодушной улыбкой.

Они проходили винный магазин, размещенный в облезлом кирпичном лабазе. Длинная черная очередь простывших злых мужиков протянулась по улице, топтала грязь, изрыгала сквернословие, выгибалась тоской и ненавистью.

Отец Афанасий поклонился низко, в пояс, то ли Фотиеву с Антониной, то ли многолюдной очереди. Пошел по улице, огибая лужи, кучи золы, оттаявший мусор. И там, у ворот, куда он удалился, упал с неба луч, превратил нечистоты и грязь в сияющий блеск, высветил лица в очереди, и юноша, изможденный, с испитым лицом, взглянул на них, проходящих, умоляющим взглядом.

Глава вторая

— Тебе нравится здесь у меня? Нравится мое жилище? — спрашивала Антонина, проводя в темноте рукой, оставляя белый гаснущий свет.

Ее маленькая комната с ночным полузавешенным окном. Флаконы на подзеркальнике, как кусочки льда. На скатерти снятые часики, сережки, кольцо. Платье на спинке стула, пестрый поясок на полу. Стеклянная ваза с веточкой тополя. Слабо пахнет распустившийся клейкий листок. Ночной пролетный огонь влетает в окно, бесшумной молнией взрывается в зеркале. Драгоценно, как люстра, вспыхивает хрустальная ваза. Переливаются грани воды, узоры стекла, пучки прозрачных лучей. И она лежит на подушке, ее белое лицо, рассыпанные волосы, открытые, устремленные на него глаза. Все гаснет. Умчалась молния света. А в зрачках серебряный отпечаток ее лица, белый поднятый локоть.

— Ты не ответил. Тебе хорошо у меня?.. Бедный мой, как ты устал! Чувствую, как твоя голова прямо каменная от усталости!

Она прикасается легкими пальцами к его окаменелому лбу. Медленно, слабо ведет от волос к бровям, мимо стиснутых глаз, к переносице. Вдоль носа по недвижным, недышащим губам. К подбородку и шее, где застыло, заснуло дыхание. Оставляет на сердце теплую светящуюся линию, словно в изогнутом, искривленном теле восстанавливает ось симметрии. Вслед за пальцами ее тянется тончайший надрез. Из разъятой груди излетают все дневные боли и страхи, вся усталость и немощь. Она наклоняется, прижимает губы к надрезу, вдувает в грудь новую жизнь и тепло. Проводит ладонью, запечатывая, закрывая надрез. И он снова свеж, с обновленным дыханием, с ровным биением сердца. Ее милая комната. Ее родное лицо.

— Оставайся у меня, зачем тебе уходить. Вот твой стол для работы. А мне и подзеркальника хватит.

— Боюсь тебя стеснить. Прихожу ведь когда придется. Работаю ночью, вечный у меня беспорядок, бумаги, книги разбросаны. Я ведь, знаешь, никогда не имел своей комнаты. Всегда по чужим углам. Писал то на полках в поезде, то в коммуналках на кухонных столах. Привык к общежитиям, так и живу.

Он приподнялся, тихонько просунул одну ладонь под ее затылок, а другую под сгибы ее колен. Держал ее на ладонях, чуть слышно покачивал, чувствовал ладонями звук ее голоса. И она покачивалась на его больших плавных руках, как в лодке.

— Я освобожу тебе стол, уберу вазу, пиши, работай! Освобожу тебе полку, расставь свои книги. Ты мне не будешь мешать. Наоборот, мне будет приятно. Стану охранять твои чертежи, твои писания. Не трону ни листика. Буду ждать, как бы поздно ни задерживался. Утром приготовлю завтрак, а вечером ужин. Нам будет хорошо, ты увидишь.

— Боюсь, — сказал он.

— Чего ж ты боишься, глупенький! Я ведь тебя люблю.

Он целовал ее медленно, осторожно, едва касаясь губами. Не губами, а дыханием. Целовал вспышки света на ее шее, груди. Лунки тепла и прохлады. Она откликалась на его поцелуи чуть слышными приливами нежности.

Ее комната в сумерках. Бесцветное обмелевшее зеркало. Веточка тополя в вазе.

— Ты подремли, — шептала она. — Ты мой милый, любимый...

Не сон и не явь — подобие сладкого обморока. Ее пальцы на его волосах, перебирают, щекотят, вычерчивают на лбу маленькие теплые крестики, кольца вокруг глаз и бровей. Наносят на лицо невидимый узор. Он весь в этих маленьких нежных колечках, отнимающих волю и мысль. И такая сладость лишиться собственной воли, отрешиться от мыслей, передать свою волю ей, довериться ей, стать в полной зависи-

мости от нее, от пальцев, похожих на невидимых бабочек, присевших ему на виски, на брови, на приоткрытые губы. Он исчез, не слышит, не видит. Переместился в ее пальцы, в ее дыхание, слух. В слабые кружения ее маленьких пальцев.

— Еще подремли немного, а я над тобой поколдую...

Он чувствовал — сжимается невидимый круг. Его «Вектор», его учение, поначалу обласканное, теперь вызывает зависть и ненависть. Начались помехи и срывы, словно кто-то неведомый отрывает контакты, рвет проводки, и работа его замирает. Руководство льстит и заискивает, но и тайно мешает. Против «Вектора» затевается заговор, строится западня и ловушка. И скоро что-то непременно случится, какая-то боль и беда. И к этому нужно готовиться. Но это там, в кабинетах управленцев, на штабах и планерках строительства. А здесь такое доверие, нежность. Ее пальцы вычерчивают на виске крохотный теплый круг, и это колечко волшебно защищает, не пускает беду.

— Сегодня, когда мы были в больнице, я думала: «Боже мой! Эти черные липовые аллеи, разоренная усадьба, бронзовые грифоны. Когда-то здесь было довольство, чье-то счастье, чье-то веселье. А потом сквозь светелки и зальца, сквозь гостиные и библиотеки пронесся окровавленный ком, все уничтожил, и только на потолке остался кусочек лепнины да на печке медная вьюшечка. А эти больные безумцы, упрятанные за забор, — это ведь мы с тобой, наши братья, отцы. Всех нас поразило безумие.

В этот час поздней ночи в душной больничной палате с мертвенным синим светильником спят больные. Их сны, как тяжелые муки, в которых корчится, двоится и рушится изображение мира, и из темных глубин истекают бреды и темные страхи, и кто-то кричит во сне, кто-то стонет и слезно плачет, и кто-то знакомый, неузнанный, оставшийся среди душных палат, взывает о помощи...

Он прижимался губами к ее плечу. Ее тревога, ее сумеречные предчувствия передались и ему. Комната, минуту назад наполненная недвижным теплом, вдруг подернулась рябью тревоги. Из ветреной ночи проникли ледяные твердые сквознячки, зарябили, сморщили прозрачное серебристое зеркало.

— Так тревожно вокруг! Газеты читаешь, слушаешь людей, в очередях, на работе — какая-то общая мука, общее беспокойство, тоска. Будто должна случиться беда, а что за беда, неясно. Еще недавно так не было. Ну боялись войны, ну боялись за близких, за родных стариков. А сейчас страх за все! За дома, за деревья, за воздух, за прошлое и за будущее, за родину, за друзей, даже за недругов и то страшно! Все вдруг потеряло свои знакомые формы, свой смысл. Так, наверное, себя чувствуют звери за день до землетрясения или перед падением метеорита. Все, казалось бы, тихо, мирно, а они чувствуют гул в сердцевине земли, ловят налетающий свист из космоса. И тогда ужасаются даже камни, даже капли воды. Так и я — чувствую, вижу дымку на солнце. На всем какая-то муть, какая-то пелена от будущего пожарища!

Он знал эти мучительные звериные предчувствия по Чернобылю, когда медленно сходил с ума в ночь перед катастрофой, сидя у лесного озера, следя за томящимися земными тварями — пробегавшими оленями, лисами, блекнувшими бабочками, цветами. Озеро было тихим, спокойным, чайка уронила в светлую воду капельку влаги, но в небе, на солнце уже летела чуть заметная муть, начало помешательства, бреда.

— Боже мой, что с нами сделали! Во что превратили? За что такие несчастья? Эта стариковская «Книга утрат», которую мы видели в Троице у Кострова, — она бесконечна? Почему именно у нас, на Руси, случилось это побоище? Кому оно было нужно? Что с нами сделать хотели? И где они те, кто хотел? И что теперь хотят сделать? И кто они такие, кто хочет? Неужели опять будет беда, будут мучения? Почему весь мир благоденствует, а мы в России из беды в беду?

Он испытывал подобные смятения духа, когда добытое по крупицам в трудах или в прозрении понимание мира превращается в абсурд и бессмыслицу. Когда фреска, вскрытая под коростой и копотью, склеенная из осколков, явит на мгновение свой дивный лик и тут же исчезнет, и вместо дивных очей и крыльев — страшный провал в дым, в ад, в кромешность, и Родина, милая, данная им всем в устроение, в любование, бережение, сулит тебе дыбу, мор, огромное в горелых костях пепелище.

Он хотел ее обнять, привлечь к себе. Но она осторожно, настойчиво отвела его руку. Держала ее над своим лицом, и он ладонью чувствовал ее дыхание.

— Вот ты сказал — мы все ожидаем беду по-разному. У каждого при ее приближении как бы свое лицо. А я все думаю, у меня-то какое? Очень часто молюсь, хотя не знаю ни единой молитвы. Чтоб нас миновало несчастье. Чтобы Бог или ангел небесный нас всех пощадил. Не повторял страшных испытаний и смут, которые уже были однажды... Что я могу, слабая, глупая, неумелая? Что стану делать, если вдруг город станет рушиться или станция станет взрываться? Или действительно какой-нибудь метеорит величиной с луну начнет приближаться, падать на землю. Или все разом сойдут с ума, кинется брат на брата, сын на отца, сосед на соседа... Но иногда вдруг гляну на солнышко, или на веточку тополя, или на ребенка на улице, в его милое смешное лицо, и успокоюсь. Да никакой беды не будет, все обойдется! Ненависти нет во мне ни на сколько, это уж правда. Жалость есть, боль есть, а ненависти нет. Иногда раздражаюсь на людей за их бестолковость, за лукавство, за лень, за корысть, а потом подумаю: Господи, да ведь и я такая же! И успокоюсь... И вот что я тебе скажу. Ты мой любимый и замечательный. Ты умница. Ты смелый и благородный. Ты верящий. Тебе отпущено столько сил, что хватит на несколько жизней. Ты обязательно выполнишь, что задумал. Больше некому! А если устанешь, усомнишься, испугаешься, вспомни: ты единственный, больше некому! Все на тебя смотрят, надеются — и веточка тополя, и ребенок в коляске, и солнышко в небе. Я буду рядом с тобой, буду служить тебе, помогать. В самые темные, в самые глухие минутки твои никуда не уйду. В тюрьму пойду за тобой, как прежде хаживали на Руси. На войну за тобой пойду, вытащу из-под пуль, раны забинтую, кровь свою перелью. Буду делать для тебя самую черную работу, хоть лед колоть в проруби, хоть бревна в лесу пилить. Только ты верь в свою правоту, оставайся верящим!.. Запомнишь, что я сказала?

Она опустила его руку себе на лицо. Медленно поцеловала ладонь, запястье, пальцы. Он не отнимал, лежал пораженный и думал. Ему в его жизни чьей-то высшей милостью выпало небывалое счастье. Он обрел эту женщину, чудную, прелестную, ставшую для него ненаглядной.

Они услышали: за окном раздался унылый клокочущий вой. От хрипящих густых басов до высокого тонкого вопля. Оборвался на унылом визгливом звуке. Опять заурчало, захрипело, превратилось в ноющее вибрирующее завывание, проникло сквозь оконные стекла, наполнило комнату, отразилось от стен, от зеркала, от вазы с тополем. Они лежали, испуганные этим тоскливым утробным воем.

— Кто это? — спросила она.

Он поднялся, подошел к окну. Почувствовал, как стеклянный квадрат положил ему на грудь пластину холодного света.

На улице под фонарями, в их льдистой синеве, сидели собаки. Множество собак воздели заостренные морды, отбрасывали тени и выли. Начинала одна. К ней подстраивалась другая. Третья вливала в хор свой тоскующий голос. Множество воющих зверей оглашали спящий город, словно звали людей, требовали, чтобы те поднялись, поки

нули свои постели, вышли к ним. Что-то объяснили. В чем-то повинились. Выдали кого-то, виноватого в их собачьем несчастье.

Ему стало не по себе. Где-то рядом в ночи работала атомная станция, сжигала стержни урана. Строители, намаявшись за день, спали в тесных жилищах. Ночное половодье давило льды, подступало к брошенным, обреченным на затопление деревням. А зверье из покинутых сел жаловалось своему звериному богу, сетовало на злодеяние людей. И он, Фотиев, опекавший строительство, радевший о благе людей, был повинен в собачьих несчастьях.

Собаки словно увидали его в окне. Поднялись и, неся под фонарями шаткие, зыбкие тени, ушли всей стаей, все в одну сторону, к какой-то им одним понятной и ведомой цели.

Он подошел к ней, лег рядом. Обнял, прижал к себе. Она прильнула, прижалась, совпала с ним. Целуя ее, он подумал, как сочетаются с ним ее подбородок, грудь, плечи, колени. Как скрипка с футляром.

И опять была тьма, множество теплых колечек у виска, нанизанных одно на другое. Тьма разгорелась, комната наполнилась блеском. Разящее крылатое диво пронеслось, вонзилось в зеркало, превратило вазу в ночную люстру. Погасло, разбросав по углам капли прозрачного света.

Тишина. Ветка тополя с первым листком. Ее губы, раскрытые, теплые, дышат ему в грудь.

Глава третья

Замначальника стройки Горностаев провел утреннее заседание штаба перед тем как привести в движение всю мощь бригад, механизмов, направить их на последние, предпусковые усилия. В тесной прокуренной комнате над головами инженеров, руководителей подразделений и служб висели экраны «Вектора». Аккуратные безукоризненные таблицы и графики, на которых многоцветными линиями в изгибах падений и взлетов присутствовала стройка, ее мучительное, многомерное воплощение. Уже был собран реактор, опущен в стальную шахту. Опробованы трубопроводы, удерживающие потоки воды. Прокручен турбинный вал, зеркальная, уложенная горизонтально колонна. Бригады в три смены в металлическом искристом дыму трудились в машинном зале, в реакторном корпусе, на озерном берегу у насосов, на трансформаторной подстанции среди колючего сквозного железа. Горностаев вел штаб, спорил, прикрикивал, шутил. Управлял волей, умом и талантом вверенных ему инженеров. И все время чувствовал: «Вектор» всеми своими линиями следит за ним, ловит его ошибки, отгадывает его тайные умыслы. И он, Горностаев, непроницаемый для посторонних глаз в лукавстве, умолчании, скрытом раздражении или торжестве, — он прозрачен для «Вектора». Это чувство обнаженности угнетало его. Он не был единоличным творцом и хозяином. Над ним довлела бесстрастная, бестелесная воля. Сквозь него, как разряды тока, пробегали голубые и красные графики. Выхватывали, выносили на свет, на всеобщее обозрение его сокровенные замыслы. Он раздражался, был готов подойти и сорвать ненавистные листы ватмана. Погасить экраны, развешанные накануне Фотиевым.

После штаба он совершал обход станции, по ее лабиринтам, отсекам, взбирался в ее железное поднебесье, опускался в бетонную сумрачную преисподнюю. Убеждался в истинности нарисованной инженерами картины. Успокаивался, возвращал себе уверенность. Снова чувствовал свою безраздельность, единственность и всесилие. Станция и он оставались вдвоем, без свидетелей. Она, огромная, как гора и как пропасть, из тьмы и света, взирала на него тысячью туманных очей. Вздыхала, дрожала, жаловалась. И он понимал ее муку, ее сотворение из слепого дымного хаоса. А она понимала его — он, слабый, хрупкий, в продуваемом ветром пальто, в тонких туфлях, с засунутыми в карманы руками, — нес в себе ее совершенный окончательный замысел, ее сверхсложное идеальное назначение. Они отражались друг в друге, не могли друг без друга.

Еще несколько последних ломтей, несколько огромных глотков, когда станция, давясь, примет в свой зев последнюю сталь и бетон, нарастит свою могучую плоть, зажжет в утробе раскаленную глыбу урана. И сбудется долгое, на несколько лет ожидание. Пуск второго блока. Телеграммы в Совмин и ЦК. Гулянье и праздник в городе. Премии и награды правительства. А в нем — невидимая миру гордость, счастье, утоление превыше всех наград, поздравлений. Построена его станция. Родилось его детище. Его образ и подобие запечатлены огромно и мощно среди тусклых вод и разливов, чахлых рощ и опушек, редких деревень и проселков...

Когда он вернулся, у кабинета его ждал начальник колонии «неосторожников», где содержались осужденные за неумышленные преступления. Расконвоированные, они работали на стройке на подсобных работах. Плотный, сухощавый подполковник с обветренным упрямо-строгим лицом старался быть приветливым, расположить к себе Горностаева. Просил для колонии ртутные лампы, для новой, установленной в зоне осветительной вышки.

— Ну конечно, дадим, какой разговор! Пусть будет светло и красиво. Чтоб вам легче было ваш контингент пересчитывать. Да вот только считать-то уж некого. Людей-то у вас почти не осталось. На стройку с гулькин нос присылаете.

— Что поделаешь, — виновато улыбнулся подполковник. — Такое положение по всем колониям. Кодекс-то уголовный смягчают, целые статьи упраздняют. Поток осужденных сократился почти что вдвое. У нас по управлению штат урезают. Офицеры работу ищут. А ведь опять набирать придется! Бандитов, воров все больше, но они на свободе разгуливают! Неумное что-то творится!

— Вот что значит — гуманизация жизни! Прокурор и уголовник — оба в обществе «Милосердие», — весело рассмеялся Горностаев, — скоро и «зэков» в стране не останется. То ли дело в эпоху застоя! Тысячу стройка попросит — дадут. Две тысячи — тоже дадут... Ну да мы не станем к вам обращаться, не бойтесь! Будем брать не числом, а уменьем!.. А светильники вам предоставим, чтоб вашему контингенту было светлей на душе!

Подполковник раскланялся, а в кабинет вошел кадровик, в прошлом сотрудник органов. Аккуратный, сдержанный, с неизменной кожаной папочкой, с неизменными двумя авторучками, торчащими из кармашка, в которых было два сорта чернил для двух видов заметок и аттестаций — красным и черным. Кадровик раскрыл свою папочку и познакомил Горностаева со статистикой увольнений и наймов. Увольнения участились, приобретали тревожный характер. Монтажники — костяк бригад, цвет строительства, сооружавшие могучие станции во льдах и песках, начинали покидать стройку, уходили в кооперативы за большими деньгами, строили дачи и виллы, ремонтировали особнячки для новых частных контор, удивляли оставшихся баснословными заработками. И оставшиеся начинали колебаться, поглядывали на сторону, работали с неохотой.

— Я думаю, Лев Дмитриевич, надо послать вербовщиков на стройки, которые подлежат закрытию. В Крым, к примеру, или в Армению, или, скажем, в Прибалтику. Там, где АЭС останавливают. Нам бы перехватить рабочих, а то на мели окажемся.

— Кооперативы перехватят, будьте спокойны! — зло, ненавидяще произнес Горностаев. — Довели промышленность до ручки! Что ж мне прикажете атомную станцию в аренду отдать? Все государство — на

семейный подряд? Торгаши, предатели! Державу с молотка продают!— он сдержал себя, проглотил свой гнев. — Ладно, посылаем вербовщиков. А у себя ускорим ввод жилья, жильем удержим народ. Это еще пока в наших силах!

Явилась женщина из санэпидстанции, пухленькая, маленькая, обиженная. Стала сетовать на городские власти, бессильные ей помочь. В городе развелись бездомные собаки, надо с ними бороться. Возможны эпидемии, возможны случаи бешенства. Матери боятся отпускать на улицу детей. Она в который уж раз ходит в исполком, просит организовать отлов собак. А там разводят руками — нет людей, нет машин, нет средств. Пусть уж руководство стройки поможет городу.

— Ну что я вам говорил! — язвительно отвечал Горностаев. — Наш исполком в лучшем случае — пустое место! С собаками не могут управиться, не то что с людьми. А кричат на всех перекрестках: «Вся власть Советам!» Каким Советам? Этим? Да если им дать власть, они ее тут же уронят, и будет безвластие! Вы уж сначала обретите волю к власти, психологию власти, а уж потом и берите!.. Я вам помогу, так и быть! Хотя, как вы понимаете, у меня помимо собачьих проблем есть и другие, кошачьи! Мы уже создали маленький кооперативчик по отлову собак. Передайте в исполком — скоро получат каждый теплую доху и шапку, для заседаний!..

«Вектор», злокозненное, занесенное на строительство новшество. Нежданная, распространившаяся инфекция. Фотиев, говорливый, энергичный, безответственный, явился вдруг вне привычных производственных связей. Неутомимо многословный витий, подобно многим, возникшим вдруг в одночасье, заполнившим экраны и газетные полосы, погрузившим страну в горячечное непрерывное словопрение, в котором вязнут и исчезают очертания действительных грозных проблем, не слышны голоса трезвых, осведомленных людей.

«Вектор» был олицетворением мнимой, легко добытой и просто понимаемой истины, к которой устремились наивные, уставшие от сложности люди. В этом был главный вред и обман. Обесценивался действительный труд управления, действительное искусство общения с людьми и идеями, действительный, в мучениях добываемый опыт. Поэтому-то «Вектор» — это зло и обман — должен быть извергнут со стройки. А Фотиев, краснобай и кликуша, пусть уходит откуда пришел. Уносит свой истрепанный убогий портфельчик, так поразивший Горностаева в тот недавний, тускло-морозный вечер, когда Фотиев, продрогший, жалкий, похожий на беженца или погорельца, возник в его кабинете.

И, вспоминая тот злосчастный вечер, красные от мороза большие руки вошедшего, старый портфель, желтоватые листочки бумаги, Горностаев испытал жаркую мгновенную ненависть. Нет, не за «Вектор» он ненавидел Фотиева. Этот замерзший, в мятом костюме пришелец оказался сильнее его. К нему, пришельцу, ушла Антонина, выбрала его Бог знает за какие достоинства. А им, Горностаевым, пренебрегла. И он чувствовал свою слабость, ревновал, стыдился, презирал себя, объяснял свою ненависть нелюбовью и отвращением к «Вектору». Продолжал ненавидеть.

Закончив утренние и дневные дела, Горностаев расчистил время для главного, задуманного на сегодня проекта. Приступил к истреблению «Вектора»

Расконвоированный «неосторожник» Тихонин, помогавший Фотиеву вычерчивать таблицы и графики, работал в жестяном вагончике, превращенном в лабораторию «Вектора». Разложил на столе листы ватмана, макал чертежные перья в тушь, выводил мгновенно высыхавшие разноцветные линии. Фотиева не было. Электрическая печка дышала белой спиралью. За оконцем блестели весенние лужи, дребезжала и звякала стройка, заслоняла оконце темными громадными машинами. Тихонин наслаждался теплом, одиночеством, видом сочных плавных полос, высыхавших у него под рукой.

Тихонин нуждался в жизнелюбии, вере. Весь смысл его бытия был в том, чтобы примерным безупречным трудом, не вызывая нареканий начальства, добиться уменьшения срока. Чтобы начальство, продержав его полсрока в колонии, видя его трудолюбие и раскаяние, пересмотрело приговор и досрочно даровало ему свободу. И тогда он поедет в город, где живут его сын и жена, простит ее вероломство, ее второе замужество, будет умолять вернуться к нему. И жизнь его — он в это верил — опять наполнится осмысленной любовью и творчеством. Он снова станет художником, любящим мужем, отцом. Тихонин считал дни, оставшиеся до половинного срока. Боялся хоть чем-нибудь прогневить начальство. Торопился со стройки в колонию, боясь опоздать. Сторонился смутьянов и пьяниц. Выполнял охотно и ревностно все поручения. Жил мечтой и надеждой.

В вагончике было жарко, и он решил приоткрыть дверь. Выглянул в ветреный пятнистый блеск. Зажмурился от солнечной брызгающей лужи. Корпус станции, окруженный металлическими испарениями, туманился среди талых снегов, черных проталин, озерных набрякших льдов. По бетонке вдоль яркого, с нефтяными разводами ручья бежали собаки. Крупные, мохнатые, в линяющих грязных шубах. Маленькие, вертлявые, с кривыми лапами и задранными хвостами. Испорченные перекрестными случками овчарки, лайки, гончие. Беспородные шавки, немыслимые гибриды, выведенные на дворах, в подворотнях и проулках среднерусских городков и селений. Собачья стая пропускала мимо самосвалы и тракторы, сторонилась лязгающего железа, двигалась устремленно на стройку, словно там у животных была цель и забота. Тихонин смотрел на собак, удивляясь их появлению.

Собачья процессия колыхала головами, хвостами. Ее замыкал большой остроухий пес, пушистый, рыжий, с белым треугольником шерсти на выпуклой груди. Пробегая мимо, он поднял на Тихонина морду, быстро, жадно вдохнул, показав розовый влажный язык. Оглядел человека умными, голодно-зелеными глазами. И Тихонин вдруг радостно испугался, узнал пса. Нет, это был другой пес, лишь похожий своим рыжим мехом и белым пятном на другого, давнишнего, из минувших счастливых дней.

Жена, прелестная, веселая, в летнем голубом сарафане. Сынок, милый смешной карапуз. Сидели у речки под зеленой горой с темными старинными избами, с розовым шатром колокольни. Жена свила веночек из колокольчиков, ромашек и лютиков. Купались в прохладной реке. Влажные, разбрызгивая воду с волос, играли в легкий полупрозрачный мяч. Ели вкусную печеную картошку, выкатывая клубни из углей. И Бог весть откуда, должно из села с горы, явился лохматый ласковый пес. Молодой, игривый, с острыми чуткими ушами, с белым пятном на груди, уставился доверчивыми зелеными глазами. Они кормили пса кусочками хлеба. Жена обнимала косматую рыжую шею, бегала с псом по лугу, сын визжал от восторга. Кинула прозрачный шар в реку, и пес бросился за мячом, гнал бурун, подгонял мяч острым носом к берегу. Мокрый, гладкий, отекая водой, встряхивался, обдавая их всех холодными шелестящими радугами. Так и запомнил тот день, один из самых счастливых: луг, река, веночек на голове у жены и радостная, преданная песья морда, влажный дышащий язык.

Тихонин вынес из вагончика блокнот, карандаш. Стал рисовать пса, быстро, штрихами, особо наслаждаясь возможностью выводить не бесстрастную линию графика, а живое ускользавшее изображение, дивясь тому, что рука его не отвыкла от рисунка, схватывает точно, легко.

— Как же нам было с тобой хорошо!.. Как же нам было чудесно!..

Зверь понимал его, поворачивал голову, словно позировал. Тихонин жадно делал наброски, в каждый из них помещая мгновенный, готовый исчезнуть образ.

Он увидел, как по бетонке приближается человек. Против солнца не различал лица, а только высокую худощавую фигуру, ловкую поступь, прыжки через блестящие лужи. Когда человек подошел и сидящий пес глухо заворчал, Тихонин узнал Горностаева, всемогущего замначальника стройки, которого видел издалека многократно, окруженного свитой инженеров, да однажды, торопясь в колонию, чуть не попал под его стремительную «Волгу».

Горностаев приблизился, весело прищурился на ворчащего пса:

— Песик, черный носик! Ты что тут делаешь? Дом сторожишь?

Тихонин испугался начальника, кинул блокнот на стол. Смутился, что во время рабочего дня застигнут за бездельем. Сказал, заикаясь:

— Он приблудный, бездомный... Сел и сидит...

— Здесь у нас много таких, приблудших, бездомных!.. А где хозяин? Да не собаки, а вагончика! Фотиев где?

— Ушел в управление. Сейчас вернется, — еще больше испугался Тихонин, не подвел ли Фотиева, не будет ли тому неприятность. — Проходите, подождите. Через минуту придет!

Обрадовался, увидя, что Горностаев принимает его приглашение. Пропустил начальника в вагончик. Осторожно вошел следом. Подставил табуретку. Топтался рядом с усевшимся Горностаевым.

— А вы кто же будете? — Горностаев насмешливо, цепко оглядывал маленького Тихонина, его щуплое в телогрейке тело, измызганные ботинки. — Личный художник Фотиева? Лейб-живописец? Мне докладывали, он здесь просветительский клуб устроил, искусство, политика, философия. Вы-то кто будете?

— Да я «неосторожник», Тихонин. Помогаю Николаю Савельевичу. Художником раньше работал.

— За что попали? — участливо, серьезно спросил Горностаев, и Тихонин, уловив сочувствие, благодарный за него, ответил:

— Машиной старушку сбил. Выпил рюмку и сел за руль. И вот несчастье такое. Все вижу ее, бедную, как улицу перебегает. Легкий такой удар, как об ветку. Тело ее легкое, сухое. Все чувствую, как косточки ее о машину ударились.

— Да, несчастье, — Горностаев внимательно, сострадающе смотрел на Тихонина. — Не дай Бог! Я вам сочувствую.

Тихонин видел сострадание на красивом, чистом, умном лице. Ему захотелось рассказать о своем несчастье, довериться этому понимающему, сочувствующему человеку, улучившему минуту среди своих забот, чтобы посмотреть на него, Тихонина.

— Правда, что в колонии светильников нет? В зоне у вас темно? — спросил Горностаев. И этот вопрос Тихонин расценил как сострадание. Горностаев отвлекал его, не давал возвращаться мучительным воспоминаниям. Умный, деликатный, берег его и щадил.

— Темно, особенно зимой. Такая темень, лед, бараки, ветер из леса. Только штрафной изолятор, карцер один освещен. Посмотреть, такая тоска! Люди от тоски вешаются. Двое зимой повесились. Я, поверите, тоже о петле думал, гвоздь на стене искал. Спасибо Фотиеву Николаю Савельевичу, — он мне работу дал. Тут у него хорошо, интересно. Хорошие люди приходят.

— Что же вы сейчас чертите? — Горностаев подошел к столу, где на белых листах извивались цветные линии, пестрели колонки цифр. — Это какой-то новый вариант «Вектора». У нас в штабе висят другие таблицы.

— А это секрет! — лукаво улыбнулся Тихонин. — Николай Савельевич секрет готовит. Чтобы пока никто не знал в управлении. Завтра вывесим, все и узнаем!

— Ну мне-то можно, я секреты храню!

— Вам-то? — колебался Тихонин, не зная, вправе ли он разглашать эту маленькую профессиональную тайну. — Вам-то можно! — решил он, видя склоненное над графиками утонченное красивое лицо, которое нравилось ему, внушало доверие. — Это таблицы для треста, для Накипелова Анатолия Никаноровича. Фотиев говорит: «Вектор» подобен дереву, пускает корни и ветки, оплетает стройку». Это новый корень, пущен в трест Накипелова. Ну вы знаете Накипелова, он все шумел: «Хватит, говорит, верховное начальство обслуживать. Пора «Вектор» к рабочим бригадам спускать». Ну вот и спускаем в трест, в бригады. Несколько недель проверяли, испытывали, а теперь, когда дело закрутилось, вывесим графики. Николай Савельевич говорит, скоро «Вектор» администрацию вытеснит, рабочие власть возьмут. Это он шутит, конечно, без начальства, я понимаю, нельзя. Но он говорит: «Вектор» — это очистительная бескровная революция, когда рабочие без пролития крови власть возьмут». Он, Николай-то Савельевич, к рабочему человеку хорошо относится. И рабочие его понимают, приходят к нему.

— Знаю, рабочие его очень уважают и ценят. Он для них много делает, — Горностаев любовался красотой линий. — Что еще говорит Николай Савельевич?

— Да здесь, в этом вагончике, кто только не бывает! Какие только разговоры не ведутся! Замечательные разговоры! Я таких мыслей никогда не слыхал. Нет худа без добра. Не попади в колонию, не встретился бы с такими людьми!

— Что ж здесь такое особенное происходит?

— Тут, понимаете, душе хорошо! — Тихонин, воодушевленный, благодарный Горностаеву, торопился ему излиться. Этот всесильный, обремененный заботами, недоступный для других начальник сам пришел в вагончик к Тихонину, тратит драгоценное время, исполнен внимания, хочет вникнуть в его, Тихонина, жизнь. — Тут, понимаете, душа расцветает! Ведь если о жизни подумать, то жить-то на свете не хочется. Если кругом оглянуться, то жизни ведь нет никакой. Все худо, все грязно, все против нас. А здесь, у Николая Савельевича, душе хорошо! Он веру в добро возвращает, говорит, что оно победит. Русский человек совсем к земле пригнулся, а держится! Россию сколько ни губи, а встанет, доживет до светлого дня! Я в зоне ночую, тяжких разговоров наслушаюсь, на проволоку, на бараки нагляжусь, и хоть в петлю! А тут опять воскресаю!

— Не вагончик, а церковь! — мягко, по-доброму, необидно усмехнулся Горностаев.

— А может, и так. Я церковь не знаю, но, может, за это ее и любят, что в ней собираются и друг друга поддерживают. Здесь у нас всякие люди бывают, и каждый свое добро несет. Не уносит, а приносит добро, как вскладчину... Я кого больше всех уважаю, так это Антонину Ивановну Знаменскую. Женщина замечательная, красивая, образованная, милая! Доброе сердце! Любит Николая Савельевича. Николай Савельевич всех нас поддерживает, вдохновляет, а она — его! Радуюсь, когда на них гляжу. Нашли друг друга. Я вот свою Верочку потерял, оставила меня в несчастье, за другого вышла, и я пропал без нее. А Антонина Ивановна никогда Фотиева не оставит. И Фотиев не пропадет никогда. Потому что любовь!

Тихонину показалось, что гость побледнел. Лицо Горностаева, красивое, утонченное, исказилось, утратило симметрию, прорезалось косыми линиями, и возникло другое лицо, больное, жестокое. Но это показалось Тихонину. Горностаев склонился к белому ватману, и отсвет бумаги лег ему на лицо, отпечатал на лбу и щеках линии графиков.

— Какие у вас зарисовки хорошие! — сказал он, указывая на блокнот с рисунком собаки. — Подарите!

— Конечно!.. Пожалуйста!.. Да разве же это рисунок!.. Отвык!.. Раньше я был рисовальщик хороший!.. Возьмите, пожалуйста!

Он протянул блокнот Горностаеву. Тот вырвал листок с карандашным рисунком собаки, положил аккуратно в карман. Поднялся с табуретки, кивнул и вышел. Мелькнула за окном его легкая тень.

«Какой хороший человек! — думал о нем Тихонин. — Простой, обходительный. Но в чем-то несчастный!.. В чем-то тоже несчастный, как и все мы!»

Он вышел из вагончика. Пес дожидался его, смотрел зелеными вопрошающими глазами. И знакомый вид рыжего, зеленоглазого зверя вновь породил в нем мучительное яркое воспоминание. Луг, облака над рекой, веночек на голове у жены, и мокрый, косматый, жарко дышащий пес встряхивает загривком, осыпает сына прозрачной радугой.

И было светло и больно. Тихонин стоял на ступеньках вагончика, смотрел на сидящего пса и плакал.

Горностаев вбежал в кабинет, задыхаясь от бешенства. Секретарша успела заметить белые, стиснувшие дверную ручку пальцы. Он упал в кресло, ударив кулаком в ящик стола, захлопнул чертежи и бумаги.

«Богадельня!.. Собачья будка!.. Бардак!.. Бульдозером снесу!.. На стройке гнездышко свили! Бульдозером! Бульдозером!..»

Он медленно успокаивался, брал себя в руки, расплющивал в себе ком ненависти, утончал до фольги, распылял до мельчайшей невидимой пудры. Выстилал своей ненавистью мысли, чувства, рабочий стол, стол заседаний, телефоны, висящие на стене сетевые графики, стекла в окне, туманные контуры станции.

Глава четвертая

Приступая к исполнению замысла, Горностаев пригласил к себе главного инженера Лазарева. Усадил за длинный лакированный стол совещаний. Позвонил секретарше, и та внесла две горячие пахучие чашечки кофе. Горностаев, пригубив свою, смотрел, как жадно, торопливо пьет Лазарев, хлюпает, вращает над фарфоровым краем чашки лиловые выпученные глаза.

Он знал главного инженера прекрасно, его нрав и характер, сильные и слабые стороны. Знал в моменты подъема и увлечения работой, доходившие до жертвенности. И в часы равнодушия и апатии, когда Лазарев лишь прикидывался работающим, лукавил, отлынивал, имитируя деятельность. Этот грузный, небрежно одетый работник, умный и образованный, был понятен ему. Самолюбивый и мстительный, склонный к истерике, был в его власти. Горностаев научился управлять его состояниями, посылал ему слабые токи управления. Улавливая эти токи, Лазарев откликался на них то раздражением, то язвительной шуткой, то жалобой. Привык к этим постоянным инъекциям, почти нуждался в них. Тянулся к Горностаеву, находя в нем равного по уму собеседника, близкого по интеллекту сотрудника. Ревновал к другим сослуживцам.

— Замечательно, Виктор Андреевич, что вам удалось войти в график! — благодарил Горностаев, и впрямь благодарный Лазареву за его умные деяния последних дней. Огромные насосы, гонявшие воду сквозь толщу реактора, были смонтированы, оснащены приборами и опробованы. Минувшей ночью их запустили, и тонны озерной воды, сотрясая сталь, помчались по водоводам, окатывая будущее пекло реактора. — Слава Богу, подбираем хвосты! Я вам так благодарен!.. А вот на экране нашего «Вектора» вам троечка выставлена. Выходит, вы троечник, Виктор Андреевич, а не отличник!

— Не понимаю вас, Лев Дмитриевич, не понимаю вашу терпимость к этой жалкой затее. Вам это нужно? Для каких-то высших дипломатических целей? Тогда объясните мне, дайте как-то понять, и я приму условия вашей игры. Но нельзя же всерьез рассматривать эту жалкую самодеятельность: «Вектор»!.. «Торжество»!.. Стенгазета какая-то!..

Лицо Лазарева дрожало от негодования, белки глаз слегка пожелтели, а речь звучала все тороплививей и неразборчивей.

— Я и сам не в восторге от «Вектора», — Горностаев убедился, что первый сигнал управления, раздражительный, взвинчивающий, достиг своей цели. — Но ведь как-то надо было откликнуться на новые веяния! Все кругом пробуют, экспериментируют, и нам не заказано! А в «Векторе» есть доля здравого смысла, поверьте.

— Неужели вы хотите меня убедить, Лев Дмитриевич, что все эти новшества, вся эта трескучая перестройка приведут к чему-нибудь стоящему, а не к очередному свинству? Неужели не видите, что нас ожидает опять все то же, каждый раз повторяемое русское свинство?

— Вы скептик, Виктор Андреевич. Ценю ваш скептический желчный ум. Но вы, мне кажется, напрасно отрицаете с порога возможность успеха. В реформах много смелого, оригинального, продуманного. Знаю некоторых людей, стоящих у истоков реформ. Очень достойные знающие люди. Я не о Фотиеве, конечно, но есть много интересных перспективных идей. Если их осуществить одновременно во всех сферах разом — в экономике, идеологии, социальной сфере, — то возможен успех. Хотя, конечно, неизбежны и жертвы, и ошибки. Кто-то неизбежно пострадает.

— Вздор! — ядовито захохотал Лазарев, не догадываясь, что именно этого жестяного, скрипучего смеха ожидал от него Горностаев. — Весь этот набор благоглупостей — все из той же тухлой помойки! «Трезвость — норма жизни!», «Ускорение и человеческий фактор!», «Больше демократии — больше социализма!», «Арендный подряд!», «Семейный подряд!», «Социалистический плюрализм!», «Плюралистический социализм!», «Рыночный социализм!», «Социалистический рынок!», «Советский миллионер!», «Миллионерный совет!», «Вся власть Советам!», «Вся власть миллионерам!», «Больше миллионеров — больше социализма!», «Больше социализма — больше миллионеров!», «Гласность и милосердие!», «Милосердие — норма жизни!», «Гласность и громогласность!» Вся эта брехня с первых шагов затрещала у всех на устах! При отсутствии серьезных идей, как всегда, поперла на первые роли очередная порция дураков, демагогов! Кустари без знаний, без опыта, со своими дурацкими «Векторами» взялись в очередной раз перекраивать, перешивать латаную-перелатаную дерюгу, телогрейку, зэковскую робу величиной в шестую часть суши! Да ничего из этого не выйдет, кроме неразберихи, свинства и очередной бойни! Здесь, в России, никогда ничего не выйдет! Это гиблое, безнадежное место! Неужели вы-то верите в чудо, Лев Дмитриевич?!

— Ну нет, вы не правы. Есть теории, глубокие, академические. Есть новые взгляды на управление, на рынок, на регулирование рынка. — Горностаев осторожно ему возражал.

— Они думают усидеть на двух стульях! Западный готовенький опыт и наш доморощенный косорылый материал. Да ничего не получится! Все, что там хорошо, здесь свинство! Только разворошат муравейник! Из всех бараков, из всех зон, пятиэтажек, подвалов попрет дичь, древняя, неумытая, сопливая, и всю эту вашу информатику, кибернетику, весь плюрализм и консенсус — в навоз, в дерьмо, в глину. Частушечку вам пьяную, матерную про тещу и кровавую котлету вместо благоденствия! Неужели не понимаете?

— Ну что уж вы так, Виктор Андреевич! Вы, право, сгущаете краски. Просто не в духе. Устали.

— Устал, ой как устал! Уехать бы к черту отсюда, куда-нибудь в Европу, в приличную страну, к приличным людям, к хорошим вещам. Помогите мне, Лев Дмитриевич, я подал заявление на поездку в Австрию экспертом МАГАТЭ. Поддержите! С вашими-то связями! На пару лет — отдышаться. Я вам достаточно послужил верой, правдой, погорбил на стройке. Больше не могу! Все отвратительно! Поверите, не могу смотреть на людей, на дома, на машины, во всем брак, недоделка! Любая мелочь, гайка, болт советский вызывает отвращение! Не могу! Помогите в Австрию, Лев Дмитриевич!

— А кое-кто из наших патриотов-консерваторов все еще считает: советская гайка — лучшая гайка в мире. Хоть ключ подобрать невозможно, зато на складе никогда не найдешь!

Горностаев шутил, легонько нажимал на невидимые клавиши, управляя раздражением Лазарева. То усиливал его, то гасил. Доводил до гнева и вновь понижал до желчных беспомощных жалоб.

— Это Фотиев, что ли, с Накипеловым про матушку Русь вам поют? Про самобытность, суверенность? Слышал всю эту бурду, когда Фотиев в клубе выступал с пропагандой. Что-то толковал про попов, про бояр и князей, сословный мир проповедовал. Щавель да болотный мох, вот и вся самобытность! Хамство, зверство, с рабочим уж и говорить невозможно, того и гляди — пырнет. Пьянствуют и воруют, вот и вся суверенность! В Старых Бродах хвосты за водкой, дебил за дебилом. В глаза посмотрите народу — уголовщина. Повторяю, здесь, в России, никогда ничего не будет. Только хаос и свинство! Русь-матушка израсходовалась, и место ей на помойке истории!

— Конечно, в Фотиеве есть много наивного, доморощенного. Самоучка! Но в неискренности его нельзя заподозрить. В чем-то он даже симпатичен!

— Он отвратителен! Эти людишки появляются из каких-то дыр и трущоб, из каких-то забегаловок и подворотен, и мы их называем самородками! На кой черт нам эти недоучки! Нормальное знание, теория, деловитость, владение ремеслом — вот чем взял Запад. А мы неисправимые кустари. Эти Фотиевы, они нас с вами презирают за серьезное знание. Они нас прогонят, встанут на наши места, и станции начиут взрываться, остановятся поезда, и тощая экономика сдохнет. Начнется голодуха, спички и соль по карточкам выдавать станут, а всему виной — самородки! Россия — страна самородков, страна дураков и ублюдков!

— Неужели все так ужасно? — Горностаев сделал огорченное несчастное лицо и нажал на новую клавишу: — Вы ведь мистик, Виктор Андреевич. У вас особая интуиция! Я много раз убеждался. Вы своеобразный пророк!

— Да, пророк! — Лазарев быстро взглянул, не насмешка ли, не издевка над его даром предвидения, особого восприятия мира, в которое верил, которым дорожил, в которое скрывался от изнурительной неразберихи, грубости и глупости жизни, взглянул и убедился — Горностаев внимателен и серьезен. — Это трудно объяснить, но оно действительно существует, — он положил себе руку на живот. — Вот здесь, над желудком, есть некая точка, прогностическая, как я ее называю. У разных людей она в разных местах. У одних на затылке, у других на темени, у третьих в пояснице. А у меня вот тут! — он прижимал ладонь к скомканной рубахе. — Тут своего рода око, зонд в будущее. Могу предсказывать за несколько минут появление определенного человека. Предсказываю болезнь, даже смерть. Было уже несколько случаев. Могу предсказывать событие в своей личной жизни и в мировой. За день до Чернобыля чувствовал давление в прогностической точке и знал, что будет авария. Армянское землетрясение уловил, как непрерывный гул

в животе и трясение легких и печени. Но это не всегда, а когда настроишься на волну, или ночью, когда тихо и остальные людские поля не мешают.

Он опустил глаза, выпуклые дрожащие веки, сделал вдох, задерживая дыхание. Убрал с живота руку, как фотограф убирает крышечку с объектива. Горностаев видел, как весь он напрягся. Создавал в себе источник неведомой лучистой энергии, мощный излучатель.

Лазарев дышал глубоко, усваивал добытый опыт. Чувствовал себя живым радаром, шарил в мире, проникая в сокровенные тайны. И Горностаев не мешал ему, склонялся перед его даром, изображал на лице изумленное благоговение.

— Я чувствую своей прогностической точкой, мы накануне таких безобразий, каких в революцию не было! Не только я один чувствую. Болгарка Ванга, прорицательница, предсказала скорую кровь в России. Один известнейший маг в Мексике Родригес предсказал нам кровь и раздор. Индус, известный во всей Азии, под Бомбеем, пророчил разрушение России. В Голландии на конгрессе оккультистов тоже говорили, что Россия — зона повышенной катастрофы, здесь скоро будет ужасно. Чернобыль, Армения, Грузия — это только цветочки. Урал задымился, Кузбасс. Уж я не говорю о Прибалтике, там каждая кочка будет стрелять и кусаться. Не говорю о Молдавии, там будут глаза выцарапывать. Лучшее, что можно было бы сделать, это бежать отсюда немедленно! Как мудрые люди перед революцией. Выстоять хвост в посольство, визу в зубы и драпать!

Глаза его дергались лиловым ужасом. Губы побледнели. Он перешел на шепот. Горностаев видел — его радар нащупал в грядущем беды и разрушения, разгромленные города, пожары на горизонте.

Горностаев знал сильные стороны Лазарева, знал смешные, знал слабые. Самым ранимым, уязвимым было его чувство к дочери. В детстве она перенесла нервное заболевание, у нее отнялись ноги. Лазарев мог вызывать к себе антипатию, когда лукавил и отлынивал от работы. Мог вызывать насмешку, когда разглагольствовал о внеземных цивилизациях и мистических тайнах. Мог вызывать враждебность, когда настырно и бестактно вторгался в людские отношения, в мир их ценностей. Но он всякий раз вызывал сострадание, когда становился отцом неизлечимо больной дочери. В его доме постоянно присутствовал источник страдания. Все, что ни делал, ни говорил Лазарев, все было связано с этим страданием.

— Вчера она мне говорит, — продолжал Лазарев, сморщив болезненно рот, — «неужели, папочка, я так и не смогу пройти босичком по травке? Тогда я и жить не хочу!»... Мне кажется, Лев Дмитриевич, ваше лекарство, то, что вы мне достали, подействовало на нее благотворно. Как будто ступни стали подвижней, теплей. Не могли бы вы, Лев Дмитриевич, достать еще лекарство? Ведь в аптеках сейчас пусто, анальгина и того нет. Пусть еще попринимает. Вы ведь знаете, как я вам благодарен, вечный ваш должник!

— Конечно, достану. Пока еще знакомые в Совмине могут достать. Если есть хоть малейшая надежда, надо ее использовать. Я узнавал специально — на Украине есть замечательный лекарь, народный, непризнанный. Но к нему едут толпы со всей страны. Лечит прямо в хате, массажи, гипноз. Я сначала не верил, но потом меня убедили. Вам надо Ниночку свозить к нему. Я вам достану рекомендацию, адрес, где можно остановиться.

— Я вам так благодарен! — голос Лазарева задрожал, а лиловые выпуклые глаза заблестели от слез. — Вы не поверите, иногда невыносимо тяжело! Мы с женой плачем!

Он достал платок, отвернулся, вытер глаза.

— Сегодня ночью с бригадами еще один насос запускаю, — сказал он, — сейчас съезжу домой, часок отдохну, и обратно. Вам позвонить в коттедж, доложить, как пуск прошел?

— Конечно, в любое время... И еще, Виктор Андреевич... Вот взгляните... Если согласны, то подпишите... — Горностаев протянул ему машинописный листок, где был начертан приговор «Вектору».

Тот быстро прочитал, глаза его радостно заблестели.

— Ну вот видите, а вы говорили! — он скрипуче засмеялся, доставая из кармана ручку. — Что вы с ним цацкаетесь, с Фотиевым! Гоните его прочь! Дилетант и трепло! Терпеть не могу!

Он быстро, сочно поставил подпись. Горностаев взял листок, небрежно кинул в ящик.

— Звоните мне ночью в любое время, — провожал он Лазарева до дверей. — А к лекарю адрес я вам достану, и лекарство, как обещал!

Вернулся к столу. Вынул листок из ящика. Счастливо смотрел на первую, легко добытую подпись.

Лазарев возвращался со стройки домой. Водитель, молоденький паренек, родом из Старых Бродов, молчал, не докучал начальству, крутил руль. Внезапно дорогу перебежала собака. Водитель, чтобы не сбить ее, резко вильнул, затормозил. С обочины из канавы выскочила вторая собака, хрипя и лая, накинулась на машину. Следом еще и еще. Собачья стая окружила «уазик». Метались, хрипели звери, скалились собачьи морды, стояли дыбом загривки, дергались злобно глаза.

Глава пятая

Проводив главного инженера Лазарева, Горностаев пригласил начальника треста Менько. Заботливо усадил за лакированный стол. Секретарша унесла две пустые кофейные чашечки, оставшиеся после посещения Лазарева, и тут же вернулась с двумя свежими. Горностаев внимательно, дружелюбно выслушивал ворчливые жалобы Менько на скверное, поступавшее с уральских заводов оборудование, на срывы поставок из Прибалтики, на падение дисциплины в бригадах.

Менько был понятен. Одаренный инженер, добросовестный, умница, полагавший в работе весь смысл своего бытия, он был надломлен. Неведомая духовная хворь, невидимый моральный недуг подточили его, лишили воли, уверенности. Со всеми своими талантами, трудолюбием, добросовестностью, он нуждался в покровителе, в более сильном, чем он сам, человеке, который защищал бы его от жестокости и несуразности жизни, принимал бы решения, рисковал, приказывал, оставляя Менько роль талантливого исполнителя. У него же словно не хватало энергии на решения и поступки. Он ускользал от них, робел и боялся, словно однажды ожегся о жизнь, прикоснулся к ее обнаженной электрической жиле, и она опрокинула его страшным ударом.

Таким ударом был для Менько Чернобыль, откуда он постыдно бежал. Бросил пост на станции, укрылся от аварии. Отвергнутый товарищами, презираемый за свое малодушие, он долго маялся, искал работу, пока Горностаев не пригрел его, принял на стройку.

Теперь за лакированным столом Горностаев смотрел, как отражается рыхлое отечное лицо Менько, его залысины, неловко повязанный галстук.

— Я оторвал вас совсем ненадолго, Валентин Кириллович, — произнес Горностаев, кладя перед ним листок, на котором уже красовалась подпись Лазарева. — Я вас редко о чем-нибудь прошу. Но теперь мне нужна ваша поддержка и солидарность. Не сочтите за труд подписать. Думаю, вы не будете против. Неизбежная формальность в наших бумажных потоках.

Он следил, как Менько читал бумагу, как на его лбу медленно надувались жирные складки, глаза становились отечней, а губы беззвучно

произносили слова, словно выталкивали невидимые пузырьки. Он отложил листок, исподлобья взглянул на Горностаева:

— Не подпишу, Лев Дмитриевич!

— Почему? — изумился Горностаев. Его и впрямь удивило это упрямое несогласие, редкая, небывалая твердость взгляда Менько, который обычно не смотрел в глаза собеседнику, а язвил, ворчал, глядя куда-то вкось. — Почему не подпишете?

— Считаю «Вектор» полезным. Успехи последних месяцев, осмысленность и ответственность решений — есть эффект «Вектора». Стройка, как объект управления, стала более понятной, прозрачной. Вместо произвола — естественные стимулы к работе. По нынешним временам повсеместного хаоса это большой результат. Считаю, что главная сила «Вектора» в рабочих бригадах, среди живого труда. Там он обнаружит свои замечательные свойства. Я попросил бы вас, Лев Дмитриевич, тщательней изучить систему, способствовать ее распространению на строительстве.

Он умолк, прямо, твердо смотрел на Горностаева, и тот не мог понять, откуда взялась эта твердость. Не ожидал ее от рыхлого, безвольного Менько. Это не рассердило его, а удивило.

— Да ну что вы в самом-то деле! — легкомысленно и небрежно Горностаев барабанил пальцами по листу. — Ведь это пустяк, игра пустого ума! Мы встречались с подобной чепухой тысячи раз, однодиевки рождались и умирали. Я терпел Фотиева, как шута горохового. Теперь конец шутовству! И надо же так высокопарно: «Века торжество»! Просто смех!

— Вы не разглядели «Вектор», Лев Дмитриевич, — твердо, упрямо произнес Менько. Было видно, что он перешел какую-то черту, обрекая себя на муки. — «Вектор» более чем управленческая система. Это теория. Еще не проявленная, не воплощенная в полной мере, но теория социального конструирования. Открытие, которое сулит громадные приобретения. Я изучал «Вектор» еще в Чернобыле, но там он, увы, не смог реализоваться, сгорел в катастрофе. Я счастлив, что снова встретил Фотиева в Бродах. «Вектор», быть может, последнее, запоздалое изобретение социализма, перед тем как этот социум будет истреблен и разрушен. Оно реализуется тогда, когда мы уже отвернулись от социализма и ввергаемся в слепую стихию. Это уникальное открытие, которое нужно попытаться спасти, даже если все будет разрушено. Оно понадобится после катастрофы, когда придется заново конструировать общество.

— Что за чушь! — раздражался Горностаев, утомляясь от истовых интонаций Менько. — Вы выражаетесь так же высокопарно, как и этот клубный затейник. При чем здесь открытие? При чем социализм? При чем катастрофа? Это бумажный хлам, который я терпел на стройке, пока мне это было выгодно. Теперь я достиг моей выгоды и хлам выбрасываю!

— Там, в «Векторе», нащупано наконец зерно! — не слушая его, загорался Менько. — Зерно отношений. Люди, объединенные в труде, движутся не страхом, не корыстью, не тычком и пинком конвоиров, не обманом и демагогией, а идеей общего достижимого блага. Они удовлетворяются тем, что совместно, складывая свои дарования, достигают коллективного блага. Это воскрешает коренную потребность людей, забытую, оскверненную, выброшенную на свалку среди нашего свинства, лжи и распада. Только в совместном добровольном труде, нацеленном на высшую цель, мог бы родиться новый человек и новое общество. Не случилось ни того, ни другого. Таких изобретений, как «Вектор», должно было быть множество, тысячи, миллионы. Мы должны были бы изобретать их, как изобретаем моторы, механизмы и технологии. Не самолеты, не подводные лодки, а человеческие отношения, «векторы». Такие социальные технологии должны были сложиться в динамичное общество, взращивающее себя изнутри. Профукали, просвистели! Тео-

ретиков и изобретателей—к стенке! Открытия—на помойку! Мораль— в парашу! Стимул — наган! Народу — бутылка с водкой! Вот и разрушились, развалились! Каждый в одиночку добывает свою копейку, пьет свою рюмку... «Вектор» — последняя уникальная попытка социалистического строительства, после которой — дрянь, рынок, примитив, унылое с опозданием на столетие прохождение буржуазных азов!.. Разглядите «Вектор», Лев Дмитриевич! Поймите, что нам выпало счастье заполучить его здесь, и мы должны беречь и лелеять!..

— Вы раскудахтались, как курица, которая снесла яйцо! — насмешливо, зло сказал Горностаев, желая прекратить эту горячечную речь. — Успокойтесь, выпейте воды!

— Мы имеем дело с идеей! — не слушал его Менько. — Такие идеи надо собирать по крохам, по зернышкам! Все, что осталось, что выжило! Их надо под стеклянный колпак, а их творцов лелеять, как детей, как младенцев!.. На последние копейки мы должны создать центр социальных открытий, центр интеллектуальных идей! Иначе погибнем! Свинство нас всех поглотит!.. Страна не имеет своих теоретиков!.. Сталин выбил всех теоретиков, ампутировал все теории!.. По лесам, по болотам косточки их разбросаны!.. Рыли котлован под насосы — столько костей безымянных! Тянули ЛЭП на восток — под каждой опорой черепа, позвонки! На клюквенном болоте полотно клали — белые ребра, берцовые кости! Там теоретики, в котлованах и топях!.. Мой отец, инженер, социолог, исследовал труд на заводах-гигантах!.. Замучили, били страшно, вышибли глаза!.. Где-то здесь, под Бродами, кости его безымянные! Боюсь ходить по земле, вдруг по отцовским костям!.. «Вектор» — памятник ему, искупление! Надо беречь и лелеять!..

Горностаев, слушая его жаркую, воспаленную речь, заражался едкой неприязнью к Менько. К его пухлому отечному лицу, к залысинам, к шевелящимся губам, ко всему его рыхлому, дряблому облику. Этот облик выражал вероломство. Был образом окружающей жизни, наполненной горлопанами, врунами, бездарями, отлынивающими от грозного, неизбежного дела, которым занят он, Горностаев. На топях, на костях, на разрухе, на неумении и беспомощности он строит станцию, строит город, строит само государство, не давая упасть среди всех разрушений и лжи.

Удерживая себя от жестокости, не позволяя себе уничтожить этого жалкого, сраженного жизнью человека, которого он, Горностаев, поднял и спас, выслушивая теперь за это бессвязный отвратительный лепет, предательство, вероломство, удерживая себя от гневного взрыва, Горностаев сказал:

— Да неужели вы не видите, что творится на дворе! Неужели не чувствуете, что все уже началось, двинулись материковые платформы! Вся жуткая геология, вся подземная структура страны начинает ломаться! Государство начинает трещать, вот-вот лопнет, как старый горшок, склеенный из черепков, и эти черепки второй раз за сто лет упадут нам на головы вместе с кровью, дерьмом, бойней, костями, уже не наших отцов, которых, увы, не поднять, а наших детей, сыновей! Мы опять набросимся друг на друга, брат на брата, сосед на соседа! Неужели не видите!

— Не будет этого, не будет! — страшно побледнел Менько. — Этого никогда не будет!

— Эти расплодившиеся демократы, сытенькие говорливые либералы, дружные, поднявшиеся разом из всех углов писателишки, журналистишки, актеришки, как термиты, точат и точат! Где проползут, там труха! Где еще сохраняется целостность, остатки порядка, смысла, где еще слово «государство» означает стабильность, там появляются эти жучки, короеды! Копошатся, внедряются, и вот уже вместо смысла растление, вместо труда болтовня, вместо государственного подхода эгоизм, стяжательство, хаос! И сюда залетели, на стройку! «Века торжество», вы подумайте! Гнать их к чертовой матери в двадцать четыре часа с милицией, чтобы духа их не было!

Он страстно выговаривал, обращал свою ярость против Менько, посмевшего восстать, и против ненавистного Фотиева. И вдруг в своем клокочущем от негодования голосе уловил интонации деда, университетского историка, чье влияние испытывал на себе по сей день. Белобородый благодушный старик, любивший домашние обеды, неторопливые воскресные чаепития, взрывался каждый раз, когда в родовые предания вплетались политические споры, суждения о близкой и давней истории. С округлившимися выпученными глазами, с растрепанной бородой, дед, как священное заклинание, произносил слово «государство», бранил, истреблял всех, кто на него посягал, признавал государство превыше всех благ и свобод, делал из него фетиш русской истории. И теперь, нападая на Менько, браня либералов, Горностаев почувствовал свои округлившиеся, как у деда, глаза, клекот в горле, ярость, направленную против врагов государства.

— Они, эти адвокатишки, журналистишки, уже совершили однажды страшное преступление перед Россией! — продолжал он, радуясь этому внезапному сходству, погружаясь в семейную память, когда в московский просторный дом собиралась большая семья, «клан Горностаевых», как шутили дядья, и он, ребенок, взрастая, мужая, впитывал в себя их беседы и споры, запоминал их на всю остальную жизнь. — Страшное преступление перед Россией и русским народом. Разрушили, подточили централизм царя! Сознательно, ненавидя, подточили столп государства, и купол царства упал! И возник первобытный хаос, гражданская бойня, и кровь бесконечная! Эти группки, союзы, партии, эти витии всех мастей источили армию, министерства, церковь, все институты власти, быт всех сословий, народное сознание, изгрызли царство. И возникла смута, пролилась огромная кровь, и в этом повинны либералы, они! И вот снова повылезали из всех углов, и начали точить и буравить!

Его отец, энергетик, которого он обожал, перед которым преклонялся, продолжая его дело, отец строил станции на волжских каскадах, давал энергию для оборонных заводов, для ядерных и ракетных программ, отвечая на вызов Америки, — служил государству. Строил в пустыне станцию на быстрых нейтронах, монтировал реакторы, в чьих недрах рождалась взрывчатка для ядерных боеголовок. Возвращался в Москву худой, обгорелый, с разрушенным сердцем, и, едва отдышавшись, подлечившись в госпитале, скрывался в пустыне, в красных, как ад, котлованах, в барачных зонах, в тусклом сиянии стали, — служил государству. В последние перед смертью годы, тратя остатки сил на коллегиях в министерстве, в докладах ЦК и правительству, в непрерывных поездках на стройки, не щадил себя, умирал, — служил государству. Образ отца, его полузабытые мысли вдруг возникли теперь, наполнили собой его торопливую речь.

— Послушайте, либералишки ваши что талдычат, чем уши прожужжали! Сталин-де параноик, людоед, садист! Все беды, вся кровь от Сталина! Либеральная ложь! Сталин — их детище, их порождение. Рассыпанная на осколки страна, разорванная на лоскутья империя, разрушенный, разворованный централизм снова, по закону высших энергий, стали собираться вместе. Сползаться, склеиваться, срастаться в переломах и вывихах. Сталин был ответом на разрушенный централизм. На разрушении централизма Россия потеряла тридцать миллионов жизней, на восстановлении — другие тридцать. Сталин был выражением кровавого порядка взамен кровавому хаосу, посеянному либералами. Разрушили централизм царя, вывели в историю централизм Сталина. И думаете, чему-нибудь научились с тех пор? Ничуть! Продолжают грызть централизм, готовят новую кровь!

Его дядя, генерал, военный инженер, авиатор, был ответственным

разыгрыва
следы этих людей, выяв
– *внучка великого* русского комп
Аркадий САВЕЛИЧЕВ. **Потоп.** Роман
сел и городов на Во
Влади

за создание дальних бомбардировщиков. Огромный, шумный, плюхался в кресло, насмешливо, зорко оглядывал родню. Шутил, подначивал: «Вот он, клан Горностаевых! Слетелись!» Его рассказы об испытаниях огромных серебристых машин, о заводах, где на стапелях из металлических частичек, из лучей и пылинок рождалась крылатая, сияющая, как светило, громада, устремленная в небеса, к иным континентам и океанам. Он был государственник. Мощь индустрии и армии были для него символом государства.

— Теперь они повторяют свой жуткий прием — догрызают централизм! Расплодились в необычайном количестве! Размножаются, откладывают яички, и тут же тысячи личинок, и тут же тысячи проворных жучков! Съедают всё — дивизии, ведомства, человеческие репутации, исторические категории, волю к жизни, символы веры и власти! От них невозможно укрыться, они повсюду, везде! И когда догрызут и источат, и купол вторично грохнет нам, бедным, на голову, из дыма и ада анархии опять появится неизвестный нам человек, в пиджаке или военном мундире, с усами или без усов, и жестокой рукой, топором и ломом выстроит заново централистское государство. Ибо централизм, как ось земная, заложен в наши угрюмые необъятные территории, в народную психологию и историю. Мы можем вращаться только вокруг оси! Вот в чем природа сталинизма и неизбежного неосталинизма, что бы там ни врали новоявленные учителя и пророки!

Его двоюродный брат, дипломат, работал в Анголе, Никарагуа, Кампучии. Милый, молчаливый, умный, редко появлявшийся на их родовых посиделках. Лишь листая его домашний альбом, можно было понять, чем занят он там, на воюющих, истерзанных континентах. Подорванный, скомканный джип на таиландско-кампучийской границе, и брат, усталый, в измызганной рубахе, сидит на обломках железа. Боевой вертолет сандинистов, цепочка солдат заносит на борт оружие, и брат с изможденным лицом прислонился к пятнистой обшивке. Какой-то бивак у дороги, на траве автоматы, гранаты, и брат присел среди чернолицых ангольских военных, прижимает к губам фляжку с водой. Еще один из «клана Горностаевых», на казенной государственной службе.

— Вы еще подумаете, чего доброго, что я сталинист! Что я в восторге от шарашек и зон! В моем роду порезвилось «чека». Кого поставили к стенке, кто баланду хлебал, кто ссылку отбыл. Мы, Горностаевы, знаем, что такое аресты. Но я вам скажу откровенно — если эти жучки разрушат государство и опять придется собираться, я не дрогну! Своими руками! — он задохнулся, стиснув над столом худые гибкие пальцы. — И к стенке, и в прорубь, и кляп в зубы!.. Потому что ведь кто-то должен защитить государство! Защитить остатки народа! Кто-то должен крикнуть мерзавцам: «Стой!..» Мы, Горностаевы, крикнем! И народ нас услышит! Пойдет спасать государство!

Менько слушал, стиснув губы, сожмурив глаза.

— Палачи, — тихо сказал он. — Во все времена палачи! — возвысил он голос. — Да если такое государство! — закричал он. — Если такой ценой, то будь оно проклято! Пусть пропадет, взорвется, разлетится на сто кусков! Молиться буду, чтобы от вашего государства ни пылинки, ни атома! Чтоб ни палачей, ни жертв, никого! Весь ваш клан — палачи!.. Не подпишу вашу мерзкую бумагу! Фотиева вам не отдам!.. Слышите, порываю с вами!

Он пытался вскочить, задыхался, бился о кромку стола, отражался в зеркальной поверхности. Напоминал большое водяное животное, кита, тюленя. Выбрасывался на берег из моря, из ядовитого нефтяного пятна, из непосильного страдания. Горностаев отрезвел, очнулся после своего монолога. Смотрел на тучное рыхлое тело, пытавшееся выбраться из пучины.

— Не дам!.. Не подпишу!.. Палачи!..

— Да бросьте вы! — перебил его Горностаев. — Сядьте! Возьмите себя в руки и слушайте... Да не трясите вы стол!

Этот грозный приказ и окрик остановили Менько. Упирая руки в полированную доску, он замер, смотрел, не мигая, в злые резкие глаза Горностаева.

— Я помню вас после вашего бегства из Чернобыля. Вы прятались в жалкой московской конторке и боялись высунуть нос. Я был на станции в районе бедствия и слышал о вашем дезертирстве. Вверенные вам люди и техника работали в промзоне, снимали отравленную почву, заливали землю бетоном. Солдаты в машинном зале соскребали ядовитую пыль, плутали в отсеках, нуждались в опытном, знающем станцию руководстве. Вертолетчики пикировали на реактор, получая двойную боевую дозу облучения. А вы в это время в московской конторке шелестели бумажками, и я помню ваши глаза — глаза предателя!..

Солнце вышло из-за шторы, из-за спины Горностаева, ударило в лицо Менько. Ослепленный солнцем, он не смог отвести глаза, терпел жестокий, направленный на него луч.

— Я помню, как вам не подавали руки, презирали, говорили в лицо оскорбления. Узнали о вашем подвиге! В это время облученные вертолетчики уже лежали на операционном столе, им пересаживали спинной мозг. Хоронили в бетонных склепах облученных пожарников, как в могильниках радиоактивных отходов. А вы сносили оскорбления, плевки, цеплялись за свои бумажки. Я помню ваши глаза — глаза труса!..

Луч из-за шторы, белый, горячий, сфокусированный огромным рефлектором, бил прямо в лицо. Менько, покрытый обморочной испариной, старался отклониться, но луч настигал его. Пытался зажмуриться, но луч сквозь веки проникал в глазницы, в мозг, сжигая волокна и клетки, разрушая течение мыслей, коверкая память, повергая в безумие.

— Шел суд над администрацией станции. Велось разбирательство, следствие. Всплывали подробности. Искали козлов отпущения. Ваша роль в аварии была не доказана, потому что мои друзья в министерстве замели ваши следы. Вас миновала кара, миновала тюрьма, другие пошли отбывать заключение. Помню ваши глаза, когда вы смотрели репортажи из зала суда, — умоляющие, боящиеся, жалкие!..

Свет слепил. В белых бельмах, как в расплавленном, залившем глазницы свинце, плавали чьи-то лица. То ли тех, чернобыльских, сгоревших на пылающей кровле, то ли других, осужденных, выводимых из зала суда. Он был высвечен лучом, как огромным рентгеном, его череп, ребра, ключицы. Он был скелет без духа, без тела, с дырами вместо глаз, готовый к погребению в могильнике.

— Вы умоляли меня взять вас на службу, прикрыть ваш грех. Клялись в верности до гроба, клялись исполнить любую мою прихоть, любой каприз! И я согласился, из жалости, из милосердия. Без всяких условий. Дал вам хорошее место, хороший оклад. И тогда в ваших глазах было выражение благодарности, как у спаниеля!..

Свет расщеплял сознание, рассекал на две половины. В одной половине он, Менько, сидел за кабинетным столом, уклонялся от белого солнца, бьющего из-за головы Горностаева. В другой половине его отец в следственной комнате на привинченном стуле перед бьющей в глаза направленной лампой. Сквозь пук раскаленных лучей за железным рефлектором чья-то жестокая тень, чьи-то бумаги и руки. Эти две половины сознания сливались, накладывались одна на другую. Он и отец менялись местами, двоились в потоках сжигавшего света.

— Здесь, на стройке, вас травили, попрекали, язвили. Не хотели забывать о вашем чернобыльском бегстве. Вы были притчей во языцех.

Я окружил вас заботой, взял под свою опеку. Пресекал все издевательства и насмешки. Подчеркивал ваши лучшие качества — профессионализм, трудолюбие. И люди постепенно оставили вас в покое, поверили мне. Вы получили возможность спокойно работать. И в ваших глазах впервые появилась уверенность, чувство достоинства!..

Менько сидел на привинченном стуле. Жаркая липкая плазма трепетала в железном рефлекторе. Все его мысли и чувства, вялое сердце, редкое с сипом дыхание были преддверием обморока. Он вот-вот упадет, и кто-то плеснет на него кружку холодной воды, рывком посадит на стул. И снова убивающий свет, липкий пот, безликая, бестелесная тень.

— И вот теперь, когда мне понадобилась ваша малая помощь, ваша ничтожнейшая услуга, когда я попросил о крохотной пустяшной любезности, когда на карту поставлена моя репутация, моя должность, ибо на строительстве наступает смена руководства, и так легко дискредитировать меня, подставить ножку, и это делается, мои враги консолидируются, обложили меня, и я нуждаюсь в друзьях, в опоре, в этот самый момент вы предаете меня! Опять хотите бежать? К другому благодетелю? У вас снова в глазах предательство!..

Лист бумаги на привинченном железном столе. Свет из железной лампы. Чья-то близкая железная тень. Железное в фиолетовых чернилах перо. И нужно взять, подписать, и тогда конец муке, конец беспощадному свету. В ослепшие сухие глаза польется влага и тьма, бархатные слезные сумерки. Нет, не подпишет донос. Прервет своей смертью цепь непрерывных допросов из прошлого в будущее, от отца к сыну, от сына к внуку, из века в век, из камеры в камеру, от палача к палачу. Пусть мучают его и сжигают. Он остановит вереницу страданий, прервет своей мукой и смертью. Умрет, но отец воскреснет, станет жить вместо него на земле, проживая свою недожитую, отнятую палачами жизнь. Нет, не подпишет донос.

— Можете не подписывать. Мне и не нужно от вас. Уверяю, найдутся другие. Я соберу необходимое количество подписей. Но предупреждаю, больше не стану вас опекать! Не стану тратить свои калории, чтобы подпитывать вашу больную, полуразрушенную сущность! Вас снова начнут преследовать, сослуживцы объявят вам бойкот, мужчины не прощают предательства! Не только инженеры, но и рабочие, и продавцы в магазинах, и врачи в больнице. Городок невелик, большая деревня, и все всем известно. Вам станет здесь невыносимо, и вы побежите. Вы же мастер по бегу на длинные дистанции! Но молва быстрее! Куда бы вы ни приехали — в Казахстан, в Заполярье, в Приморье, на любую стройку, на любую занюханную ТЭЦ или котельную, — вас уже будет поджидать ваша репутация! Не только по линии отдела кадров, — а эта линия, вы знаете, протянута через все министерства, главки, крохотные конторки, — но у каждого энергетика множество знакомых, друзей, они на всех стройках, на всех объектах. Вас ославят! Вы будете бежать под свист и улюлюканье! К тому же, это мое предположение, как только узнают, что вы беспризорник, всплывут ваши чернобыльские улики. Быть может, ими заинтересуется прокуратура, будет назначено следствие, суд и, может статься, вы будете осуждены, как «неосторожник» попадете снова сюда, в Броды, в нашу замечательную колонию. Снова с вами увидимся, на земляных работах. И тогда вы вспомните, что я предсказывал вам этот удел!

Солнце за шторой превратилось в огромный волдырь. Свет из белого стал красным, словно лопнул сосуд в мозгу, и дурная липкая кровь хлынула в полушария, залила глазницы, зрачки. Пропадая, удерживаясь на тонкой нитке безумия, Менько прошептал:

— Подпишу!..

Взял ручку, придвинул, сминая, лист, шаркая рукавом по столу, процарапал подпись: «Менько».

— Ну вот и ладно!.. И спасибо!.. Ну что вы, что вы, Валентин Кириллович! Выпейте-ка воды!..

Горностаев налил из графина. Протянул стакан. Менько пил из его рук, задыхался, булькал, видя близко от своего лица пальцы Горностаева. Приближал к ним губы, жадно пил, хлебал из его ладоней.

Он вышел на стройплощадку и обморочно побрел мимо туманной громады станции, цепляясь за обрезки арматуры, ошметки проволоки, лоскутья металла. Попал в металлический, торчащий из-под земли трос, запутался, дергался, и ему казалось — его утягивают с поверхности, убирают из-под неба после содеянного им предательства. В другом месте он влип в жидкий незастывший гудрон. Черный вар засасывал его, расступался под ногами, и ему казалось — он проваливается, уходит в смоляную жижу, в подземное кипящее варево. Мимо проходили монтажники, и ему чудилось — все смотрят на него с отвращением. Он поймал на себе презирающий, из-под пластмассовой каски взгляд. В блеске гусениц и зубцов, продавливая грязь, прочавкал бульдозер. Сквозь застекленные ромбы кабины он увидел бульдозериста, гадливо от него отвернувшегося.

Все знали о его позоре. Все разглядели предателя. Станция со своими корпусами и башнями была окружена красноватой металлической дымкой, словно в весеннем воздухе растворились капельки крови. Люди, машины, провода, пролетавшие птицы, далекие леса и просторы были в дымке предательства, в тумане пролитой крови.

Он вышел на берег озера. Середина была покрыта льдом. Сквозь месиво тающих льдин виднелась Троица, брошенное село, ожидавшее своего затопления. Шатер колокольни белел, как перышко. Под стенами станции было многоводно, теплые сбросы прожгли длинные, изрезавшие лед полыньи. Казалось, от реакторных башен били в лед, в озеро, в Троицу, в далекие лесистые горизонты могучие молнии ударов.

Он подошел к котловану. Вырезанная ножами бульдозеров, исчерченная зубьями, темнела мокрая ямина. На краю круглились железные трубы, топорщились бетонные сваи. Срезы земли являли чересполосицу черного, рыжего, белого. Прослойки льда и песка, рыхлая ноздреватая порода. Ножи бульдозеров вскрыли пласты, обнажили на краткий миг подземную подкладку. Черный сырой котлован зальют бетоном, вгонят вглубь стальные костыли, наполнят металлом, продернут арматуру. Вечные земные опоры срастутся с рукотворными крепями в единую нерасторжимую связь. Встанет реакторный блок.

Менько стоял на краю котлована, глубокого, как и его страдание. Внизу на дне он увидел собак. Звери сгрудились, мокрые, косматые, перепачканные землей и песком, словно стая провалилась в громадную волчью яму, не умела выбраться. Собаки подняли на него острые морды, молча, зорко смотрели.

Его испугало обилие собак. Было необъяснимо их появление в рытвине у стен машинного зала, среди труб и свайных полей. Он смотрел на них сверху, а они сотней мерцающих глаз разглядывали его, будто подземные духи. Бульдозеры срéзали поверхность земли, и открылось множество глаз. И эти глаза знали, что он предатель.

Он вглядывался в слоистый срез котлована. Коричневое. Желтое. Белое. Жирно-черное. Рыжее. Снова мучнисто-белое. Глаза его пробегали слои, пересчитывали их и вдруг остекленели от ужаса. Белым мучнистым слоем были кости, спрессованные, сжатые коричневой глиной. Бархатно-черное и коричневое — остатки деревянных строений, рухнувших и сгоревших.

Он всматривался в пестрый, исчерканный экскаваторами срез. Различал черепа, позвонки, тазовые дырчатые кости, растопыренные фаланги пальцев, перекрестья ребер, и снова лобастые черепа, распавшиеся позвонки и ключицы. Кости ярко белели под слоем полуистлев-

шего дерева, креозотных раздавленных шпал, сгнивших барачных стен. Земля была нафарширована людскими костями. Атомная станция с цилиндрами башен, насыщенная машинами, наполненная приборами, в своей мощной красоте и величии стояла на костях. С костями сросся ее фундамент. На костях крепился реактор. Над костями крутилась турбина. Кости были частью ее архитектуры, ее опорами и столпами.

Собаки наблюдали за ним со дна котлована. Белели кости. Станция, как пирамида, уступами устремлялась в небо, распустив во все стороны к горизонту блеск проводов. А в нем — мгновенное помрачение и бред. Все заводы, города и плотины, все взлетные поля и дороги возделаны на костях. Кости проросли сквозь землю конструкциями бетона и стали, взмыли ввысь самолетами, унеслись ракетами в мироздание. Страна поднялась на костях в своем непомерном величии.

В помрачении, в бреду ему показалось вдруг, что он видит череп отца. Близко от его ног выпуклая желто-белая кость с прилипшей землей была черепом отца. Он уверовал в это мгновенно. Это был отец, несомненно. Эту мертвую холодную кость, пролежавшую десятилетия в глине, одевала когда-то мягкая живая плоть. Здесь были губы, глаза, золотистые блестящие волосы, дыхание, голос. Все, что он помнил и знал об отце по материнским, сквозь слезы, рассказам, по нескольким оставшимся фотографиям. Улыбающийся, любящий его и зовущий, — таким снился ему в детстве отец. И позже, больной и измученный, в гнилом арестантском бараке, призывал его, сына, не веря в возможность встречи.

Все детские годы, юность, пору мужания он находился в таинственном невидимом общении с отцом. Не верил в его смерть. Знал, что отец жив и когда-нибудь возвратится. Молился перед сном о его возвращении, совершал во имя этого множество суеверных деяний, детских подвигов. То выходил в отличники, чтобы отец им гордился. То отказывался от нового костюма, донашивал старый до лохмотьев, помня, что не вправе наряжаться, если где-то в грязном рубище ходит отец. Не позволял себе вкусно есть, спать на мягком, развлекаться, если в это же время отец изнывает в непосильной работе. Он не верил замусоленной казенной бумажке, подтверждавшей, что отца нет в живых. Ему казалось, своей праведной жизнью, служением и подвигом он вырвет отца из небытия, воскресит его, и отец войдет в дом.

Позднее, размышляя о кровавой бесчеловечной власти, о массовых избиениях и казнях, о страхе, поселившемся в народе, как неизлечимая, угнетающая жизнь болезнь, он решил, что его собственное существование будет связано с изживанием страха. Он освободится от страха, изживет страх, преодолеет гипноз, навеянный палачами, и сбросит власть палачей, исключит повторение бойни. Разомкнет своим подвигом вереницу убийств, искупит кровь убитых.

Но только что в кабинете с зеркальным столом он пережил мгновение ужаса, мгновение слабости и вероломства. Подписал лист бумаги, губящий Фотиева, и этой подписью отступился от своего юношеского обета. Предал отца, предал невинно убитых. И отец не воскреснет. Не прервется цепь избиений. Над слоями прежних костей будет насыпан новый слой, и он сам ляжет в него перемолотой костной мукой.

С ужасом он смотрел на череп отца. Он, сын, сам, своей волей возводит громаду станции на отцовских костях. Навеки вмуровывает, запечатывает отца в монолит бетона.

Он увидел — ком земли, сочный от влаги, пропитанный талой водой, отвалился от склона, распадаясь, осыпался вниз, и вслед за ним выпала, покатилась грязно-белая берцовая кость. Упала на дно, и собаки, взвизгнув, отпрянули, а потом одна из них, косматая, рыжая, с белым пятном на груди, приблизилась, обнюхала кость, взяла ее в зубы.

Он смотрел на желтоватую кость в зубах у собаки. Старался представить того, кем раньше была эта кость. Генерал, академик, писатель, или просто крестьянский сын, батюшка с сельского прихода, или московский юнец. Канул безвестно, и близкие его не узнали, что на дне котлована собака грызет его кость.

Еще один ком земли, прогретый солнцем, осыпался, увлекая за собой древесную труху, ворох мелких костей. Собаки отскочили рыча, медленно приблизились, обнюхали прах.

Он смотрел на череп и видел, как тот начинает шевелиться, выпучиваться, словно невидимые силы выдавливают его из земли. Глина лопалась, текла, осыпалась. Череп выкатился, отделился от склона, упал на дно котлована. Собаки закружились над ним, скалили зубы.

Ему стало худо. Кости шевелились в земле, пытались восстать, выдраться из-под почвы, из-под тяжести железа и льда, из-под серой громады станции. Она в своих конусах и уступах качалась, лишалась опоры, и он, задрав голову, смотрел на реактор, ожидая, что тот взорвется. Взрыв подымет округлую кровлю, и в едком дыму прольется жидкое пламя.

Страшная догадка посетила его. Та, в Чернобыле, стояла на невинных костях, и кости восстали, взорвали станцию. Все города и заводы, космодромы, нефтепроводы, реакторы скоро начнут взрываться. Кости зашевелились в земле, и удар сотрясает кору, неся разрушение жестокому, построенному на костях государству.

Глава шестая

Две встречи, две обретенные подписи утомили Горностаева. Ему казалось — он проделал два тяжелых маршрута по бездорожью, пробираясь сквозь дебри чужого сознания, местами осторожно и ловко, огибая пни и промоины, местами резко и прямо, прорубаясь сквозь чащу, оставляя после себя дымную хрустящую просеку, — стальные высоковольтные мачты своих идей и намерений.

Он не жалел о потерянном времени. Это была не прихоть, а все та же работа. Все та же единственная, одна на всю жизнь страсть, ведущая его сквозь дебри человеческих и служебных отношений. Он был управленец, управлял инженерными объектами, но знал — те же принципы, то же искусство, та же непрерывная борьба за власть и влияние требуются для управления государством. И когда в его кабинет вошел Накипелов, начальник треста, в робе, в грубо связанном свитере, пахнущий бензином и сталью, напоминая своими мускулами, крутыми плечами, набыченной вращавшейся головой бетономешалку, Горностаев встретил его любезно и весело, словно это была его первая за день служебная встреча. Приобнял за плечо, усадил за лакированный стол, подвинул чашечку горячего кофе.

— Бригады у меня как мухоморов объелись! Работают — не удержать! «Давай фронт работ!» Я им говорю: «Мужики, вы мне лбами друг с дружкой не сталкивайтесь! Вы мне кашу на участках не заваривайте! Технику безопасности уважайте! А то такое наварганите, под суд пойду!» Не слушают. «Давай фронт работ!» — Накипелов похохатывал, довольный «объевшимися мухоморов» бригадами. Они ломились навстречу друг другу, почуяв большие деньги, жадно схватив отданный им на откуп лакомый кусок стройки. Разрывали клубки противоречий, не имея времени их распутать. Накипелов залпом, в два глотка, выпил кофе, крутанув тяжелой упрямой головой.

«Бетономешалка», — ухмыльнулся про себя Горностаев.

— Я все хотел вас спросить, Анатолий Никанорович, сын-то ваш в энергетический поступает? Я ведь звонил проректору, его там ждут. Режим наибольшего благоприятствования!

— Спасибо за хлопоты, Лев Дмитриевич, но Колька мой финт выкинул. «Не хочу, говорит, быть инженером. Хочу идти в зоологи. Вы,

говорит, столько природы сгубили, рыб, зверей, что теперь их заново разводить придется». Я говорю: «Ну, поступишь в свой зоосад, а там кафедры нет военной, в армию сразу пойдешь». А он говорит: «Ну и что, послужу, а потом все равно животными заниматься буду». Так что спасибо за хлопоты, но Колька мой финт выкинул!

— Мы с вами добрые старые знакомые, Анатолий Никанорович, друг без друга уже не можем. Идти нам дальше вместе, никуда друг от друга не деться. Никогда вас ни о чем не просил. Могу вас попросить об услуге? Один-единственный раз?

— Конечно, просите.

— Просьбу выполните?

— Конечно.

— Вслепую?

— Для вас вслепую.

— Ну тогда подпишите! Это и будет услуга!

Горностаев подвинул к нему по скользкой блестящей поверхности лист бумаги, где была докладная на «Вектор» и уже стояли две подписи. Накипелов принял листок большими толстопалыми руками, стал читать. А Горностаев смотрел на его насупленное лицо, обветренный лоб, синие под белесыми бровями глаза и испытывал к нему сложное, неясное чувство.

Он ценил Накипелова, ценил подобных ему. Эта была тягловая, упрямая сила, впряженная в стройку. Канаты, за которые Накипелов сволакивал стройку с мели, протаскивал ее через перекаты, напрягались, скручивались, скрипели. Лопались волокна и жилы, громада строительства со скрежетом двигалась. Горностаев не мог без таких людей, упрямых, нелюбезных, соглашавшихся Бог весть из каких побуждений волочить по-бурлацки свою ношу. Эти люди, обреченные на тяжкий, почти безнадежный труд, были главным богатством стройки. Горностаев ценил их, берег. И в то же время чувствовал к ним неприязнь, к их глупому мужицкому смирению, таившему глухую угрозу. Невидимый, скрытый от глаз предел, за которым смирение после пустяшной обиды, неосторожного слова превращалось в бунт, извержение, взрыв. Было способно разметать в одночасье все созданное в великих трудах и терпении. Разрушительную, слепую силу чувствовал Горностаев в Накипелове, боялся ее. Понимал, что она, эта сила, запрятанная в угрюмые недра души, и была та топка, которой он, Горностаев, пользовался. Сжигал топливо, стараясь не допустить разрушения стенок.

Так думал Горностаев, следя, как читает листок Накипелов.

— Ну нет! — выдохнул Накипелов, отодвигая листок. — Это не подпишу!

— Почему? — удивился Горностаев, и его улыбка, воздетые брови, ласково-ироничные глаза излучали незлобливое, насмешливое изумление.

— «Вектор» — это вещь! Я его у себя в тресте ввел, в двух управлениях. Он у меня заработал! Это я раньше на него косился, думал, что дурь одна! А теперь попробовал — вкусно! Люди его на зубок взяли, пожевали осторожно и проглотили. Теперь от него не откажемся!

— Да бросьте вы, Анатолий Никанорович! — все еще весело, но уже с глухим, проступавшим сквозь смех раздражением сказал Горностаев. — Какие люди? Кто проглотил? Что это вам, блесна? Вы же энергетик от Бога! Неужели на такую чушь покусились?

— Это не чушь, Лев Дмитриевич. Люди на чушь не пойдут. Его в эту чушь столько раз окунали, что наш человек весь в чешуе! Если он принял «Вектор», значит, в нем дело. Сейчас люди не принимают со слов, ничему не верят. А «Вектор» приняли! И как видите на последних штабах, рывок мы сделали, ушли от остальных вперед!

— Ой, да бросьте! — раздраженно оборвал Горностаев. — Ваша выработка — это мое к вам хорошее отношение! Я вам поставки обеспечиваю. Я вам металл и бетон даю. Я вам технику шлю безотказно. У других отбираю, а вам даю. Попридержу поставки, переброшу другому тресту, и вся ваша выработка кувырком! Весь ваш «Вектор» к чертовой матери! Вы энергетик от Бога, а поверили в эту туфту.

— Нет, Лев Дмитриевич, «Вектор» возвращает смысл делу, когда человек не только машину строит, но и себя самого, любит себя в работе, и из каждого дела выходит добрей и умней. Это мужик наш прочувствовал, надоело ему оскотиниваться. Он тосковать устал! «Вектор» его из тоски выводит!

— Ну и купил он вас всех, этот дилетантик! Научил разговаривать, — хрипло, едко засмеялся Горностаев. — Ну просто преображение человека! «Мир, труд, май!» Мед вам налил на язык!

— Я вам скажу, Лев Дмитриевич, какие у меня вещи творятся. Выработка — Бог с ней! Хотя и она при нынешнем безделье в стране — не последнее дело! Люди у меня другими стали, ненависть и тоска от них отступают. Что надумали, знаете? Сообща лодок настроить, свою лодочную станцию открыть. После пуска второго блока — водный праздник! Гонки на воде, музыка, салют над озером. Свой труд, свою дружбу хотят отметить!.. С кооперативами интересно выходит. Толкутся здесь кооператоры, переманивают со стройки рабочих. Скупают за тысячи. В соседнем тресте скоро голо станет, народ на тысячах спятил. А от меня не идут! От Накипелова к кооператорам не идут! Почему? Расставаться не хотят!.. Что еще люди надумали, без подсказки сверху, без партийной подначки! В психушку деньги отчислили, в психбольницу от зарплаты в помощь убогим. А по субботам, по воскресеньям ремонтную бригаду к ним направляем, крышу латать, чтоб не капало. Называется милосердие! Не из царских сахарных ручек, от избытка, а из черных рабочих ладоней, от души!.. Еще интересно: крановщик у меня есть Ладошкин, пропойца, от сивухи черный, жена прогнала, детишки отреклись, в общаге на полу спал. Кончать с собой хотел, повеситься на гвозде. Так вот с ним, с Ладошкиным, чудо случилось! Завязал пить. Месяц ни капли. Вернулся на кран, опять человеком стал!.. Это «Вектор» все чудеса творит. Опять людям человеческий образ вернул... И вы хотите, чтоб я от «Вектора» отказался? От Фотиева отказался? Нет, Накипелов рабочий класс не продаст! Друзей своих Накипелов никогда не продаст!

Он отталкивал тонкий листок своими огромными ручищами. Крутил шеей, мерцал синими глазами. Горностаев испытывал к Накипелову острую неприязнь. К его неодолимой тупой непреклонности, не позволявшей быстрым и ярким мыслям проникать под свод тяжелого черепа, где поселившаяся однажды, с трудом добытая мысль оседала навсегда, становилась угрюмой страстью. И выманить эту мысль, заменить другой было невозможно. Таких, как Накипелов, нельзя было запугать, задобрить, обмануть и купить. Их можно было только убить.

Так думал Горностаев, с отчуждением и брезгливостью глядя на обветренное лицо Накипелова, на грубые с грязными ногтями ручищи, оттолкнувшие драгоценный листок.

— Знаете, — сказал Горностаев, холодно улыбаясь. — Я ведь и без вашей подписи закрою эту безделушку, этот ваш смехотворный «Вектор». Я хотел быть корректным, не ставить вас в глупое положение. Но если вы решили, что вам этот дурацкий колпачок, этот бубенчик к лицу — на здоровье! Я найду, поверьте, еще десяток подписей, десяток людей, которым этот ваш «Вектор» смертельно надоел. Мы его закроем приказом. И пусть ваш бубенчик на колпачке звенит и народ смешит. Я закрою «Вектор» приказом!

— А вот этого и не будет! — не то захохотал, не то зарычал Накипелов. — Не дадим закрыть! Хватит нас закрывать! Русского человека семьдесят лет закрывали, чтоб ему совсем закрыться. Но мы перед тем, как совсем захлопнуться, перед тем, как гвозди в крышку, мы в

щелку-то последнюю выглянули и небо синее над собой увидели! Мы теперь из ящика высунулись под синее небо, и нас уже не захлопнешь! — хохотал он, раздвигая обветренные губы с крепкими желтыми зубами, и щетина на его скулах дергалась золотыми огоньками. — Русских людей больше не захлопнуть!

— Что вы мне про русских все говорите! — Горностаев чувствовал, как в Накипелове поднимается жаркая, неподвластная ему, Горностаеву, сила. — Мне-то вы что про русских! Я ведь не якут, не еврей, не японец! Тоже русский!

— Все у нас отняли! — не видел его Накипелов, а видел кого-то другого, близкого, чуткого, жадно глотавшего его словеса. — Царя отняли—кокнули! Веру отняли — опоганили! Песни отняли — рот заткнули! Землю отняли — в голытьбу превратили! Волю отняли — в лагеря заслали! Природу-матушку искалечили — смерть и яд кругом! Семью разорили — бабы не рожают, пьют да блядуют! Дух богатырский сломили — воры да трусы! Умных людей извели — дебилы в психушках! Города родные — Тверь, Царицын, Владикавказ — с карты смели помелом! Чтобы русских имен не осталось! Русских слов не осталось! Чтобы мы, русские, волосами и коростой покрылись, себя узнавать перестали! Нет, не вышло! Русские-то проснулись! Русские дураки опомнились, «Историю Государства Российского» прочитали! Есенина, Пушкина наизусть учат! Суворова и Кутузова не забыли! К Менделееву, Сеченову за советом идут! Русских били, изводили, по макушку в землю вколачивали, кажется, и нет их, а они вот они, русские! — грозно, яростно гудел Накипелов, ударял себя кулаком в грудь, грубошерстный, кольчужно-связанный свитер, и в груди гулко грохотало в ответ.

Горностаев испытывал двойственное сложное чувство. Был согласен с Накипеловым, думал с ним заодно. И отвергал, отрицал, опасался его и страшился. Накипелов, как и Фотиев, были самоучки, в первом поколении, с опозданием, натощак добрались до духовных яств, жадно их проглотили. Натыкаясь на случайные книги и мысли, усвоили их кое-как, плохо переварили и поняли. Создали из них нелепые громоздкие построения, в которых тесно, тошно его утонченному интеллекту, его рафинированной культуре, усвоенной с детства в специальных школах, с отборными учителями, домашними репетиторами, с тщательно подобранной библиотекой. Горностаев был из элитарного, выработанного государством сословия, в котором хранились заповеди и устои от давних времен, сочетались с новейшими. И, глядя на Накипелова, Горностаев испытывал сословную ненависть. Повторял мысленно: «Мужик!.. Идиот!..»

— Понимаю, почему многие терпеть не могут, когда произносится слово «Россия», — сказал он язвительно. — Вы Россию навязываете, как стакан водки и карамельку на закусь, от души, конечно! Но согласитесь, не все хотят пить с вами из одного стакана!

— И вы на русских хулу возводите? И вам Россия мешает? Вот ведь довели русского человека, что он сам себе мешает, сам себя ненавидит! Что же Родину-то нашу так все ненавидят? Народ наш так ненавидят? Хотят его рассеять, чтобы следа не осталось...

Горностаев молча слушал его, соглашался и отрицал. Был заодно с Накипеловым в его народном страдании и был против его яростного сумбура. Накипелов, самородок, недоучка, вышедший из деревни, добился всего горбом, кропотливым трудом и терпением. Был человек из народа, думал и чувствовал, как народ. Сумбурно, косноязычно выговаривал народную истину. Он же, Горностаев, зная народную истину, знал и другую, ту, что народ не ведал. Истину, которая открывалась узкому слою людей, государственников. Они, эти люди, заставляли неведущий, пребывающий в непонимании народ подчиняться и служить государству. Эта сокровенная, немногим открытая истина была выше народной. Требовала высших знаний, высшей организации ума. Горностаев, государственник, владел этим высшим знанием. Воздействовал с его помощью на народ, заставлял его служить государству.

Увлеченный, не видя Горностаева, а видя другого, враждебного, приближавшего конец всему, что любимо и мило, Накипелов продолжал говорить:

— Союз трещит по кускам, как горшок глиняный! Прибалты — крохоборы, отцепляются! Кавказцы кишмиш в НАТО хотят везти! О чем было подумать невозможно, сегодня на глазах происходит! Все ихние вожди и герои норовят в Россию ком грязи! В глаза ей плюнуть! Россия последнее с себя снимала, коркой делилась, сама голодала, а хлеб дарила, сама от тифа мерла, а врачей посылала, самой профессоров не хватало, а в республиках университеты строила! И теперь ей за это в лицо плюют! Когда Россия в беде очутилась, изнемогает, стонет, над ней, больной, насмехаются! Предатели! Кусок пожирней прихватить и — бегом! По кускам распродают! Сибирь продают, Приморье, Север русский! Тысячу лет князья и цари собирали по холмикам, по речушкам — собрали царство! А сегодня временщики, проходимцы распродают на корню! А вдруг не помрем, а выдержим? Вдруг встанем с больничной койки? Что будем делать с предателями?

Горностаев знал эту ярость, медленно, долго пробивавшуюся со дна души, постепенно, как грунтовые воды, пропитывающую разум, волю, все существо, пока, наконец, не ударит донным кипятком и взрывом, в котором не уцелеть ничему — ни здравомыслию, ни состраданию, ни добру, и тогда ему, Горностаеву, воздействовать на нее холодной беспощадной жестокостью.

— А и черт с ними, пусть удирают! Стряхнуть их с плеч! — Накипелов двинул плечами, прокатил под вязаным свитером бугры мышц, словно стряхивал невидимые, обступившие его полчища. — Пора России от кровососов очиститься, пусть живут, как знают. Воруют, бездельничают, наркотики курят. Опять паранджу наденут, в земляные ямы друг дружку пересажают. Россия вздохнет, наконец, и очистится, займется собой. Реки и леса в порядок приведем. Храмы и университеты отстроим. Заводы и станции заложим по последнему слову техники. А до предателей доберемся! Предателей в России в проруби топили и на городских воротах вешали! Сам буду их топить и вешать вот этими вот руками! Очистим Россию навсегда, на тысячу лет вперед!

Горностаев чувствовал все острей, точней, с нараставшей пугавшей уверенностью — рано или поздно ему придется столкнуться с безумной разрушительной силой, готовой поднять на дыбы весь уклад и порядок жизни. Эта сила ворвется в дома, в заводские цеха, в музейные залы, в золотые гостиные, превращая в пыль громаду государства. И он, Горностаев, подобно другим, должен встать на пути разрушения. Защитить дома и заводы, символы веры и власти. Спасти государство. Обратить против слепой разрушительной силы разумную холодную беспощадность.

Так думал он, глядя в близкое красное от возбуждения лицо Накипелова, мысленно вгонял ему в лоб острый стальной костыль.

— Но нет, господа хорошие, рано нас хоронить! Русские люди живы и будут жить! Правильно Фотиев говорит: впереди у России чудесное будущее, мы еще вздохнем полной грудью на всю вселенную! Раскатаем скатерку между трех океанов, созовем на пир наших учителей и защитников — Александра Невского, Дмитрия Донского, Рублева, Ломоносова. У нас Пушкин есть, а с Пушкиным нам не страшно. Пусть себе «буря мглою небо кроет»! А мы ей: «Да здравствует солнце, да скроется тьма»!.. Вы-то, Лев Дмитриевич, русский мужик, идите к нам, будьте с Фотиевым заодно! Он да вы — это такая силища! Русским людям объединяться надо, а не бросаться друг на друга с кувалдой! Такие, как вы, умницы, организаторы. Такие, как Фотиев, ученые, знающие душу народную. А еще офицеры боевые, которые кровью своей пустыни и горы кропили! А еще священники, которые во все века за

Россию молились!.. Всем объединиться, и спасемся, и выстоим! Давайте, Лев Дмитриевич, встретимся вместе с Фотиевым!..

Горностаев больше не испытывал к нему раздражения, не чувствовал страха. Накипелов с его громким дыханием, с бурной косноязычной лексикой, с непереваренными из книг и журналов мыслями был для него объектом управления, вышедшим из подчинения. И нужен новый набор команд, иная их цепь и последовательность, чтобы неуправляемый, непокорный объект стал снова подчинен его воле. Оказался в цепи управления. Нужно лишь время, чтобы он, управленец, нашел эту цепь команд. Пусть самых больных и жестоких...

Накипелов двигался по стройплощадке, воодушевленный своими недавними мыслями о судьбах России. Все еще витийствовал вслух, убеждал Горностаева, надеялся, что тот, вняв его речам, войдет в их братский союз, где каждой душе — рабочему, солдату, философу — уготованы свои место и роль, где каждый, кто бы он ни был, внесет свою лепту в спасение и возрождение России.

Он двигался по участкам, где работали его бригады. И везде — в раскрытых котлованах, на зазубренных свайных полях, на уступах корпусов и фундаментов — было людно. Клубилось, вспыхивало. Подымались облака горячего пара. Чавкал, лился бетон. Блестели ножи бульдозеров. Колыхались стрелы башенных кранов. Станция рыла вокруг себя глиноземы, проталкивала во все стороны подземные корневища. На них начинали вздыматься побеги из стали, кустились гибкие стебли, набухали бетонные клубни. Станция ворочалась в талых снегах, продолжала свой грозный рост.

Среди вялой сонной работы соседних участков, где было безлюдно, слонялись без дела разрозненные группы монтажников, простаивала техника, застыли уныло краны, среди этой невнятной размытой картины его территория бурлила концентрированной, направленной к цели энергией. В дыму и туманных вспышках встречались земная материя, налаженный инструмент, усилия мускулов, людской темперамент и страсть. Все это сливалось, взаимодействовало, меняло первоначальную форму, превращалось в растущие конструкции станции. И повсюду, где люди встречались с людьми, прораб с прорабом, бригада с бригадой, машина с машиной, где ковш экскаватора касался кузова самосвала, где бетононасос, брызгая теплым раствором, заливал монолит фундамента, где бенгальский огонь электрода шипел в перекрестии балок, — везде Накипелов узнавал присутствие «Вектора». Невидимый, не имея материального воплощения, неолицетворенный отдельными работниками, он был творящей управляющей силой, что действовала среди скопища людей, механизмов, направляла умение и волю, сочетала интересы, порождала соперничество, поощряла победителей, давала надежду побежденным, соединяла людей в сложное коллективное творчество, в могучую артель. Открывала смысл совместной, на благо всех работы.

Он зорко замечал приращения станции, малые толики, добавляемые к махине, заслонявшей небо. Видел материальные результаты труда, о которых к вечеру доложит на штабе. Но он не доложит о почти незаметных, по крохам возвращаемых вере и радости, открывавшихся людям в работе. Измызганные, утомленные, они оставляли на стройке невосполнимую часть своей жизни, сжигали на станции свои клетки, нервы, драгоценные, отпущенные природой секунды, но приносили домой опыт осмысленного совместного действия, по которому истосковалась душа, в котором каждый становился достойней и чище, обретал в работе товарища, друга, брата, дарил ему избыток своих щедрот, получал взамен братскую, дороже любых денег, благодарность. Они строили станцию и одновременно воссоздавали себя. Угрюмые, грубые, изверившиеся, обленившиеся, презиравшие начальство, власть, вранье

газет, презиравшие бессмысленный, отрицавший их достоинство труд, они заново воскресали. Вспомнили о чем-то забытом, замурованном в их усталых, неверящих душах. И оно, забытое, обнаружилось. Стало самым важным и ярким. По утрам, напялив робы и каски, они торопились на встречу друг с другом, вечерами, отмываясь в бытовках, не хотели расставаться.

Так чувствовал Накипелов артельный труд, направляемый «Вектором».

По бетонке катил колесный кран, расплескивая грязную воду. Рыжая стрела колыхалась, стертый до блеска крюк был приторочен тросами. Кран притормозил, из кабины выглянул крановщик Ладошкин. На голове его торчала лохматая, в клочках и залысинах шапка. Лицо смуглое, сморщенное, в подтеках и складках, словно к этому лицу многократно прижимали все железо, весь шершавый бетон, ребристые протекторы шин, зубцы и шипы гусениц. Ладошкин, пьяница и прогульщик, допившийся до белой горячки, изгнанный из семьи, помышлявший о гвозде и веревке, исцелился неведомым чудом. Не пил, работал, вернулся в дом. Сплетники говорили, что его излечила деревенская ворожея — наложила на него страшное заклятье. Другие говорили, что он ездил в город к гипнотизеру и тот внушил, вменил ему трезвость. Третьи утверждали, что он прошел курс у нарколога, а тот зашил ему под кожу грозную «торпеду». Накипелов же знал: колдунья и ворожея, гипнотизер и маг, нарколог и психиатр — все это «Вектор», вынул его из петли, вернул к жене и детям, посадил за руль машины.

Его лицо со следами страстей и страданий, землистое, пепельное было почти неживым. Но на этом лице среди морщин и метин, рытвин и ям сияли ожившие, умные, веселые глаза. Накипелов, увидев его, испытал к нему, исцеленному, нежность, любовь.

— Анатолий Никанорович! — крикнул из кабины Ладошкин. — После смены позвольте зайти, идея есть!

— Зайди, покажи идею!

— С ребятами толковали, идея хорошая!

— На хорошие идеи спрос, заходи!

Тот кивнул, тронул кран, провел мимо Накипелова, обрызгав водой. Накипелов не сердился, видел его обугленное, с сияющими глазами лицо.

«Идея Ладошкина! — думал он, обходя стройплощадку. — Великая идея Ладошкина!»

Он вышел на берег. В рыжих осыпях текли и сочились ручьи. Блестели, как куски горячего белого сала, прожилки льда. Дуло по озерной полынье мелким колючим солнцем. Станция пускала из ноздрей косматый пар, топорщилась серебристой щетиной, распушила медно-красные усы проводов. Подымала в синеву свои громадные лобастые головы.

Он увидел, как по краю котлована мягко, плавно, перепрыгивая рытвины, бежали собаки. Впереди могучий вожак, остроносый, косматый, похожий на волка. Накипелов смотрел на медленный красивый скок стаи. Не удержался, всунул в рот два пальца и лихо свистнул. Стая остановилась, вожак повернул к нему морду. Мгновение они смотрели один на другого, человек и собака. Стая снова двинулась мягким волнистым скоком, исчезая в плетении стальных конструкций.

Глава седьмая

Горностаев обошел машинный зал, торжественно-гулкий, пустынный, где в огромном асбестовом саркофаге покоилось холодное тулово турбины. Сквозь бесформенно-литое покрытие асбеста он чувствовал драгоценное стальное диво — тончайшие лепестки лопаток, многопрофильный сияющий вал, литые гроздья подшипников. Турбину окружа-

ли бесчисленные циферблаты приборов, подымали на тонких стеблях стеклянные мерцающие головки.

Он прошел по реакторной зоне. В цилиндрическом лучистом пространстве, похожем на операционную, в белизне и хромированных вспышках, был вмурован реактор. Легированные стаканы и чаши, ювелирные хрупкие сетки — вместилище огненных сил, ядерная сердцевина станции. Было безлюдно, беззвучно, лишь изредка мелькали монтажники в белоснежных одеждах, мягко отражался прожектор на изгибах стали.

Он оглядел стройплощадку, где из мокрой земли, разрывая ее, как шершавые клубни, поднимались фундаменты будущего третьего блока. Пустыри были завалены мусором и строительным ломом, но по ним уже сновали геодезисты с полосатыми рейками, готовили территорию под четвертый блок.

Вся станция, ее работающая осуществленная часть и вновь созданная, готовая к пуску, и несуществующие объемы будущих корпусов принадлежали теперь ему. Он станет сжигать свои ночи и дни, свои нервы и мускулы, создавая громадную, непомерной мощи машину, запуская ее среди тусклых озер и лесов.

На пустыре за грудами железобетонных конструкций он увидел старый облезший фургон, кабину помятого грузовика. Фургон и кабина были в залысинах, в грубо навареных заплатках. Вокруг машины двигались люди, шелестела и вспыхивала сварка.

Горностаев вгляделся и узнал сварщика. Это был Чеснок, бражник и бич, изгоняемый многократно со стройки, тот самый, кого зимой на комиссии профкома он, Горностаев, из прихоти своей оставил на станции. Помнил его лживо-жалкий лепет про несчастное детство, загубленную юность, про Чернобыль, где он хлебнул радиации. Все по той же прихоти Горностаев подсадил его в свою машину, привез в коттедж, заставил разгребать снег перед домом, вынес в награду стакан водки.

Чеснок был все в том же засаленном нечистом пальто, в грязных с разорванными молниями сапожках. Вокруг шеи был намотан красный свалявшийся шарф. Лицо в белесой щетине, в прыщах и угрях щерилось длинными желтыми резцами. В синих защитных очках, со вздернутым чутким носом он был похож то ли на белку, то ли на остромордую белесую крысу.

— Начальство идет! Смирно! — Чеснок погасил электрод, взбил на лоб очки и весело, нагло приветствовал Горностаева. Два его напарника, такие же замусоленные и нечистые, вытянулись, смущаясь начальника. — Разрешите доложить! — по-военному, кривляясь, вытягиваясь по стойке «смирно», продолжал Чеснок. — Модернизацию морально устаревшего оборудования произвели в соответствии с курсом на ускорение научно-технического прогресса. Желаете осмотреть установку?

Горностаев с любопытством, с острым вниманием смотрел на нездоровое, в розовой экземе лицо, на желтые острые резцы, нагло-трусливые бегающие глаза. Этот парень с отталкивающей внешностью чем-то привлекал Горностаева, внушал брезгливый, неясный в своей природе интерес. Уже тогда, на профкоме, когда изгоняемый Чеснок ломал комедию, прикидывался изгоем, уже тогда Горностаев почувствовал к нему смешанное с отвращением влечение. От него тянуло распадом и тлением, он был порочен, преступен, но все это, вместе взятое, являло своего рода талант, было непрерывной отвратительной и забавной игрой. Эта игра, ее пóрочность и развлекательность притягивали Горностаева.

— Что за изделие? — спросил он, принимая предложенный Чесноком тон, полушутливый, полустрогий. — Почему халтурите в рабочее время?

— Никак нет, не халтурим! — рапортовал Чеснок. — Народный

кооператив по борьбе с разносчиками инфекционных заболеваний! Товарищество по отлову и переработке бездомных собак в интересах граждан и работников станции!

И в этом кривлянии, в наглой льстиво-насмешливой речи, в готовности нагрубить и тут же трусливо польстить было все то же отвратительно-привлекательное. Побуждало Горностаева терпеть Чеснока, вступать с ним в общение, доверять иногда мелкие незначительные поручения, принимая мелкие незначащие услуги. В этой тяге к Ченоку было нечто болезненное. Быть может, Горностаев улавливал в нем какие-то скрытые, измененные до неузнаваемости собственные черты. Чеснок повторял его невпрямую, сложно воспроизводил, бич, забулдыга, — хозяина стройки.

— Дело хорошее! — похвалил Горностаев. — Спасу нет от бездомных собак. Пора город очистить. Да и вы с шапками будете. Город с шапками будет.

Он обошел машину, оглядел кованую дверь, щеколду, свежую полуостывшую сварку. Чеснок наблюдал за ним.

— Одно малое дельце хочу тебе поручить, — сказал Горностаев. — Выполнишь?

— Рад стараться!

— Ступай со своим Гвоздем к помещению штаба, сними со стены стеклянные ящики, в которых таблицы и графики «Вектора». А вместо них повесь вот этот плакатик. Рекламу кооператива!

Он достал из кармана листок с рисунком собаки, подаренный художником-«зэком». Прижал листок к фургону, надписал: «Берегись бездомных собак!»

И опять ему померещилось, что Чеснок неуловимо воспроизводит его. Отвратительный, трусливый, продажный, — его, изящного, умного, бесстрашно-бескорыстного, ставшего хозяином стройки. Но об этом сходстве никто никогда не узнает. Чеснок и его молчаливые, с испитыми лицами подручные теперь — его. Принадлежат ему вместе с громадным хозяйством станции.

Глава восьмая

Фотиев с Тихониным, свернув рулоны разноцветных графиков, шли от вагончика к помещению штаба, где в стеклянных витринах вывешивались экраны «Вектора» — ежедневный моментальный портрет стройки, направление главных усилий, пики успехов и срывов, имена управленцев, ответственных за выполнение работ. Подвижный живой чертеж, в котором стройка билась, вырывалась из рук, снова вгонялась в жесткое русло планирования.

Они подошли к стене, где висели экраны, и ахнули. Стена была голой. Уродливо торчали гвозди. Валялось разбитое стекло от витрины. На голый грязный кирпич был налеплен рисунок: сидящий пес и надпись: «Берегись бездомных собак!»

— Что?.. Почему?.. Хулиганы?..— Фотиев крутил головой, пытаясь понять случившееся.

— Мой рисунок! — беспомощно лепетал Тихонин, щупая пальцами прикрепленный к кирпичу листок.

— Где экраны? Почему сняли? — Фотиев устремился навстречу знакомому плановику, появившемуся на пороге штаба.

— Приказ руководства, — ответил плановик с сожалением и сочувствием. — Отменили ваш «Вектор», велели убрать экраны.

— Да кто отменил? Почему меня не спросили?

— Руководство не любит спрашивать, — вздохнул плановик и скрылся в дверях.

— Как же так! — топтался Тихонин, не умея объяснить, как рисунок собаки, подаренный утром зашедшему ненароком начальнику, как этот рисунок с оскорбительной, направленной против Фотиева над-

писью очутился на кирпичной стене, на месте разгрома «Вектора», сделав его, Тихонина, участником святотатства. — Я ему от души, от сердца...

Фотиев стоял лицом к голой, дикой, жуткой стене, в подтеках грязи и копоти, с окаменелым, застывшим в кладке раствором, понимая, что об эту стену разбилась вдребезги вся его прежняя жизнь, долгое страстное ожидание чуда, по крохам, по маковым росинкам собираемое открытие, из недоеданий, недосыпаний, из воспаленных случайных прозрений, из мгновений тьмы и отчаяния, — его мощное, набиравшее скорость стремление, его «Вектор», его победа, уже почти случившаяся, — разбилась здесь, об эту страшную стену. Она, в уродливой кладке, неодолимая, как последняя преграда, была той стеной, у которой кончается жизнь, в которую безумным взором упирается смертник, все последние мысли и чувства, последнее скольжение зрачков — по этим грязным кирпичам, уродливым нашлепкам раствора, в который шмякнется, расплющится горячий, пробивший тело свинец.

Фотиев очутился в приемной, где секретарша Горностаева разговаривала по телефону, оживленная, веселая, поглядывая на перламутровую коробочку с разноцветным гримом, чей-то недавний подарок.

— Знаешь, я решила немного развлечься, съездить в Москву, в театр, — говорила она, любуясь коробочкой. — Мы здесь все одичаем, если не будем иметь культурной программы. Не знаю, куда профком смотрит... Нет уж, я сама возьмусь теперь за профком! — в ее голосе появились властные нотки, она уловила их в себе, и они ей понравились. — Льва Дмитриевича сейчас нет, и когда будет, не знаю... Да, он очень много работает, не знаю, кто больше него работает... Нет, вы зайдите после обеда, я доложу, что вы хотели его видеть... Ну что вы, что вы, мы ведь старые знакомые, и я этого никогда не забуду!

— Мне нужно к Горностаеву!.. Он знает про «Вектор»!.. — обратился к ней Фотиев, когда она положила трубку.

— Вы же слышали, Льва Дмитриевича нет, и когда будет, не знаю! — резко ответила секретарша, вспоминая наказ своего начальства, касавшийся безумца, который должен придти. Это и был тот безумец — суетливый, нелюбезный, взбалмошный.

Он бежал по стройплощадкам, натыкаясь на вспышки электросварки, ударяясь о кабины «БелАЗов», попадая под ножи «КАМАЦУ». Станция хватала его, отрывала от земли, играла им, перебрасывала с одной громадной ладони на другую. Он пробежал сквозь резные узоры высоковольтных линий. Кололся, обрезался об острое серебристое железо. Путался в тончайших металлических нитях. Казался крохотной мошкой, залетевшей в стальную паутину.

Очнулся на пустыре, где под навесом лежал самолет, тот самый, что рывком ковша был выдернут из торфяного болота, — штурмовик минувшей войны. Двое рабочих осторожно склонились над изувеченной машиной, постукивали по вмятинам, бережно оглаживали пробоины.

Два брата Вагаповы реставрировали штурмовик, пролетевший сквозь небо былой войны, утонувший в подземном царстве торфяника, заново извлеченный на свет.

Фотиев натолкнулся на братьев, на их знакомые родные лица. Оба разом к нему обернулись.

Вчера они все вместе сидели в тесной комнатушке Вагаповых, и старший, Михаил, читал им письмо от друга-«афганца», с кем воевали в ущелье Панджшер. Друг вспоминал, как вертолет, полный убитых и раненых, пытался взлететь, унести с горы попавший в ловушку десант. Михаил Вагапов уступил другу место в перегруженном вертолете, взял

у него боекомплект и гранаты. Залег у свистящих винтов, прикрывая огнем пытавшийся взлететь вертолет.

Они слушали это письмо, и младший Вагапов, Сергей, сказал, что в Чернобыле при очистке реакторных залов были добровольцы, кидавшиеся в очаги радиации. Один из них тоже прислал ему, Сергею, письмо, рассказывал, как тяжело болеет, как медленно умирает, кочуя из больницы в больницу.

Еще вчера они сидели в комнатке общежития, чаевничали, и Фотиев любил их обоих, их молодые усталые лица, их повидавшие горе глаза, и ему хотелось их защитить; казалось, «Вектор» им будет защитой, исцеляющей живительной силой, которая их сбережет. Но сегодня «Вектор» погибал, сам нуждался в защите. И Фотиев, торопясь и сбиваясь, поведал Вагаповым о несчастье.

— Я вам говорил, Николай Савельевич, что начальство — сволочи! — Михаил Вагапов ударил кулаком в борт самолета, и машина жалобно загудела, — всегда говорил — сволочи и подлюги!.. А вы нам: «Гражданский мир!», «Снятие противоречий!», «Всенародное согласие!» Сволочи и подлюги! Шайка! И действовать будут, как шайка! — он вытянулся, заострился от ненависти, и Фотиев, как ни был огорчен и измучен, огорчился, испугался в Михаиле этой направленной ненависти. Еще недавно казалось, что ненависть, скопившаяся в Михаиле, отступила, и сердце его умягчилось. Их встречи, их беседы о «Векторе» смягчили ожесточение, умерили неприязнь к начальству, от которого, как полагал Михаил, исходят все беды. Теперь же «Вектор», умягчающий, сдерживающий, был сломан. Ненависть вырвалась на свободу. — Починил бы, ядрена мать, самолет, сел бы и улетел к ядрене фене! Да только куда? Везде они, суки, сидят! Как вши поганые, страну покрыли и сосут, сосут кровь! Огнеметом бы их, мать их ети!

— Вы успокойтесь, Николай Савельевич, — утешал Фотиева Сергей, — посидите немного. Образуется все.

И Фотиев снова, как ни был расстроен и взвинчен, испытал благодарность к нему. На застенчивом, бледном, «чернобыльском» лице Сергея появился слабый румянец. И вот знак огорчения и сочувствия тронул Фотиева.

— Не понимаю их логики! — он прислонился к фюзеляжу старой машины с обломанным элероном, и машина, израненная, сбитая, поддержала его ослабевшее тело. — Я предлагаю общую, объединяющую всех идею. Не производственную, не промышленную, а идею Отечества и свободных в нем граждан! А они губят эту идею ради мелких групповых интересов, вносят страшный раскол. Не понимаю!

— Сволочи!.. Огнеметом! — твердил Михаил. — Хотите, ребят подниму? Ребят из бригады выведу?

— Нет, нет! — прервал его Фотиев. — «Вектор» способствует гражданскому миру, а не гражданской распре!.. Я пойду в райком к секретарю Кострову. Его отец, старик-учитель из Троицы, он рассказывал мне о возможной гармонии. Он пишет «Книгу утрат», заносит в нее все потери, все слезы народа. Сын близок к отцу. Пусть он секретарь, партиец, но духовно близок к отцу! Партия мне поможет! Есть же на святой Руси правда!

Он заторопился в райком, надеясь увидеть секретаря райкома Кострова, поведать ему о несчастье. Он спасал свое детище, как мать выносит из огня люльку. Как птица мечется под ногами охотника, отвлекает его от гнезда.

В райкоме было безлюдно. Не толклись посетители — директора совхозов, врачи больниц, учителя школ, инженеры, дорожники. Отсутствовали просители, жалобщики. Все, кто раньше вращался вокруг властной оси, насаженной на подшипник райкома. Теперь эта ось отсутствовала, партию отстраняли от власти. Люди это чутко почувствовали, коридоры райкома опустели. Люди переставали нуждаться в партии, чурались ее, почти избегали.

Таким застал райком Фотиев. Бросился к секретарше, требуя Кострова. Но секретарша вежливо, удивляясь этому взъерошенному, нуждавшемуся в партии посетителю, объяснила: секретарь уехал в Троицу, к отцу, и вернется только под вечер.

Глава девятая

У старого деревенского дома, посреди двора, лежала перевернутая лодка. На ее струганых несмоленых тесинах сидели старик Костров и священник отец Афанасий. Кругом на мокрой земле валялись смоляные завитки, блестели оброненные гвозди, стояло ведерко с варом, воткнулся в полешки топор. Старик Костров был худ, беловолос, без шапки, в засаленной телогрейке, с усталыми, отдыхавшими на коленях руками. Отец Афанасий, в темной замызганной рясе, в бархатной истертой скуфейке, с нечесаной золотистой бородкой, играл белой щепочкой, вдыхал ее еловые ароматы. Тут же, на лодке, стоял медный церковный подсвечник, лежал старинный в тисненом переплете Псалтирь.

Черный учительский дом, нагретый весенним солнцем, был окружен струящимся воздухом, словно слабо колебался, готовился плыть. Озеро, подступившее к стенам, залило огород, толкало дом беззвучными ударами света. Казалось, вот-вот порвется последняя врытая в землю крепь и дом поплывет среди белых льдин и разливов.

Село, опустевшее, покинутое обитателями, темнело косыми кровлями, тянулось вдоль озерного берега. Водяная кромка, блестящая, полукруглая, как серп, приблизилась к домам, подрезала их, подсекала. Бесшумное лезвие скользило над селом. Над каждой избой струилось последнее испарение жизни, улетали прозрачные духи.

— Вот видите, святой отец, ковчег-то я свой недостроил. Вода подошла, а корабль мой не готов. Видно, утону. Лягу в доме и уйду под воду, — старик Костров гладил корявой ладонью недостроенную лодку, глядел на огород, к которому причалила длинная белая льдина: села на грядки и таяла, рассыпалась на стеклянные иглы, слабо звенела, подмываемая волной, — ковчег-то мой не поспел к потопу!

— Гордыня ваша, Гаврила Васильевич, — ответил отец Афанасий, наматывая на щепку золотой завиток бороды. — Вы не Ной, оттого и ковчег недостроили. Оставили бы гордыню, собрались со мной, да и пошли бы потихоньку в Броды. А нет, поручите, я сыну вашему Владимиру Гавриловичу передам, что ждете его. Он мигом на машине примчится. Пока дорогу не залило, перешеек остался. Гордыню вашу оставьте, помиритесь с сыном. А то Господь призовет, и с милыми нашими не успеем помириться. Они всю жизнь будут мучиться.

— И пусть, и пусть мучается! Пусть места себе не находит! Затем и остался, чтоб он мучался! Село родное под воду пустил, материнскую могилу под воду! Пускай и меня под воду! Пусть его проклянут в этих местах!

Он возбудился, заклокотал стариковским горлом, направил сухие гневные глаза за озеро, где туманилась станция и был его сын, правитель этих мест и земель. Ветер дул с той стороны, гнал льдины, тихие солнечные разводы, и казалось — станция дует на озеро, нагоняет на село волны воды и света, смывает село. Это сын своей неправой властью насылал на село потоп, и старик не прощал, был исполнен к сыну вражды.

Отец Афанасий явился в Троицу, чтобы осмотреть пустую, с вывезенной утварью церковь, обреченную на затопление. Медный трехсвечник и старый закапанный воском Псалтирь — вот и все, что он отыскал в разоренном храме.

— Отец и сын — великое таинство, — священник увещевал старика, щурил синие глазки на сахарную близкую льдину, — Вселенная зиждется на таинстве Отца и Сына. Земная история содержит таинство. В каждой человеческой жизни между отцом и сыном присутствует таинство Любви, принесения жертвы, великого искупления. Пусть ваш сын на время отпал, не внимает вам, поднялся на вас. Но блудный его разум непременно прозреет, смирится, и он явится к вам с покаянием. Смиритесь и вы, примите с любовью во имя таинства, во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

Старик сердито слушал, и все в нем поднималось против сына. Единственный и любимый, вскормленный, вспоенный среди этих деревянных домов, бегал тут босичком по травяной колее, срывал на грядках перо зеленого лука, хватал с куста красную кисть смороды, — он, сын, своей властью и именем возвел за озером источавшую гибель махину, перерыл, разорил окрестность, изгнал народ из села, насылает теперь потоп на родину, на отчий дом, на материнскую могилу. И отцовское отвержение, отцовское проклятие было на нем, на сыне.

— Наш мир, идущий в погибель, посягнул на таинство, — продолжал священник. — Разрушил и рассек все сокровенные связи. Распались атомы мира, и Космос, задуманный Богом как любовь, превратился в ненавидящий хаос. Все против всех! Все ненавидят! Отец против сына. Мать против дочери. Старик против юноши. Муж против жены. Власть против подданных. Верующий против неверующего. Природа ненавидит машину. Машина — человека, взрывается у него под руками. Человек ненавидит природу, умертвляет моря и реки. Все твари Господние поднялись друг на друга. Живое на неживое. Враждуют песчинки и враждуют планеты. И скоро начнется падение ненавидящих звезд. Только любовь и смирение, общее слезное покаяние, моление Господа, чтобы послал нам умягчение сердец, вернут в наши души любовь. Только это одно восстановит рассеченные связи мира, поможет избегнуть погибели. Простите сына своего, Гаврила Васильевич!

Льдина на огороде ослепительно сверкала. В ней, наполненной солнцем, исчезали, истекали ручьями зимние бураны и вьюги, ночные жгучие звезды, завитки ледяного ветра, следы пробегавших лисиц. Старик Костров смотрел на льдину, на последний знак последней в его жизни зимы, и думал, что дух его перед завершением жизни не обрел просветления и мудрости. В нем нет тишины и света. Вся долгая грозная жизнь клубилась в душе незавершенными страстями и мыслями, огромным непониманием и болью. Отторгнутый от его отцовского сердца сын и был этой болью.

— А кто без греха, кто без вины? Может быть, вы? Или я? Если заглянуть в свою память, сколько раз в нашей жизни резали мы по живому, рассекали святые связи, умножали хаос и ненависть! Кто-то ведь должен призвать к покаянию — церковный пастырь, или народный мудрец, или милосердный правитель. Всем все простить, все вины и проступки, всю кровь и убийства, всю друг на друга хулу. Разом, в единый час, не озираясь на прошлое. Чтоб все обнялись, расплакались, расцеловались друг с другом в уста. Красный комиссар и белый полковник. Чекист и ссыльный крестьянин. Охранник на лагерной вышке и барачный узник. Богач, живущий в особняке, и лимитчик в заводском общежитии. Калека-«афганец», посланный на избиение и смерть, и пославший его умирать владыка. Скажете, невозможно? Утопия? Не вмещается в природу человеческую? Если рознь и кровь, доставшаяся нам по наследству, не пресечется в огромном покаянном слове, то мы утонем в раскаленной смоле, в такой крови и пожаре, которых еще не бывало. Из которых нам уже не подняться никогда, во веки веков! Так пусть же каждый из нас на своем малом поприще произнесет слова покаяния!.. Простите сына, Гаврила Васильевич!

Льдина сияла, как ослепительное, коснувшееся земли крыло. На ней загорались зеленые, красные, золотые огни. Казалось, на черную старую ботву огорода опустился ангел небесный, принес на землю сияние небес, старик Костров смотрел на льдину, старался простить сына, но не было в его сердце прощения.

— Три вины витают над нами, — продолжал отец Афанасий, поддевая сапогом смоляные стружки. Запах сырой земли, прокладных тающих льдов, ветхих людских жилищ мешался с печальными ароматами смолы, — три великие вины, не прощенные, не отмоленные, которые тяготеют над нами. Вина русской интеллигенции перед Богом. Вина русской церкви перед Россией. И вина России перед прочим миром.

Старый учитель слушал его, пытался вникнуть в смысл его слов. Но голова, ставшая вдруг тяжелой, словно наполнилась горьким дымом, отказывалась понимать. Или впрямь они все виноваты перед кроткой осиротелой землей, перед блеклыми небесами, в которых кто-то легкий и белый оставляет прозрачный след.

Виноват он, проживший век, непрерывно ломавший и строивший, учивший других, а сам ничего не познавший. В монастыре рушил колокольню вместе с понаехавшими из города крепкими, в хрустящих кожах людьми. Под вой духового оркестра, под стоны старух глядел, как валится, осыпает кирпич и труху золоченый купол. Шлепнулся, раскололся, как солнце, и в пустую монастырскую церковь навезли на подводах картофель. Головы святых и угодников торчали из картофельных клубней. Из кровельной жести понаделали корыт и тазов. Колхозные телята хлюпали сыворотку из золоченых корыт. Виноват, ох как виноват!

— Первая вина из трех наших русских прегрешений — вина интеллигенции перед Богом. Интеллигенция наша мягко выпила из народа все соки и на этих отобранных у народа хлебах взрастила свое скороспелое знание. Смутную искру, мелькнувшую в сумрачном разъеме, приняла за свет небесный. Отпала от Бога, в гордыне и прелести начала строить рай земной, имея в руках наивные чертежи. Тщеславными словесами отвлекла народ от Бога и вместо рая построила ад, в котором сожгла и народ и себя самое. Интеллигенция наша и по сей день полагает себя мудрее Бога, и все ее земные проекты, все строительства и перестройки есть строительство ада, где сгорает Россия!..

«Была, была вина», — думал старик Костров, стараясь пробиться сквозь дым, наполнивший тяжелую голову. Он сам отправлял кулаков, снаряжал, торопил обоз. Санный поезд торил колею, пробивал по пороше первопуток. Сиял самовар на передних санях, блестело тусклое зеркало. Плакал грудной ребенок в пестром лоскутном кульке. Виновен, ох как виновен!

— Вторая вина и великий грех — грех духовенства перед Россией. Духовенство наше, будучи в древности хранительницей Духа Господня, ведущее за собой народ, князей и царей, научавшее людей учению веры и кротости, клир наш утратил этот горний свет. Добровольно отказался от небесного царства в угоду царству земному. Стали пастыри служителями земных владык. И пошла Россия не за пастырским посохом, не за свечой негасимой, а за скипетром царей. И когда гордецы подвели Россию на край преисподней, они не окликнули свой народ, не вышли к народу с хоругвями и мощами святых, а вместе с народом, со всей Россией рухнули в пропасть. По сей день князья церкви в услужении у земных владык, заискивают и раболепствуют перед ними. Мы вне Духа Господня, лежим во прахе, богооставленные, с великой виной!..

«Виноват, виноват», — думал старик, вцепившись корявыми пальцами в тесовое днище. На войне перед строем расстрелял дезертира. Босой, в галифе, с желтой бритой макушкой, стоял в бурьяне, и строй, подняв винтовки, целил в близкую грудь, в слезные круглые глаза, в небритый кадык. По взмаху командирской руки разрядили трехлинейки в худое жалкое тело. Разорванное многими пулями, оно упало в бурьян. Белела, краснела рубаха, желтела бритая голова. Как виноват перед ним!

— Третья вина России — перед всем прочим миром. Возгордилась величием, возмечтала быть миру примером, чтобы прочие народы и

царства восхитились богоносностью русской С востока излившимся светом. Будто из России грядет миру новое слово жизни. Эта гордыня и прелесть обернулись сатанинской насмешкой Посрамлением перед миром. Мир в благоденствии, мы же в прахе, заискиваем перед миром, вымаливаем от его щедрот!..

Льдина на огороде рассыпалась на тысячи тонких иголок, будто в каждой был заключен тончайший луч. Драгоценные цветные сверкания окружали двух сидящих на лодке людей.

— Все наши беды, весь позор, все страшное пролитие крови, все неустройства и поругания начались с убийства царя. Россия все платит цену за ту богопротивную ночь, когда государя сводили в подвал, и женщин, и милых девушек, и слабенького мальчика, и зверски в упор убили. Мертвых кромсали, сжигали, мололи их кости, кидали в кислоту, разбрасывали по всем концам света, чтобы спрятать злодейство. Но с дымом, дождем и ветром атомы их разлетелись, наполнили русский воздух, и из каждого атома вышло нам всем несчастье. Все Бутырки, Таганки, все застенки и казни, все войны и глады, все Чернобыли и Афганистаны — из атомов растерзанного царского тела. По сей день они незримо летают, наполняют наши дома, наши праздники и заседания, и в каждом атоме гнездится беда и несчастье. Непогребенные мученики витают над нами, их кровь на нас! Пока Россия не выйдет с покаянным молебном к месту их казни, не насыпет могильный холм, не воздвигнет Храм на Крови, до тех пор государева кровь будет на его государстве. Все, что ни затеем, превратится в скверну и смерть!.. Вы бы, Гаврила Васильевич, простили сына, — произнес священник, помолчав, — вам бы легче стало, ей-Богу, легче с земли уходить. Мы перед уходом должны прибраться, тогда и нас Господь приберет!

— Не мучьте меня, отец Афанасий, — сказал старик, — вы и сами с мукой живете, места себе не находите. Ни церкви у вас, ни прихода, ни прихожан. Маетесь, мыкаетесь, ни Бога, ни мира понять не можете. Лучше помолитесь за это село, которое под воду идет. Если есть такая молитва.

Священник кивнул. Поставил в медный подсвечник три свечи. Запалил. Открыл старинный Псалтирь. Полистав, придержал страницу с красной узорной буквицей. И, обернув лицо к озеру, к темным полузатопленным избам, к белой тающей льдине, стал читать нараспев:

— Душе моя, душе моя, востани, что спиши! Конец приближается!..

Бледно горели свечи. От недостроенной лодки пахло смолой. Ветер шевелил страницу Псалтиря, нагибал огонь свечей. Голос священника дрожал, возносился, и старик Костров старался понять ускользающий смысл молитвы: «Душе моя, душе моя!..»

— Прощайте, Гаврила Васильевич, — сказал отец Афанасий, кончив читать. — Пойду, а то дорогу зальет. Мне будет не выбраться...

— Прощайте, святой отец.

Они поклонились друг другу. Священник, не гася свечей, взял медный трехсвечник. Пошел сельской улицей, расплескивая мелкую воду. Старик смотрел, как удаляется его легкая в черной ряске фигура. Слушал, как доносится слабое пение.

Гаврила Васильевич сидел на лодке среди половодья. Озеро незримо, неотступно заливало село. С каждой тихой волной, с ударом солнечного светляка поглощало берег. В голове старика продолжали звучать слова неясной молитвы о душе, которой пора очнуться перед тем, как ее поглотят необъятные тихие воды.

Он увидел, как из дома по ступенькам крыльца соскользнула мышь. За ней другая, третья. Юрко пробежали по двору, оглядели его крохотными черными глазками. Скрылись у калитки, покидая подворье.

Следом, шурша, торопясь, из продушины в подполе выкатились ежи. Мягко шлепнулись на мокрую землю, вращая клиновидными кожаными мордочками, пробежали мимо лодки у самых ног Гаврилы Васильевича и исчезли у той же калитки.

Он всмотрелся в свой дом, в его осевший бревенчатый короб. Из-под крыши, из-под тесового карниза серыми струйками вылетали малые крылатые твари, полупрозрачные весенние мошки. Устремлялись прочь от дома, за калитку, через улицу, к близким, еще не залитым водой опушкам.

Казалось, из дома дуют невидимые плотные сквознячки. Выдувают живое — насекомых, мышей, ежей. Это были сквознячки близкой смерти. Обитатели дома, населявшие щели, пазы, чердак, подпол, покидали жилище, спасались, чувствуя скорую гибель дома.

Над кровлей, над сырыми нагретыми венцами струился прозрачный стекловидный воздух, улетучивался дух дома. Дух множества прожитых здесь человеческих лет. Старый учитель смотрел, как беззвучно улетучивается его родовое жилище, повторял: «Душе моя, душе моя...»

Он увидел, как из-под наличников, из-под косой доски вылетела бабочка, пестрая, темно-красная, с резными крыльцами. Покружила, описала над его головой вензель, полетела над кустами, над огородом, над двором, где валялись забытая утварь, чугунки, ошметки сбруи, обломок тележного колеса. Снова вернулась к нему, сидящему на опрокинутой лодке, едва не коснулась его усталых рук, взмыла и улетела к калитке. Он все искал ее красный огонек среди солнечного блеска, талых снегов и льдов.

«Душе моя...» — повторял он. И вдруг почувствовал себя худо. Словно бабочка была его излетевшей душой. Тело стало пустым, глаза зэтмило. Горький дым прожитой жизни клубился в его голове. И в дыму — больная, полная страха мысль: сейчас он умрет здесь, у лодки, один, в обезлюдевшем селе, и некому будет сказать последнее прощальное слово.

«Володя, сынок!» — слабо позвал он сына. Этот зов вернул его к жизни. Темнота в глазах прояснилась. Больной дым в голове осел. Ему вдруг страстно захотелось увидеть сына, здесь, на родном дворе. Прижать к его груди свою старую, безумную, непонимающую мир голову. Услышать сыновьи слова. Увидеть родное лицо.

«Володя, сынок!» — снова позвал старик, оглядывая двор. И пока вел глазами, видел сына, многократно возникавшего на крыльце, у кустов шиповника, в тусклом стекле окна, на мокрых раскисших грядках — то с лейкой, то с резной тросточкой, то с портфельчиком, то с лопаткой. Сын был любимый, желанный, был единственной родной душой, которая оставалась. Сына Володю перед тем, как умереть, — вот кого он хотел увидеть.

Услышал слабый шорох и плеск. Оглянулся — за его спиной у лодки стоял большой мохнатый пес, остромордый, ушастый. Его серая шерсть была в колючках и семенах бурьяна. На ней дрожали капли воды. У горла, как пушистый фартук, белело пятно.

— Дозор! — обрадовался Гаврила Васильевич. — Дозорка!

Это был соседский пес, отпущенный на свободу с цепи, когда соседи вместе с другими жителями укатили в город, вселились в высокий дом. А дворовые собаки, одичав, оголодав, сбились в стаю, неделю кружили вокруг покинутых изб, а потом исчезли. И вот теперь соседский пес появился. Прибежал проведать дом, конуру и его, старика, последнего обитателя Троицы.

— Дозорка! — Гаврила Васильевич коснулся рукой его твердого костяного лба, погрузил пальцы в желтый косматый загривок. Пес завилял хвостом, затоптался крепкими лапами, и его рыжие умные глаза вспыхнули благодарностью и любовью.

— Помираю я здесь один, Дозорка!.. Худо мне!.. Спасибо, хоть ты

навестил!.. Что ж Володька-то мой не едет? Обиделся? Обиделся на отца? Обидел я его, старый дурак, накричал!.. Что ж на меня, дурака, обижаться!

Пес смотрел на него, внимательно слушал. От зверя исходил запах горячего собачьего пота, озерной воды. Капли на его шерстинках разноцветно переливались. Гаврила Васильевич держал свою слабую руку на собачьем загривке, продолжал говорить:

— Ты бы сказал Володе, что я его поджидаю. Пусть едет немедля. А то опоздает!.. Зову его попрощаться. Пусть меня, старика, простит... Скажи ему, очень жду!.. Жду и люблю! Пусть приедет, последний раз на отца поглядит!

Собачьи глаза внимали ему, дергались рыжим огнем. Пес хмурился, словно старался запомнить. И на каждой капле, на каждой шерстинке горела малая радуга.

— Скажи, чтобы ехал. Мы бы вместе с ним посидели, обнявшись, поглядели на родное село... Надо нам вдвоем посидеть, напоследок простить друг друга... Ступай, позови его!

Пес встряхнулся, ссыпал с себя росинки солнца. Убежал не оглядываясь, словно понес стариковское послание.

Гаврила Васильевич опять почувствовал, как дымное облако вошло в его голову и свет померк. Он сидел, ослабев, на тесовой ладье, думая, что сейчас умрет. Но тьма опять отступила. Он с трудом поднялся, прошагал по еловым стружкам, держась за перильца, взошел на крыльцо. Погрузился в сумерки дома, прорезанные косыми лучами солнца.

Снова был в своем жилище. Снова качался в часах тусклый латунный маятник. Пестрели на полке корешки любимых книг. Голубела стопка ученических тетрадей, оставшихся от последнего давнишнего выпуска. Блестел под стеклом портрет молодой жены. Вела на чердак узкая лестница, по которой поднимались с сыном и смотрели сквозь самодельный телескоп в бархатно-черные небеса. В доме было холодно. Он не топил печь, и дом остывал. И он сам остывал вместе с домом.

Гаврила Васильевич подумал, что со следующим приступом слабости он ляжет на кровать и больше не встанет. Умирая, будет смотреть, как выступает из половиц вода, заливает ножки стола, буфет с чашками, как льдины будут биться в окна, всплывать сквозь расколотые стекла в дом, и он на кровати, окруженный льдинами, станет смотреть на портрет жены, на ее прекрасное молодое лицо.

Он достал свою сокровенную клеенчатую тетрадь, на которой было написано «Книга утрат». Сюда, в эту книгу, он кропотливо заносил всю историю разоренного края. Летопись разграбленных усадьб и порушенных церквей, исчезнувшие посады и села, имена убитых священников, дворян и крестьян, всех погибших на этапах и войнах.

Надел очки, закрепив за ушами перемотанные нитками дужки. Подержал над страницей дрожащее перо. Вывел последнюю запись:

«Прекращает свое земное бытие село Троица, шестьдесят четыре двора. Уходит под воду вместе с церковью, школой, амбарами, двумя кузнями, скотным двором. Село находилось на Егорьевском тракте в двадцати километрах от Старых Брод. Запись сделал последний житель села, бывший учитель, пенсионер Гаврила Костров».

Подумал и добавил: «Володя, сынок, тебе завещаю книгу».

Еще подумал и дописал: «Люблю тебя, Володенька, очень!»

Корабль, на котором он плыл столько лет, погружался под воду. Он сделал последнюю запись в капитанский журнал. Оставалось еще одно важное желанное дело. Он хотел подняться на гору, на кладбище, где лежала жена и куда ему предстояло улечься.

Взял из угла истертую суковатую палку, шатаясь, вышел из дома.

Часто останавливаясь, подолгу отдыхая, он поднялся на гору, черную, скользкую, пропитанную водой. Кладбищенские березы были наполнены соками, тянули из горы глубокие потаенные силы, пропускали их по белым стволам, возносили к розовым шатким вершинам. И там, в вышине, чернели, топорщились гнезда, орали и сшибались грачи, клевали твердые ветки. Внизу тихо серебрились железные изгороди могил, качались на крестах линялые ободранные ветром веночки, текли ручейки, пропадая в прошлогодней траве.

Гаврила Васильевич добрался до могилы жены, уселся на сырую скамеечку, где сидел в последний раз осенью, покропив могилу красной рябиной. Со скамейки сквозь железный в завитках и цветочках крест было видно озеро, его блеск и разлив, разломанные льдины, полузатопленные луговины, сельская улица с белой церковью и черными у самой воды домами. Все говорило о неотвратимости весны, половодья, грачиных гнездовий, медленного затопления села и среди этого — его собственной близкой смерти.

Ручеек пробегал под ногами и нырял в могилу, исчезал под землей, будто там, в глубине, принимая в себя надземные воды, текла сокровенная река. На берегах этой реки собирались все, кто покидал эту землю. Там, у реки, поджидала его жена терпеливо и кротко, давая дожить его земную юдоль, отболеть, отстрадать, примириться со всем и со всеми и спуститься к ней, к подземной прохладной реке, поселиться навеки у ее сокровенных вод.

Гаврила Васильевич сидел на скамейке, смотрел на ручей, думал, что скоро уйдет под эту траву и глину и там коснется своей рукой руки жены, белой, чу́дной, любимой. Но перед тем как уйти и исчезнуть, нужно проститься с сыном. Почему он не едет? Почему в этот близкий предсмертный час они не вместе, отлучены один от другого, не простили в ожесточении сердец?

Он заторопился с горы, упираясь палкой, боясь поскользнуться на тропке. Сошел к церкви, к ее белому ослепительному на солнце шатру. Дверь была на щеколде, но вместо замка торчала веточка. Он вытянул веточку, вошел в храм.

Церковь была пуста и просторна, без утвари, без икон и лампад, с пустыми глазницами иконостаса, за которым сиротливо и обнаженно светлел алтарь. Храм был обречен на затопление. Из города приезжал грузовик, и в него снесли все церковное небогатое имущество, оставив в храме обрывки рушников, венчики бумажных цветов, слабый запах елея и воска.

Гаврила Васильевич оглядывал храм, где редко бывал. Знакомая с детства роспись: старинная рать уходит на древнюю битву, последний воин в плаще и доспехах правит на битву коня, и ангел с голубыми крылами реет над грешной землей, заслоняет ее от напастей.

Он увидел бабочку. Она вылетела к нему от окна, красная, с узорными крыльцами, стала кружить по храму, пронося над его головой бесшумный бестелесный огонек. Он опять подумал, что это его душа, излетевшая, зовущая в иную бесконечность. И, собираясь за ней, смиряясь со всем, оставляя другим земные упования и горести, он молил об одном — чтобы увидеть сына.

Карабкаясь по лестнице, почти теряя сознание, уронив по пути палку, он влез на колокольню. Здесь было светло, сухо, пахло ветхим деревом, известкой, птичьим пометом. Висел малый колокол деревенского литья, похожий на пузырь, с какой-то неразборчивой надписью, мотался обрывок веревки.

Гаврила Васильевич взялся за вервь и, чувствуя, как обрывается и замирает сердце, стал звонить. Посылал с колокольни гулкие редкие звоны, призывая сына, надеясь, что медный парящий звук пролетит над пустой околицей, над залитыми луговинами, над всей весенней, уходящей под воду землей, достигнет сыновьего слуха и тот услышит, заторопится на последнюю встречу.

Секретарь райкома Костров сидел за рулем, гнал райкомовский «уазик» по мокрому тракту вдоль близко подступившего озера. Разлив медленно, плоско поглощал бурые луговины и выпасы, черную жирную пашню, прозрачные разноцветные заросли. Он ехал в Троицу, в родное село, по знакомой с детства дороге, и каждый поворот, бугорок, каждый прогал и опушка были ожидаемы и знакомы, возникали в тысячный раз. Были приближением к дому, были им самим, его проживаемой жизнью от младенчества до нынешних тревожных дней.

Он не взял с собою шофера, сам сел за руль, ибо в Троице ему предстояло последнее решительное объяснение с отцом, упрямым спесивым стариком, не желавшим покинуть обреченное на затопление село. Секретарь не хотел, чтобы шофер был свидетелем его объяснения с отцом.

Он готовил отцу резкие осуждающие слова. Готовился укорять его за то, что стариковская блажь делает его, Кострова, посмешищем в глазах района и города. Что все разумные люди, все односельчане давно оставили свои ветхие, опостылевшие им дворы, изрытые кротами кислые огороды, убогий деревенский скарб и вселились в новый дом-башню, в просторные квартиры, где газ, горячая вода, кафельные ванные. Город выделил им специально лучшую мебель, лучшую посуду, поместил ребятишек в детские сады, а взрослых устроил на городские денежные работы. И троицкие старушки уже освоили свежеструганные, поставленные перед домом скамеечки, с первым весенним солнышком устраивают свои посиделки. В городе дом получил название «Троицкий», остановку автобуса решили назвать «Троица». И все это сделал он, Костров, заботясь о своих сельчанах, которым выпала удача стать горожанами.

Только отец, старый чудак, самодур, не желал ехать в город. Корил сына, винил в погублении села и района, срамил в лицо и за глаза. Теперь Владимир Гаврилович Костров ехал к отцу для последнего объяснения, решив пригрозить упрямцу врачами и санитарами. Потому что и впрямь все это выглядело стариковским безумием, и надо было вывозить несчастного старика в город, к снохе и внукам, чтобы можно было ухаживать за ним и лечить.

Он ехал по длинным сверкающим лужам, узнавая обочины, очертания опушек и склонов, а в голове толпились и сталкивались тревожные, разорванные заботы и мысли. Клубились перед капотом машины, туманили лобовое стекло, неслись вместе с ним, как неотступное облако.

Район с трудом доживал тяжелую зиму. Снова, который уж год, бескормица. Падение надоев. Тощие, доедающие остатки соломы коровы ревут в зловонных дворах. Эпидемии на свинофермах, массовый неостановимый падеж, когда вывозили на тракторных тележках горы сдохших заледенелых поросят, обливали соляркой, и копотное черно-красное зарево горело в ночи за фермой. Весенний сев подступает, а техника не готова. На машинных дворах вморожены в сугробы полуразобранные тракторы и сеялки. Семян не хватает, а за зиму хозяйства опять недосчитаются драгоценных рабочих рук — кто окончательно одряхлел и состарился, кто сбежал на строительство станции, кто разбился насмерть на гололедах. Некому садиться в кабины пахать и сеять. Все окрестные оттаивающие деревни, сорные, грязные, заваленные железным хламом, похожи на пустыри с вялой, не желающей пробуждаться жизнью.

Станция, стройка — главная забота района, его центр, его мощь и богатство, сделавшая захолустный, забытый Богом край известным на всю страну, подключившая эти сирые бугорки и болотца к источникам громадных энергий. Станция своей гравитацией, тысячным скопищем жизней, миллионами притекавших на стройку рублей, бессчетными тоннами грузов — станция выпила, изнурила слабые, рассеянные по лесам деревеньки, возвысилась мощно и грозно среди льдов и сне-

гов, отодвинула прочь все мелкие, запущенные безнадежно проблемы. Стала главной проблемой. И он, секретарь, сложился в личность, стал фигурой в области, с которой считались министры, ученые и хозяйственники благодаря этой атомной станции. Она, двуглавая, окутанная дымом и паром, в ртутном ночном свечении, вскормила его и вспоила. Он был благодарен ей, лелеял ее, полагал все свои таланты и силы на ее возведение. Ради нее отметал прочь все мелкое, несущественное.

Стройка глотала материалы и грузы, чавкала в котлованах, возносила тяжелые уступы и своды. В своем угрюмом шевелении и росте внезапно вздрагивала, застывала, стискивалась в конвульсии. Словно где-то в огромном сердце индустрии застревал тромб, кровь, питавшая страну, переставала течь, и начиналось повсеместное омертвение тканей, громадное, среди трех океанов, умирание городов и заводов. Этот моментальный смертельный обморок достигал стройки, и она начинала остывать и мертветь, как часть гигантского бессильного тела. Но потом кто-то незримый воздействовал на застывшее сердце, протыкал тромб, бил в него электрошоком, и оно, измученное, начинало вяло колотиться и ухать, гнать кровь. Удары долетали до стройки надрывными толчками усилий, избыточными поставками материалов, судорожной денной и нощной работой.

Секретарь райкома среди планерок и штабов, заседаний бюро и собраний партактива чувствовал поминутно неясное, нараставшее кругом напряжение, угрюмо-тревожное и больное, проявлявшееся в бесчисленных мелочах, в словах и действиях, в мимолетных ощущениях и мыслях. Оно, невыразимое, витало в бригадах, в общежитиях, в рабочих бытовках, на автобусных остановках, в черных очередях, извилисто окружавших любую дверь с казенной вывеской. Пугало и мучило.

Отпущенные на свободу уголовники, за которых заступались по телевизору либерально настроенные юристы, наводнили город, и участились преступления. Среди драк, поножовщины Броды ужаснулись свирепому убийству старика — путевого обходчика. Его распяли на железнодорожном вагоне, вбив костыли от шпал в старческие стопы и ладони, а потом, как в мишень, метали ножи и камни, забив старика до смерти. Толкнули вагон, и он медленно, одиноко катился по рельсам, приближаясь к утреннему, наполненному пассажирами перрону.

Пропадали в магазинах товары, те, что прежде еще лежали на полках. Пряники, конфеты, печенье исчезли бесследно. Куры, рыбные консервы, картошка — и их не стало. Исчезло мыло, паста, стиральный порошок, сода. В аптеках пропало лекарство. На почте — конверты, марки. Исчезла обувь, платья, ткани. Радиоприемники, кипятильники, электророзетки. Казалось, в разных концах страны закрывались и умирали заводы, исчезала сама территория. На карте, похожей на содранную красную шкуру, возникали черные дыры, выбывали из пользования воды и земли. И это истребление государства, разрушение его обилия и силы, выражалось в исчезновении товаров.

Бог весть откуда появились в Бродах цыгане, бородатые, чернолицые, с золотыми зубами, ярко желтевшими среди смоляных косматых грив. Их женщины в пестрых одеждах шныряли по городу, гадали, выманивали, морочили, что-то вынюхивали и скупали. А мужчины торговали водкой, вытаскивали из-под лохмотьев, кож и овчин булькающие бутылки, продавали за двойную цену у автобусной станции. Всегда, в любой час ночи можно было отыскать закутанного в шубу с угольными глазами цыгана, отпускавшего зелье. И как ни гоняла их милиция, как ни вылавливала их подпольный товар, цыгане колесили по городу, пестрели в руках у гадалок валеты и дамы.

Появились юркие низкорослые курчавые кавказцы — организовали шашлычные кооперативы. Прямо на снегу ставили жаровни с углями, железные сварные мангалы и столики. Извлекали из чемоданов баночки с уксусом, тарелки с нарезанным луком. И горячие шипящие шашлыки, баснословно дорогие, раскупались стосковавшимися по мясу обитателями, забывшими в своем атомном городе вкус говядины и баранины. Отходили от мангалов сытые и злые, выковыривали из крепких зубов мясные волокна, браня и ненавидя кооператоров, набивавших свои чемоданы мокрыми от уксуса червонцами.

Расплодились производственные конфликты и ссоры, схватывались рабочие с мастерами, бригады с прорабами, участки с руководителями управлений и трестов. Ссорились монтажники с наладчиками, хозяйственники с плановиками, приезжие со старожилами. И все мелкие стычки и ссоры копились в общее назревавшее недовольство, в угрюмое ожидание.

По городу, по старой слободе, по новым микрорайонам ползли слухи. Говорили о массовом отравлении детей в яслях. Об утечке радиации, которая была скрыта начальством. О диверсанте, пойманном ночью на посту охранения. О возможной аварии на станции. О завезенной на станцию партии противогазов. О новом режиме эвакуации населения. О подавленной попытке бунта в исправительно-трудовой колонии. О солдате-дезертире, захватившем автомат, рыскающем по окрестным дорогам. И старушки у дома-башни, переселенные из Троицы, пророчествовали о конце света, сморщив в сухие трубочки свои бесцветные губы, говорили о последних временах, о каком-то Мече-ном, о последнем, посланном на погубление мира царе, готовом взойти на русский разоренный престол.

И он, секретарь, натягивая из последних усилий рвущиеся вожжи управления, созывая на свои активы и пленумы хозяйственников и инженеров, вдруг чувствовал, что вожжи ослабевают и он тянет на себя пустоту, воздух, ничто, а действительность, которой он призван руководить и править, освобожденная, без вожжей, удаляется от него в неизвестную угрюмую даль.

Дело, ради которого он оставил учительство, покинул родное село, расстался с привычным укладом, казалось теперь бессмысленным. И не только бессмысленным, но и губительным, вредным. Своей ложной верой, своей упорной вопреки обстоятельствам деятельностью он затолкал район в нищету, разорил деревни и села, возвел посреди родимых лесов и нив чудовищную, готовую взорваться громаду, вскармливает ее и взращивает, в угоду ей губит луга и рощи, и теперь, все ей же в угоду, отправляет под воду родное село, свой дом, свою школу, свое детство и юность, — все родное гнездовье, где последним стражем, последним летописцем несчастья остается отец. Его клеенчатая «Книга утрат», куда он своей дрожащей рукой запишет проклятье сыну. Сын — губитель родного села, и ему во веки веков будет записано в книгу проклятье.

Он гнал машину, и обочина то удалялась от озера плоской незалитой луговиной, на которой летом паслось красно-белое стадо, то приближалась к озеру, чей слепящий блеск накрывал овражки, где прежде были земляничные склоны, где он набирал бидон ароматных сладостных ягод, приносил домой специально для матери длинную с зеленой кисточкой травину, на которую были нанизаны самые крупные, черно-красные ягоды.

Уйти, бросить райком, бросить партию, бросить эту жуткую стройку, этих взвинченных неспокойных рабочих, собранных для непомерной работы, таящей угрозу и взрыв. Бежать прочь от этих погубленных мест в какой-нибудь последний живой уголок, в какую-нибудь последнюю скудеющую сельскую школу, и там, избывая свой грех, спасаясь видом чистых, невинных глаз, учить незабытому, дивному: «У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том...»

— У Лукоморья дуб зеленый, — повторял он, крутя баранку, — златая цепь на дубе том...

Он гнал машину, торопясь к отцу, еще не зная, что ему скажет и что услышит в ответ, но веруя, что в этом свидании вернется к нему понимание мира, снизойдет на него отцовский свет и прощение.

«Папа, прости!» — повторял он беззвучно.

Он достиг низины, где вода переливала через дорогу, плескалась, сияла по другую сторону. Машина сбавила скорость, шла на ощупь по невидимому, превращенному в озерное дно тракту. Раздувались изпод колес ослепительные водяные усы. Кострову казалось, он плывет на катере. Вглядывался, угадывал путь, хватал колесами колею, боясь соскользнуть, ухнуть вглубь.

Он увидел впереди разлива темную человеческую фигуру. Человек шел по затопленной дороге, приближался, и Костров всматривался, правил на него, начиная различать белесую бородку, черную островерхую шапочку, долгополое, плывущее по воде одеяние. Навстречу ему, оставляя в воде серебристый расходящийся след, шел священник. В одной руке он держал книгу, в другой трехрогий подсвечник, в котором бледно теплились три живых горящих огарка. Рот у священника был открыт, он что-то пел, вынимал из воды сапоги и снова опускал их в солнечные круги.

Костров, не останавливаясь, проехал мимо, и священник, тоже не останавливаясь, оборотился к нему, осенил книгой и горящими свечами. В зеркальце Костров видел, как удаляется по воде поющий человек, держа над разливом подсвечник и книгу. И следом за ним пролетел, кувыркаясь, белобокий чибис.

Он выехал на взгорье, в последний перед селом лесок. Проезжая в весенних прозрачных березах, в синеватых пронизанных светом елках, услышал звон колокола. Колокол ухал, замирал, вновь начинал звучать. Звонила сельская колокольня, единственный оставшийся в селе человек. Звонил отец, и это был зов, обращенный к нему, сыну. И он устремился на этот звон, на его призывное гулкое стенание.

Звон прекратился, а он что есть мочи гнал машину, проносясь сквозь последние кусты, вырываясь на гору, откуда открылась Троица, ряды скособоченных черных изб, белый четверик церкви с луковицами и шатром колокольни.

Бросил машину у церковной ограды. Вбежал в храм, в пустой, с линялыми росписями, наполненный сухой золотистой пылью. По лестнице, задевая о кирпичные стены, кинулся наверх. На верхней площадке среди голубиного помета под растресканной балкой, на которой висел старинный зеленый колокол, увидел отца. Гаврила Васильевич лежал лицом вверх, бездыханный, и руки его, еще теплые, большие, костистые, были разбросаны в стороны — крестом.

— Папа! — кинулся к нему Костров, хватая эти руки, растирая их, пытаясь вернуть им жизнь. — Папа!

Он обнимал отца, отрывал от досок тяжелую голову, целовал седой хохолок. Понимал, что отец мертв и уже никогда не воскреснет, и он опоздал на последнюю встречу, и уже не узнает, о чем были последние отцовские мысли.

Кругом были воды, весна, тонуло, уходило на дно родное село...

Глава десятая

Накипелов в своем маленьком кабинетике, выходившем окнами на стройплощадку, принимал Фотиева, рассказывал о недавней встрече с Горностаевым:

— Я ему говорю: «Вы, Лев Дмитриевич, русский человек, поймите — нашему человеку воздуха не хватает! Дайте нам надышаться, и мы чудо сделаем! Но сперва снимите с русского человека удавку!» — Схватил себя за горло могучей дланью, дернул, срывая невидимую петлю. — «Вектор» закрыли! Да это они там, у себя, закрыли, в своей говорильне! А у меня не закроешь! Тут я хозяин! Здесь «Вектор» был, остается и будет!

Сквозь тусклое стекло кабинета виднелось пространство стройки, подвластное Накипелову, дымное, солнечное, в проблесках огня и железа, с трассами синей гари. В этой живой жирной плазме возникали контуры горбатых машин, вспыхивало параболическое зеркало ножа, мелькали гусеницы и стрелы кранов. Среди путаницы проводов и пневматических шлангов в хрипах и скрежетах, едва заметные в кабинах машин, возникали лица. Фотиев в этих неясных, заслоненных дымом лицах старался угадать живое, творящее присутствие «Вектора».

— Я ему говорю — рабочий класс вкусил волю. Ему теперь не соврешь и кулак ему не покажешь! Ты ему либо работу дай во всю вселенную и за эту работу жизнь устрой человечью, а не собачью, либо он всю эту собачью жизнь вверх дном перекинет и бульдозером по ней проедет! У меня монтажники почувствовали себя человеками, ломят, не остановишь! «Уж мы пойдем ломить стеною!.. Уж постоим мы головою!..» — Накипелов захохотал, обнял Фотиева своей тяжелой ручищей. И тот, радуясь этому дружескому грубому прикосновению, убеждался: «Вектор» не убит, действует в могучем порыве механизмов, людей, стремлений, вонзившихся под разными углами в стройку.

— Спасибо вам, Анатолий Никанорович! — благодарил он Накипелова. — Они нас не убьют никогда!

Дверь заслонилась желтой чадной стеной. Большой колесный кран с рокотом подкатил, вытянул стрелу, остановил у порога черное с ребристым протектором колесо. Вошел крановщик в сапогах, в робе, в спортивной вязаной шапочке.

— Я, Анатолий Никанорович, на минуту! Идея есть. Все хочу рассказать, да не случается. Ребята с идеей ходят!

— Давай, Ладошкин, идею! Ты — идейный мужик.

Крановщик уселся, стянул с головы белый вязаный колпачок, провел пятерней по серым седоватым волосам, поставил их дыбом. Стал говорить, двигая колючим, похожим на общипанного птенца кадыком:

— Я что думаю, Никанорыч. Мы второй блок к концу весны пустим, и наш трест не на последнем месте будет, а глядишь, и на первом. И устроить бы нам праздник, как вы говорите, во всю вселенную! Вон Вагановы братаны выкопанный самолет починяют, — поставить его в городе на столб, как памятник, чтобы фронтовикам было где собираться, женихам с невестами фотографироваться. Пустим блок, откроем гуляние, пиво на углы выкатим, салют устроим, на озеро лодки пустим с оркестром. Ребята уже планы делают, где цветы, где киоски с пивом, где музыка с танцами. И есть у меня главная идея, Никанорыч, — воздушный шар надуть! Чтоб взлететь на шаре над городом! Выкройка есть, как капрон резать, чтобы шар вышел. Надую и полечу! Пусть ребятишки меня на шаре запомнят, а не то, как батька их пьяный валялся. Пусть Кланька моя меня на шаре увидит, а не в грязной луже. Никанорыч, давай такую идею застолбим! Ребята поддержат. Устроим праздник на земле и на небе!

— Идея твоя, Ладошкин, замечательная! — Накипелов обнял его. — Идею твою обсудим, выкройку посмотрим. Шар запустим во всю вселенную!

Он хохотал, обнимал крановщика, оглядывался на Фотиева, приглашая радоваться затее. Фотиев радовался, видел в весеннем небе разукрашенный шар и в люльке — Ладошкина.

Крановщик напялил на растрепанные волосы вязаный колпачок и вышел, счастливый.

— Все это ваш «Вектор», Николай Савельевич! — говорил Накипелов Фотиеву. — Ладошкин у меня первый алкаш был, по канавам валялся. Жена ему смерти желала, с ребятишками от него сбегала. А сейчас вон выкройку шара сделал. Люди не хотят погибать, не хотят смерть оплакивать. Люди хотят летать, хотят праздновать праздник!

Он нащупывал свою любимую мысль, но в кабинет вошли братья Вагановы, Михаил и Сергей, и Накипелов не успел досказать.

— Николай Савельевич, мы видели, вы сюда зашли. Решили заглянуть, — Михаил вытирал о робу руки в алюминиевой пудре, того же

цвета, что и самолет на ремонтной площадке.— Сегодня вечером заглянули бы к нам. Сыну месяц исполнился. Юбилей! И вы, если время найдете, Анатолий Никанорович... Тихонина позову... Антонина Ивановна пусть приходит... И Катюху свою позови! — обернулся Михаил к брату.

Братья вышли, Фотиев следом за ними. Собирался снова в райком, узнать, не вернулся ли из Троицы Костров.

Видел: солнечный синий дым, туманная, окруженная медными нимбами станция, желтый башенный кран отъезжает, и Ладошкин в белом колпачке свесился из кабины, что-то кричит Вагаповым, какую-то насмешку и колкость, Михаил отвечает ему, рисует в воздухе круг, быть может, воздушный шар, на котором вознесется Ладошкин. Все они двигались в клубящемся синем воздухе, в одну сторону, начертанную «Вектором»...

Крановщик Ладошкин не расслышал из-за гула двигателя крутую шутку Вагапова и на всякий случай погрозил ему кулаком. Поднял стекло кабины, чтобы не залетел внутрь жирный синий дым. Пустил вперед кран, огибая на толстых колесах груды мусора, жидкие лужи гудрона, кучи мокрого грунта. Осторожно повел машину мимо работающих монтажников, сварщиков, бетонщиков, направляясь под стены станции, где в траншею загружали черные, обмотанные изоляцией хлысты, и была нужда в его кране.

Он должен был свернуть с бетонных плит, на которых лежали новые выгруженные второпях заглушки, мешавшие его продвижению. Съехал в густую жижу, обрызгав двух женщин, растапливающих костер под баком с гудроном, беззлобно огрызнулся сквозь стекло на их вопли. Стал разворачивать кран, пронося стрелу над автогенщиками, над бледно-голубым огнем, шипящим в розовом надрезе трубы. Провода, питавшие сварку, были воздеты на временные, врытые в землю столбы. Одна из опор раскисла в талой земле, покосилась, провода провисли.

Стрела крана, описывая кривую, коснулась проводов, натянула их. На стреле зажглась косматая звезда, закипали жидкие капли. Страшный удар электричества промчался по металлическим сочленениям в кабину, вонзился в кулаки Ладошкина, пронзил до пят. Насаженный на невидимое острие, крановщик стал биться, подскакивать, ударялся о крышу кабины. Его жгло, выдирало из него сосуды и жилы, выдавливало глаза, спекало кровь. Он хрипел, брызгал слюной и рвотой, старался соскользнуть с отточенного трезубца. Но станция нависла над ним своими башнями, продолжала сжигать уран, кипятила воду, крутила генератор, била в мозг крановщику, раздирала его сердце, проталкивала сквозь него шаровую молнию, огромный кровавый тромб боли и смерти. Он умирал, колотился о железные стены кабины, заключив в хрипящей гортани ртутную вольтовую дугу.

Михаил Вагапов, довольный своей сочной шуткой, обогнал на два шага брата, смотрел вслед уезжавшему крану. Он видел покосившийся столб, нависшие провода, груду заглушек, мешавших крану. Видел сварщиков, мерцающие зеркальца электродов. Этот дрожащий, бело-голубой дымный блеск что-то напомнил ему, мимолетное и тоскливо-пугающее, и он, еще веселясь своей смачной шутке, старался понять, что напоминают ему пульсирующие огоньки электродов. Видел — кран обогнул заглушки, съехал с бетона, разворачивал желтую поднятую стрелу. Захватил ею провод, натянул, на стреле загорелось слепящее зеркало света, и маленькие голубоватые светляки сварки разом погасли. Горела, шипела одна большая звезда, и в кабине, растопырив руки, метался крановщик, и сверху со стрелы капали жидкие красные капли.

Вагапов все это видел и в ужасе, прозревая, вспомнил не памятью, а всей страшащейся плотью: он, беззащитный, худой, прижался к сухому откосу, на котором электрической сваркой мерцают и бьют пулеметы. Стальные сердечники вырывают из горы длинные пыльные ветви, и колонна «КамАЗов» начинает гореть с головы, из пробитой цистерны капают красные капли, и водитель в кабине хватает руками стекло, погибает под огнем пулеметов. Ужасаясь, не веря в спасение, повинуясь не разуму, а иной, неразумной силе, он, Вагапов, отрывается от откоса, кидается к горящей машине, отдирает дверцу, принимает на руки худое потное тело водителя.

Вагапов все это пережил моментально, кидаясь к крану, видя колотящееся тело Ладошкина. Схватился за ручку кабины, успел повернуть, получил сокрушительный страшный удар в глаза, словно острый сердечник настиг его снова, долетев из ущелья, и он опрокинулся, унося в пустоту пыльные кромки гор, бледную синь над хребтом, крохотное перо вертолета.

Электрический провод, задетый краном, вздулся дугой замыкания, расплавился и распался. Обрывки полетели на землю, дверца кабины раскрылась, из нее выпал, повис головой убитый Ладошкин. По его лицу, по лбу, уходя в переносицу, меж выпученных с кровавыми сосудами глаз синела темная жила — остановившийся, застрявший в нем удар тока. Вагапов, отброшенный, лежал лицом вверх у ребристого резинового колеса.

Фотиев, выйдя из вагончика, услышал чей-то тонкий визгливый голос:

— Убили!.. Ладошку убили!..

Фотиев кинулся к крану, слыша, как хлопнула сзади дверь, и начинает бежать Накипелов, и со всех сторон, где варили и резали сталь, лили бетон, вели грузовики и бульдозеры, со всех сторон начинают бежать люди, грохают сапоги, расплескивают лужи. И голос продолжал заливаться:

— Убили!.. Ладошку убили!..

Подбежали к крану, окружили, боялись приблизиться. Косились на опавшие провода.

— Под током! Не тронь!

— Фазу, фазу сыми!

— Да сдерни его с железа!

— В землю их надо обоих! Землей забросать! Обесточить!

Боязливо, касаясь, отдергиваясь, вытянули из кабины Ладошкина. Уложили на землю. Расстегнули телогрейку и робу, и там, под клетчатой рубашкой, вынырнула из костлявой груди все та же черно-синяя жила, ветвилась, расходилась по ребрам — след, отпечаток прикоснувшейся к телу молнии. Глаза Ладошкина, выпученные, вылупленные, были полны крови и слез.

— Готов! Не отдышится! Разорвало сердце!

— Второго землей присыпать!

Появилась лопата, стали рыть липкий грунт, кидать на Вагапова. Фотиев видел мертвого, с разорванным сердцем Ладошкина и бледного бездыханного Михаила. Крикнул Сергею:

— Сердце!.. Массируй!.. Дыхание ему!..

Расталкивая народ, Фотиев приник к Михаилу, поддел ладонь под его затылок, прижался губами ко рту, стал вдыхать, вдувать в белые уста воздух, вытягивать, вбирать обратно. Вдыхал в Михаила свою страшащуюся, умоляющую, жаркую жизнь, вбирал в себя его смерть, освобождая ему грудь от сгустка мертвого воздуха. Сергей распахнул брату рубаху, массировал сердце, давил, отпускал, приговаривая:

— Миша, Миша, ты что!

Фотиев почувствовал, как жесткие, окаменелые губы Михаила распустились, шевельнулись: он перехватил чужое дыхание и сделал свой собственный вздох. Смерть, застрявшая в нем, стянувшая мускулы в тугие узлы, отлетела. Он обмяк, шевельнулся, задрожал животом.

— Миша, Миша, ты что! — повторял брат, растирая грудь вокруг соска, пока в бледную кожу не прихлынул слабый румянец. Фотиев

чувствовал на губах вкус крови, его и своей, видел, как дрожат у Михаила веки.

— Да кончай ты грязь на него кидать, — слабо сказал он человеку с лопатой.

Подходили, подкатывали люди, подъезжали грузовики, бульдозеры. Накипелов, большой, несчастный, стоял посреди своего умолкнувшего участка над убитым крановщиком, бессмысленно повторял:

— Чего ж ты с бетона свернул?.. Дороги тебе не хватало?..

Распихивая людей локтями, протиснулся Лазарев. Наклонился к мертвому Ладошкину, приблизил выпуклые испуганные глаза к постанывающему Вагапову. Наткнулся на Фотиева. Понял, сообразил, взял в толк случившееся несчастье. Его одутловатое лицо передернулось мукой, и он, тоскуя, гневаясь, набросился на Накипелова:

— Говорил!.. Запрещал!.. Техника безопасности!.. Преступление! Людей под ток подставляете!.. Запрет на все работы!.. В прокуратуру!.. Кустари!.. Дилетанты!.. «Века торжество»!.. Перед судом ответите!..

Накипелов молчал, беспомощный и несчастный.

Весть о случившемся облетела стройку, сметала людей. С соседнего участка прибежала жена Ладошкина, штукатурщица, в толстой дыбом стоящей робе, забрызганная известкой. Увидала мертвого мужа, его выпученные кровавые глаза, ветвистый, пропоровший тело рубец. Заголосила, боясь прикоснуться к мужу, трогая вокруг него воздух, сгребая, прижимая этот воздух к груди.

— Сеня, Сенечка, убили тебя ни за что, изверги, злодеи треклятые!.. Говорила тебе, Сенечка, поедем прочь от этих мест!.. За что они, Сенечка, так больно убили!.. Что же деточки наши будут без тебя делать?.. И за что на нас такая беда!..

Она выла, сгребала к себе ворохи синего воздуха. Толпа обступила убитого. На худой костистой груди Ладошкина чернел ветвистый рубец. Станция тупо, громадно нависла бетонными глыбами. В недрах ее все так же сгорал уран, в трубах бурлил кипяток, раскаленный пар разгонял турбину, и в медные жилы волна за волной вливалось, текло электричество.

Продолжение следует

НИНА КАРТАШЕВА

ГОВОРЮ О ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ

* * *

Опять в щеглах орешник
придорожный,
В шмелях пушистых вербные пруты.
Не восхищаться стало невозможно
Весенним воскресеньем красоты.

У перелетных птиц в усталых
перьях
Еще есть пыль и память
дальних стран.
И в небе, в облаках
жемчужно-серых
Таится влажно дальний океан.

Мне хочется уехать в русский город,
В прекрасный Суздаль или
древний Псков...
И чтобы спутник был уже немолод,
Учен, учтив, все понимал без слов.

Молчать и знать, что рядом
тем же взглядом
Любуются остатком старины,
Взыскуют, взысканные русским
градом,
России, Воскресения, Весны.

* * *

Где сумеречный град Апостола Петра,
Где сфинксы сторожат, когда придет пора
Расшифровать весь ужас пентаграмм
И смыть в воде Невы с народа стыд и срам, —
Там я надгробием над маминой могилой
К Кресту прильнула памятью унылой.
Кладбищенский жасмин благоухал,
Взволнованный сиротскими слезами, —
Сказать не мог, лишь цвел он и вздыхал...
Но я смогла сказать покойной маме,
Что я пришла, я помню, я люблю,
Хоть ужас пентаграмм, как древний сфинкс, терплю,
Покуда Свет Креста и смерть саму сотрет,
Зерно, упадши в землю, — не умрет.

* * *

Время последнее тем лишь хорошее:
Слово мое вопиет запрещенное!
В мире жестоком, безбожном
возросшая,
В тайне ученая, в страхе крещенная,
Я, на конец мировой сбереженная,
Всех собираю вас, дети, в обители,
Чтобы услышали вы, оглушенные,
Чтоб, ослепленные, Бога увидели,
Чтобы Суд Страшный, на милость
преложенный,
Вызволил землю от силы
зловластия —
Встала униженной я, уничтоженной
И говорю о Любви и Согласии.

* * *

Во прекрасном граде во Владимире
Прохожу Золотыми воротами,
Все князья, все бояре повымерли,
Все крестьяне стали санкюлотами...

Золотыми воротами — на закат,
Золотыми воротами — на восход.
Под крестом мой возлюбленный старший брат,
А меньшой, без креста,— от ворот поворот.

В три погибели Русь моя мается.
Трижды миру была избавительница,
Вновь в кровавых слезах умывается,
Из огня да в полымя, искупительница.

Свят Георгий с копьем, свят Димитрий с мечом,
Свят Андрей Боголюбский с распятьем —
И к кому, как не к ним, ко плечу встать плечом
Со святым крестом моим братьям?

Вслух читаю на свитках последний наказ:
Убоятся креста супостаты,
На четвертый раз, на победный час
Устоявшие в вере — святы!

* * *

Прошел Афганистан — и знаешь смертный бой.
Наш Сашка, Александр, ты с детства был такой.
Вся жизнь — сраженье, риск. Всё или ничего!
Дед воспитал тебя — ты весь, как есть, в него.
В честь Александра Невского крещен,
Ему и освящен и посвящен.

На берегах Невы твой малый русый сын,
Похож, но не такой... Он — ангельский твой чин.
Дитя молитвы знает, не учась,
Само берет себе благую часть.
В честь Невского крещен, во схиме Алексия.
Алеша, воскрешенная Россия.

Киев

Не чту и не читаю имя на обломках.
Не помяну, не помню зла. Господь простил.
Великороссом ставшего в потомках,
Здесь предка моего Владимир-князь крестил.

Как предка твоего, украинец упрямый,
Как предка твоего, прельщенный белорус.
Наш корень Крест — один. Одна дорога — прямо.
Дошла до Киева. Праматери молюсь.

Всем горько, братья, при великой смуте!
Чем вас, родных, в обидах помирю?
Дошла до Киева — хочу дойти до сути.
Как мне сказал Господь — так я вам говорю:

Хазар и Святополков окаянных
Месть Богу тайная и власть последних дней!
Раскол, распад, разлад... И соль земли на ранах.
Кровь не смывается замученных детей.

Да ведь и я по бабке псковитянка,
А родилась в тайге, где мощь мощей могил
Той муки христианской и славянской,
Которой Бог нас с вами наградил.

Дошла до Киева! И древний путь мне краток
И хлопчик тянется ко мне, как сын.
Нельзя нам, братья, погубить остаток.
Не так уж много нас. Наш корень Крест — один.

Российской церкви

Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам...
Откровение Иоанна Богослова. 3, 7.

Всенощной службой
звездный хор гремел,
В одеждах снежных вся земля
сияла!
В ладонях Ангел душу мне согрел,
Чтоб записать могла, чему внимала:

«Российской церкви.
Знаю скорбь твою,
Не отреклась и сохранила слово —
И дверь перед тобой не затворю,
Храни венцы от помысла худого.

Не бойся ныне все сказать врагу,
К тебе придут во время искушенья.
Тебя во славу Бога сберегу —
Ты совершила подвиг искупленья.

На место,
где взорвали светлый храм,
Грядет с небес
Храм Нерукотворенный.
Ты столп, и утвержденье веры там.
Пребудь покорной,
но не покоренной».

* * *

Плат не узорный—плат мой черный,
Но до бровей и по плечам.
Мой путь тернистый, а не торный,
И свет один моим очам.

Что я могла одна — на сильных,
На эту стену лжи и зла?
Я — за Россию, я — Россия...
Но я одна. Что я могла?

Я равнодушных не дождалась,
Обманутых не дозвалась,
Одним внушала страх и жалость,
А до других не добралась.

Я даже в церкви под присмотром.
Мне даже труд по ярлыку.
И даже стон быть должен бодрым,
И даже сон был начеку!

И вот тогда в борьбе бескровной
За тех, кто был меня слабей,—
Господь мне меч вручил духовный
И плат мой черный до бровей.

* * *

Новомученики —
от Царя до крестьянина —
Перед Богом теперь говорят,
как изранена,
Как по-подлому в ложь заманена,
Тьмой окутана,
Волей спутана
Наша Родина:
Дети дьявола потешаются,
Языки и народы мешаются,
По усобицам злобятся, делятся,
Убивают того, кто осмелится,
Не убив,
не назвав за вредительство,
И в тени мировое правительство.
Села, пахарями оставленные,
Города, от прогресса отравленные,
И на опыты дети отправленные...—

Не могу! Слов не слышу от боли!
Чаша гнева испита. Доколе?

+++

СВЕТЛАНА СЫРНЕВА

ОТВОРИЛАСЬ ДОРОГА

* * *

В тихом омуте я живу,
в тихом омуте — тишина.
Человек раздвинет траву,
глянет в омут — не видно дна.
Молча сядет на бережок
в запылившихся сапогах
и не моет в воде сапог,
суеверный чувствуя страх.

Он родился и вырос здесь,
и лесной у него закон:
во чужую душу не лезь
и свою храни испокон.
Оттого между мной и им,
словно с неба упавший щит,
лист осиновый, недвижим,
всякий раз на воде лежит.

* * *

В полночь, когда разольется река
и половодье подступит к избе,
ты не накинешь дверного крюка,
зная: никто не приедет к тебе.

Плен не пугает. Свобода страшна
бедной душе, и кого тут винить
в том, что ей тайная ноша дана,
чтобы упрятать и долго хранить.

Так вот с годами ни рук и ни ног
стало не надо: отсохли они.
Короб чуланный, забытый клубок—
будь кем угодно, но тайну храни!
Это, сказали тебе, до времен.

Но безвозвратное время прошло.
Шепот ли, плач ли бесплотен,
как сон:
«Девки гуляют — и мне весело́».

+++

* * *

После ливня выдался закат.
Были травы в дождевой пыли.
Тучи, отодвинувшись назад,
дальше горизонта не ушли.
И грядущей с севера ночи
что-то необычное суля,
из-за туч гигантские лучи
веером спускались на поля.

Что, душа, ты замерла с тоской,
словно кто врасплох тебя застиг,
словно мир неразгласимый твой
всей природой явлен в этот миг?
И сама еще не знаешь ты,
в деревнях окрестных для чего
людям видеть суждено его
перед наступленьем темноты.

* * *

Ночью, бывает, проснешься, подымешься с нар,
с койки ль больничной,— и смотришь зачем-то в окно.
Много ль осветит убогий дворовый фонарь?
Дерево, угол соседнего дома — а дальше темно.
От веку он милосерден, казенный ночлег,
ставя фонарь под окном наподобье слуги.
Есть утешенье, покуда не спит человек:
дерево, угол соседнего дома — а дальше ни зги.
Ведь человеку на что-нибудь нужно смотреть:
дерево, угол... а там — помогай ему Бог —
сквозь вековечную темень, не глядя, узреть
белое поле, овраг и заснеженный бор.
Оцепенелая пустошь! Ты цельным, единым пластом
наглухо спишь, и тебя добудиться нельзя;
или же движешься с бурей в пространстве пустом,
третьего нет: либо спишь, либо движешься вся.
Двинулась вся. И проносится белой стеной,
ищет, где б снова забыться в покое своем,
и по дороге фонарь задувает ночной
и застилает сугробом оконный проем.

* * *

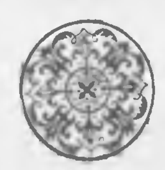
Им досталось местечко в углу фотографии.
Городские-то гости — те мигом устроились
а они, простота, все топтались да ахали,
лишь в последний момент где-то сбоку пристроились.
Так и вышли навеки — во всей своей серости,
городским по плечо, что туземцы тунгусские.
И лицом-то, лицом получились как нéруси,
почему это так, уж они ли не русские!
Ведь живой ты на свете: работаешь, маешься,
а на фото — как пень заскорузлый осиновый.
Чай, за всю свою жизнь раза два и снимаешься —
лишь на свадьбах, и то: на своей да на сыновой.

Гости спали еще, и недопито горькое,
но собрала мешки, потянулась на родину

впопыхах и в потемках по чуждому городу
вся родня жениха — мать и тетка Володины.
И молчали они всю дорогу, уставшие,
две родимых сестры, на двоих одно дитятко
возрастившие и, как могли, воспитавшие:
не пропал в городах и женился, глядите-ко!
А они горожанам глаза не мозолили
и не станут мозолить, как нонече водится.
Лишь бы имечко внуку придумать позволили,
где уж нянчить! Об этом мечтать не приходится.
Может, в гости приедут? Живи, коль поглянется!
Пусть когда-то потом, ну понятно, не сразу ведь...
Хорошо хоть, что фото со свадьбы останется:
будут внуку колхозных-то бабок показывать.
Ну а дома бутылку они распечатали,
за Володюшку выпили, песня запелася:
«Во чужи-то меня, во чужи люди сватали,
во чужи люди сватали, я отвертелася...»

К.

И уже отворилась дорога туда,
где не встретят ни путник, ни табор, ни скит,
где заменой всему, расцветя навсегда,
неподвижное летнее утро стоит.
Как поют эти птицы! Дана почему
нам на крайний лишь случай сия благодать?
Где ты, глухонемой, утопивший Муму,—
сладко ж было тебе по росе убегать!
Все убито, и не о чем плакать уже,
и отнято остатнее слово твое.
Но зияет великая рана в душе,
и бесшумно свобода заходит в нее.



ПРОЗА

ДМИТРИЙ БАЛАШОВ

ПОХВАЛА СЕРГИЮ

РОМАН

Глава 13

По первому снегу, когда укрепило пути, дошла весть о казни Дмитрия Грозные Очи в Орде. Отцы съезжались, толковали со страхом: что-то будет теперь, чего ждать? Не стало б нахождения иноплеменных!

Стефан знал, что убийство — грех, но с того часа, год назад, когда Дмитрий в Орде, зная, что идет на смерть, вырвал саблю и покончил со своим обидчиком, убийцей его отца, князем Юрием Московским, с того часа Дмитрий стал тайным героем Стефана. Он один отважился на действие. Разорвал порочный круг пустопорожних речей, речей и речей, которые он досыти слышит дома и в училище и которые ни к чему не ведут: так же едят, пьют, закусывают, так же копят и проживают добро, жалуются на неурожаи, друг на друга, на князей, на татар, на трудное время, на то, что в одиночестве ничего и нельзя вершить... И сколь их ни будь, все так же учнут толковню о том, что един в поле не воин. Вот ежели бы был жив покойный Михайло, ежели бы... Да ведь всякое соборное дело творят люди же! Пусть каждый поймет, что да, он воин, воин в поле, ратник Христов! Сам знаю, что одному — ничего нельзя, что первый стражник схватит меня за шиворот, сами же не допустят и до татар... Всё равно! Но вы-то люди, вы бояре, мужи совета и воины! Ждете, дабы сам Господь Бог взял вас за ручку и подтолкнул: — Иди! Да и тогда, поди, не пошли бы, сложили надежды на Вышнего: пущай-ко Создатель сам и исправляет свой мир! А они — они так же ничего не смогут, не решат, да и не захотят изменить.

А Дмитрий — смог! Содеял, пожертвовав жизнью! Сам, с саблей в руке, положил конец вечным козням ненавистного Юрия, разрешил двадцатилетний спор городов, и двух самых сильных домов княжеских. Быть может, даже, Дмитрий, своею смертью, жертвенно спас страну?! Пробудил, воскресил, заставил, наконец, отверзнуть очи и соборно пойти на подвиг?

Он укрепился в этой мысли, никому ее не высказывая, когда дошла весть, что великое княжение Владимирское получил брат Дмитрия, Александр Михалыч Тверской.

Странно, что весть эта подействовала на Стефана, как ушат холодной воды. Он должен был радоваться — победила Тверь! И не мог. Радости не было. Без конца вспоминались давешние детские вопрошания младшего братца, когда он вздумал повестить тому о поступке Дмитрия:

Продолжение. Начало в № 9 за 1991 год

— А что, Юрий был злой? — вопросил Варфоломей. — Злых ведь Господь карает! Почему же князь Митрий не стал ждать, когда Юрия накажет Господь? Ведь всем-всем будет воздаяние по делам их?

Тогда Стефан попросту отмахнулся от малыша. А теперь, перебирая в памяти весь этот долгий кровавый спор городов, в котором погиб Михайло Тверской, погибли Юрий с Дмитрием и... ничего не изменилось! Начинал понимать странную правоту дитяти. По-прежнему великое княжение в руках тверского князя, и по-прежнему сильна и поперечна ему Москва, и страна по-прежнему разорвана надвое. Ничего не изменилось! И, верно, погибель Александра с Иваном Данилычем ничего не изменит тоже! А то, что меняется, меняется без княжеской воли, а так... невестимо как! Как тает лед весною на озерах: тихо, недвижимо тоньшая и отступая от берегов. И сколько бы ни спорили, ни бунтовали князья и бояре, ничего не изменит ни подлость Юрия, ни сабля Дмитрия... И не престанут раздоры на Руси, пока... Пока не свершит круга своего назначенное Господом!

Так, может, и нет никакой духовной свободы, и верно, что даже волос не упадет с головы, без воли создавшего нас?

Чему же тогда учил Христос? Почему он требовал от каждого: «Встань, и иди!», — требовал деяния? Но какого деяния требовал Христос?! — деяния духа, а не меча! Все проходит, и все земное — тлен, и суета сует. И гибнущую Русь спасут не сабли князей, а дух Господень!

Суровая истина истории, словно пасмурный рассвет над морем непрестанных дум, начинала брезжить в голове Стефана, а именно, что одному человеку при своей жизни, будь он хоть семи пядей во лбу, ничего неможно свершить такого, что намного пережило бы его самого. Ни Искандер Двурогий — Александр Македонский, покоривший полмира, ни Темучжин, и никто другой из величайших завоевателей, повелителей, монархов не сумели оставить добытое ими потомкам цело и непорушено. Империи их разваливались со смертью их самих, и наследники тотчас начинали взаимную грызню, шли войною друг на друга, лишая тем самым всякого смысла усилия усопших покорителей.

Чтобы создать истинно прочное, надо, прежде всего, побороть искус увидеть самому плоды своего труда. Ни Христос, ни Будда, ни Магомет не узрели, при земной жизни своей, плодов посаженных ими деревьев. Но шли века, и народы, и страны падали к стопам опочивших провозвестников новых вер. Истинно прочное в череде веков всегда религиозно, духовно, и создание истинно прочного всегда требует от человека отречения, забвения самого себя, своего земного и сиюминутного бытия, требует веры.

Да, он, Стефан, пойдет по стезе духовной! Помирится с отцом Гервасием, будет прилежно внимать наставникам, станет епископом, пастырем, яко Иларион или Серапион Владимирский... И он уже видит себя в церкви, и тьмы тем народа, внимающих ему... Быть может, то, что их имение крушится, — перст и указание Божие? Может, и всему граду Ростову уготовано: пасть, и падением своим, горькою судьбиной, от разномыслия и духовного оскудения произошедшей, научить других? Что должен содеять он, чтобы не погибла родная земля и чтобы не зря прошла его жизнь, чтобы свет его разума не растаял в небытии, как тает весеннее облако в высокой голубизне небес? Чтобы, все-таки, ему, ему самому, живому и смертному, довелось соучаствовать в возрождении родимой земли!

Глава 14

Известие о восстании в Твери и об убийстве царева брата Шевкала со всею татарскою ратью дошло в Ростов восемнадцатого августа, на третий день после праздника Успения Богородицы.

В улицах стояла жарынь, сушь, было не продохнуть. Пыль висела

неживыми клубами, даже не оседая. Потрескивало пересушенное дерево. Горожане, многие, не топили печи, боялись пожаров. По окоему клубились свинцовые облака, никак не разражаясь дождем. Темное синее небо висело над головою, словно сверкающий начищенный щит, и сходное с блеском металла солнце жгло поникшую пыльную листву дерев и обливало горячим золотом клонящие долу хлеба. Казалось, в самом воздухе, потрескивающем от жары, копилось тревожное ожидание беды и раззора.

Дождь хлынул внезапно, вместе с первыми круглыми раскатами громового грохота. Тяжелая туча, затмнвшая солнце, казалось, только-только еще застила свет, а уже обрушилось тысячью игл, вздыбило пыль в переулках, волнами пошло по морю хлебов, оступившему город, захлопали калитки, рванулись с веревок развешанные портна, куры, с криком взлетая в воздух, разбегались и прятались от дождя, и уже дружно заколотило по кровлям, и дохнуло грозовой свежестью в улицы, и в слепительно белые, разрезаемые ветвистыми струями молний края облаков вонзились стаи испуганных галок и ворон, и молодки, завернув подолы на головы, сверкая голыми икрами крепких босых ног, с радостным испугом, с веселыми возгласами побежали, шлепая по лужам, прятаться от дождя в калитки и подворотни домов, когда в город ворвался, со скачущим вестником, грозный голос тверской беды.

— Побиты! Татары побиты! Шевкал? Брат царев?! Все побиты, и Щелкан, Шевкал ли, убит! Беда!

И в рокочущие раскаты грозового неба, в веселый частобой долгожданной воды, ворвался высокий, тревожный голос колокола, — один, другой, третий. Звонари, не сговариваясь, узнавая о ратном тверском пожаре, начинали вызванивать набат.

Не успел еще, омывший и омолодивший землю веселый дождь свалить за край окоема, еще неслись, догоняя, лохмы сизых туч, и еще моросило, пересыпая серебряными нитями отвесные жаркие лучи освобожденного от облачного плена юного солнца, а уже на площади перед собором гомонило разномастное, поспешное вече. Орали, пихались, требовали князей, думных бояр и епископа, кого-то стаскивали с коня, кого-то, упирающегося, вели к помосту: — «Ать молвит!»

Стефан, — его, кинувшегося на всполошный зов колокола, человечьим водоворотом занесло в самую гущу, — рванулся в толпе. Непрошенные, нежданные даже слова рвались у него из груди:

— Люди добрые! Граждане ростовские! Друзья, братья! Восстанем все! Поможем Твери! Головы своя положим!

— Сам-то как, свою голову тоже положишь, али батька не повелит? — громко и глумливо вопросил узнавший Стефана горожанин.

— Молод ищо! — посыпались сердитые голоса. — Глуздыры! Дак и не попурхивай! Чей-то таков? Кириллов, никак, сынок! Батько где?! От ево ли послан, али сам, по младости, по глупости?

Стефан, бешено пробиваясь вперед, орал им в лица, размахивая кулаками:

— Стыд! Позор! Как успех, дак и все до кучи: — мы! А как на труд, на смерть, дак пущай сосед, моя хижа с краю? Да? Так, што ли?! К оружию, граждане!

— Против кого? — вопрошали ему в лицо. — Власть своя, свои князья! Татар у нас нетути! Чево бояре бают, где они? Где Аверкий? Где твой батька, лучше скажи! Тверичи сами затеяли, им и расхлебывать! Нас не трогают пока!

— Дак и всех поврозь тронут! — надрывался Стефан.

— Ты, может, и прав, — не уступая, возражала ему слитная толпа, — да где бояре? Где рать? Мы смерды, у нас и оружия нет! Где старосты градские? Аверкий где? Послать за Аверкием!

— Мы встанем, а бояре? А князь что думат? А кто нам даст ко-

ней, да мечи, да брони, ты, што ль? Вятшие пойдут, тады и мы на рать станем! То-то и оно!

— Кто поведет? Кому нать? Тверской-то великой князь, Ляксандра Михалыч, сказывают, тоже утек из Твери? Во гради он? То-то ж!

Стефана затолкали, запихали, закидали тяжелой мужицкой укоризной. Он так и не пробился к лобному месту, где с возвышения то тот, то другой краснобай бросали в толпу всполошные слова. Их тянули вниз за сапоги, за полы, на помост взбирались новые, кричали яро:

— Охолонь! Князя давай, бояр!

— Бояр великих! Князя! — ревела площадь.

Но не было ни князя, ни бояр на вечевой площади, и не было согласия во граде, ни совета во князьях, ни единомыслия в боярах. Кто прятался в тереме, повелев слугам кричать, что его нетути, кто, взмыв на коня, мчал прочь за городские ворота, кто увязывал добро, махнувши рукою на все:

— Чернь бунтует! Худого и жди!

Ничем кончилось ростовское вече.

С подбитой где-то, невзначай, скулою, измазанный, с порванным рукавом, Стефан с трудом выбрался из обманувшей его толпы, которая, виделось уже, собралась просто так, пошуметь, но ничего не решит и ни на что не решится без руководителей своих, которые, в сей час, сидят, попрятавшись от черни, с единою мыслью: лишь бы без нас, да мимо нас, лишь бы кто другой!

Напрасно проплутав в поисках слуги, он, пеш, выбрался за городские ворота и, шатаясь, побрел домой. Уже за несколько поприщ от города нагнал его старик Прокофий с конем, тоже напрасно проискавший своего молодого господина, и теперь донельзя обрадованный, что не пришлось ему ворочаться домой одному, без Стефана, под покоры и укоризны боярыни.

Не в пору, не вовремя вспыхнуло тверское пламя. Никого не зажгло, только опалило страхом, и пригнулась, прищипилась земля, с ужасом ожидая одного: что-то будет?

И никто не дерзнул повторить того, что створилось в Твери. Не встала земля, не вышли самозваные рати, не встрепенулись ратные воеводы, не двинулись дружины, не подняли головы князья... А когда дошли вести, что Иван Данилыч московский вызван в Орду, и суздальский князь, Александр Василич, отправился туда тоже, поняли: — быть беде великой! Жди нового ратного нахождения!

Глава 15

Торопливо убирали хлеб. Косые дожди секли землю. Ветра рвали желтый лист с дерев. Жители зарывали корчаги с зерном, прятали в тайники, что поценнее, уходили в леса, отрывая себе звериные норы в оврагах — хоть там-то пересидеть беду!

Александр Михалыч загодя покинул Тверь, не помышляя о ратном споре с Ордою. Мелкие князья, пася себя и смердов своих, об одном молили Господа: — Лишь бы не через нас! Лишь бы иною дорогой!

И земля нёмо ждала, как ждет приговоренный к казни, не помышляя уже не токмо о споре с Ордою, но даже и о спасении...

Подмерзали пути. На застылые пажити падал неживой снег. В серебряных вьюгах, под вой волков и метелей, на землю русичей в бессчетный раз надвигалась степная беда.

Черною муравьиною чередою тянулись скуластые всадники в мохнатых островерхих шапках, на мохнатых низкорослых лошадях по дорогам страны. Пять туменов, пятьдесят тысяч воинов, послал Узбек громить мятежную Тверь, и с ними шли, верною обслугою хана, рати москвичей и суздальцев.

Только в книгах о седой старине, да в мятежных умах книгочиев оставалась, сохраняла себя в те горькие годы былая единая Русь! О, вы, великие князья киевские! О, слава предков! О, вещий голос пророков и учителей твоих, святая Русская земля! Где ты? В каких лесах, за какими холмами сокрыта? В каких водах, словно Китеж, утонули твердыни твои? Иссякли кладязи духа твоего, и кто придет, препоясавший чресла на брань и труд, иссечь источники новые? Кто вырубит из скалы забвения родник живой и омоет, и воскресит хладное тело твое? О, Русь! Земля моя! Горечь моя и боль!

Метет. Мокрый снег залепляет глаза. Во взбесившейся снежной круговерти смутно темнеют оснеженные и вновь ободранные ветром, крытые дранью и соломой кровли боярских хором. Выбеленный снегом тын то проглянет острыми зубьями своих заостренных кольев, то вновь весь скроется в воющем потоке снегов. Деревня мертва, оттуда все убежали в лес. Только здесь чуется еле видное шевеление. Мелькнет огонь, скрипнет дверь, промаячат по-за тыном широкая рогатина и облепленный снегом шелом сторожевого. В бараньих шубах сверх броней и байдан, кто с копьем, кто с рогатиною, кто с луком и стрелами, кто со старинным прямым мечом, кто с татарскою саблей, шестопером, а то и просто с самодельною булавою да топором, они толпятся во дворе, смахивая снег с бровей и усов, сами оробелые, ибо что смогут они тут, ежели татарские рати Туралыкова и Федорчукова, что валят сейчас по-за лесом, отходя от разгромленной, сожженной Твери, волоча за собою полон и скот, вдруг пожалуют к ним, на Могзу и Которосль? Недолго стоять им тогда в обороне! И счастлив останется тот, кого не убьют, а с арканом на шее погонят в дикую степь! Ибо татары громят и зорят всё подряд, не глядя, тверская или иная какая земля у них по дороге. В Сарае уже ждут жадные купцы-перекупщики. Давай! Давай! Полон, обмороженный, слабый, пойдет за бесценок, а семью,— татарок своих,— тоже надо кормить! Нещадно, с маху, бьет ременная плеть: «Бега-а-ай!». — Спотыкающиеся, спутанные полонянники, втягивая головы в плечи, бредут через сугробы, падают, встают, ползут на карачках, с хрипом, выплевывая кровь, умирают в снегу. «Бега-а-ай!» — гонят стада скотины. Громкое блеянье, испуганный рев недоеных голодных коров, ржанье крестьянских, согнанных в насильные табуны коней тонут в метельном вое и свисте. Обезножевшую скотину, прирезав и тут же пихнув в сугроб, оставляют в пути. Волки, наглея, стаями бегут за татарскою ратью. Вороны, каркая, срываются с трупов и вновь тяжко падают вниз, сквозь метель.

За воротами боярских хором царапанье, не то стон, не то плач. Отворяется калитка, ратник бредет ощупью, выставив, ради всякого случая, ножевое острие. Наклоняется, спрятав нож и натужась, волочит под мышки комок лохмотьев с долгими, набитыми снегом волосами, свесившимися посторонь. Баба! Убеглая, видно! Без валенок, без рукавиц...

— Тамо! — шепчет она хрипло,— тамо, еще! — И машет рукою, закатывая глаза.

Где? Где?! — кричит ратник ей в ухо, стараясь перекричать вой метели.

— Тамо... За деревней... бредут...

Распахиваются створы ворот. Боярин Кирилл, в шубе и шишаке, сам правит конем. Яков, тоже оборуженный, держит одною рукой боевой топор и господинову саблю, другою вцепляясь в развалы саней, пытается, щуря глаза, разглядеть что-либо сквозь синюю чернь и потоки снежного ветра. Сани ныряют, конь, по грудь окунаясь в снег, отфыркивает лед из ноздрей, тяжко дышит, в ложбинах, где снег особенно глубок, извиваясь, почти плывет, сильно напруживая ноги.

Вот и околица. Конь пятит, натягивая на уши хомут. Чья-то рука тянется из белого дыма, чьи-то голоса не то воют, не то стонут во тьме. Яков, оставя оружие, швыряет их, как дрова, в развальни кричит:

— Все ли?

— Все, родимый! — отвечают из тьмы не то детские, не то старушечьи голоса.

— Девонька ищо была тута! — вспомнивает хриплый старческий зык. — Ма-ахонькая!

Конь, уже завернувши, тяжко бежит, разгребая снег, и внезапно, прянув, дергает посторонь. Кирилл, нагнувшись, подхватывает едва видный крохотный комочек обмороженного тряпья, кидает в сани. Конь — хороший боевой конь боярина — идет тяжелою рысью, изредка поворачивая голову, дико глядит назад...

В хоромах беглецов затаскивают в подклет: прежде всего спрятать! Там снегом растирают обмороженных, вливают в черные рты горячий сбитень. Мечется пламя лучин в четырех светцах, дымится корыто с кипятком. Мария, со сведенными судорогой скулами, молча и споро забинтовывает увечную руку обмороженного мужика, а тот, кривясь от боли, скрипит зубами, и только бормочет: — «Спаси Христос, спаси Христос, спаси... Спасибо тебе, боярыня!» Стонет, качаясь, держась за живот, старуха. Мечутся слуги. Сенные девки, нещадно расплескивая воду, обмывают страшную, в бескровной выпитой наготе, потерявшую сознание беременную бабу. Голова на тонкой шее бессильно свесилась вбок, тонкие, распухшие в коленах и стопах ноги, покрытые вшами, волочатся, цепляясь, по земи, никак не влезают в корыто.

Стефан путается под ногами людей, силясь помочь, хватает то одно, то другое, ищет, кого бы послать на поварню.

— Живей! Ты! — кричит сорвавшимся, звенящим голосом мать,— где горячая вода?! — И он, забыв искать холопа, сам хватает ведро и, как есть без шапки, несется за кипятком.

Другой мужик, в углу, молча и сосредоточенно кривясь, сам отрезает себе ножом черные неживые пальцы на ногах. Одна из подобранных жёнок вставляет новые лучины в светцы. Кто-то из слуг раздает хлеб...

Кирилл, весь в снегу, входит, пригибаясь под притолокою, и молча передает жене маленький тряпичный сверток. Мария, тихо охнув, опускается на колени: — «Снегу! Воды!» — Девочка лет пяти-шести, не более (это та самая девчушка, что нашли у околицы), открывает глаза, пьет, захлебываясь и кашляя; тоненьким хриплым голоском, цепляясь за руки боярыни, тараторит:

— А нас в анбар посадивши всех, а матка бает: — ты бежи! — А я пала в снег, и уползла, и все бежу, бежу! Тетка хлеба дала, ото самой Твери бежу, где в стогу заночую, где в избе, где в поле, и все бежу и бежу,— свойка у нас, материна, в Ярославли-городи!

Глаза у девчушки блестят, и видно, что она уже бредит, хрипло повторяя: — «А я все бежу, все бежу...»

— В жару вся! — говорит мать, положив руку ей на лоб, и шепотом прибавляет: — Бедная, отмучилась бы скорей!

Стефан стоит, сгорбясь, нелепо высокий. Он только что притащил дубовое ведро кипятку и, коверкая губы, смотрит, не понимая, не в силах понять, постичь. От самой Твери?! Досюда? Столько брела? Такая сила жизни! И — неужели умрет?!

Мать молча задирает вонючую рубаху, показывает. На тощем тельце зловеще лоснятся синие пятна, поднявшиеся уже выше колен, в паху и на животе. «Не спасти!» — договаривает мать. У самой у нее черные круги вокруг глаз, и она тоже смотрит на девочку безотрывно, стойно Стефану, шепчет про себя:

— Господи! Такого еще не видала!

— Унеси в горницу! — приказывает она сыну. Стефан наклоняется над дитятей, но тут, ощутив смрад гниющего тела, не выдерживает, с жалким всхлипом, не то воем, закрывает руками лицо и бросается прочь.

Мария, натужась, сама подымает ребенка и несет, пригибаясь под притолокою, вон из дверей. Она вовсе не замечает, с натугою одолев крутую лестницу, что за нею топочут маленькие ножки, и в горницу прокрадывается Варфоломей. Мария, в темноте уронив девочку на постель, долго бьет кресалом. Наконец трут затлел, возгорелась свеча. И тут, оглянувши в поисках помощи, она видит пятилетнего своего малыша, который глядит серьезно и готовно, и, не давши ей открыть рта, сам предлагает:

— Иди, мамо! Я посижу с нею!

Мария, проглотив ком в горле, благодарно кивает, шепчет:

— Посиди! Скоро няня придет! Вот,— шарит она в глубине закрытого поставца,— молоко, еще теплое. Очнется, дай ей! — И, шатнувшись в дверях, уходит опять туда, вниз, где ее ждут, и где без хозяйского глаза все пойдет вкривь и вкось.

Девочка, широко открывши глаза, смотрит горячечно. Варфоломей подходит к ней и, остановясь близко-близко, начинает гладить по волосам.

— А я все бежу, бежу... — бормочет девочка.

— Добежала уже! Спи! — говорит Варфоломей, словно взрослый. — Скоро няня придет! Хочешь, дам тебе молока?

— Молоко! — повторяет девочка жарким шепотом и, расширив глаза, смотрит, как Варфоломей осторожно наливает густую белую вологу в глиняную чашечку и медленно, боясь пролить, подносит ей. Девочка пьет, захлебываясь и потея. Потом, отвалясь, показывает глазами и пальцем: — «И ты попей тоже!» — Варфоломей подносит чашку ко рту, обмакивает губы в молоко, кивает ей: — «Выпил!» — девочка смотрит на него долго-долго. Жар то усиливается, то спадает, и тогда она начинает что-то понимать.

— Я умираю, да? — спрашивает она склонившегося к ней мальчика.

— Как тебя зовут?

— Ульяния, Уля!

— Как и мою сестру! — говорит мальчик.

— А тебя как?

— Варфоломей.

— Олфоромей! — повторяет она, и вновь спрашивает требовательно: — Я умираю, да?!

Варфоломей, который шел за матерью с самого низу, и видел и слышал все, молча, утвердительно, кивает головой и говорит:

— Тебя унесут ангелы. И ты увидишь фаворский свет!

— Фаворский свет! — повторяет девчушка. Глаза у нее снова начинают блестеть, жар подымается волнами.

— И пряники... — шепчет она в забытьи,— и пряники тоже!

— Нет, тебе не нужно будет и пряников,— объясняет Варфоломей, как маленький мудрый старичок, продолжая гладить довочку по нежным волосикам.— Там все по-другому. Тело останется здесь, а дух уйдет туда. И ты увидишь свет, фаворский свет! — настойчиво повторяет он, низко склоняясь и заглядывая ей в глаза.— Белый-белый, светлый такой! У кого нету грехов, те все видят фаворский свет!

Девочка пытается улыбнуться, повторяя за ним едва слышно:

— Фаворский свет!..

Двое детей надолго замирают. Но вот девочка вздрагивает, начинает слепо шарить руками, вздрагивает еще раз и вытягивается, как струна. Отверстые глаза ее холоднеют, становятся цвета бирюзы, и гаснут. Варфоломей, помедлив, пальцами натягивает ей веки на глаза и так держит, чтобы закрылись.

Стефан (он давно уже вошел и стыдливо стоял у двери, боясь даже пошевельнуть рукой) спрашивает хрипло:

— Уснула?

— Умерла,— отвечает Варфоломей, и, став на колени, сложив руки ладонями вместе перед собою, начинает читать молитву, которую, по его мнению, следует читать над мертвым телом:

— Богородице, дево, радуйся! Пресветлая Мария, Господь с тобою! Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего...— Он спотыкается, чувствует, что надо что-то добавить еще, и говорит, чуть подумав: — Прими в лоне своем деву Ульяну, и дай ей увидеть фаворский свет!

Теперь все. Можно встать с колен, и теперь, наверно, нужен ей маленький гробик.

А внизу, в подклете, хлопают двери, и Кирилл, с трудом разлепивши набрякшие, обмороженные веки, сбивая сосульки снега с ресниц и бороды, говорит жене:

— Еще троих подобрали, и те чуть живы! Прими, мать!

Поздняя ночь. Все так же колотится в двери и воет вьюга.

— Вьюга, это к добру, татары, авось, не сунутце! — толкуют ратники, сменяя издрогших товарищей. Передают из рук в руки ледяное железо, крепко охлопывают себя рукавицами. Не глядючи на полузанесенный снегом труп (давеча один дополз до ограды, да тут и умер), разумея тех, кто внизу, бормочут: — Беда!

А боярчата, измученные донельзя, все еще не спят. Только Петюня уснул, посапывая. Стефан (он сейчас чувствует себя маленьким-маленьким, так ничего и не понявшим в жизни) сидит на постели, обняв Варфоломея, и шепчется с ним:

— А откуда ты слышал про свет фаворский?

— А от тебя! — тоже шепотом отвечает Варфоломей. — Ты, лонись, много баял о том. Не со мною, с батюшкой... А расскажи и мне тоже! — просит он.

— Вот пойдешь скоро в училище, там узнаешь все до тонкости,— задумчиво отвечает Стефан.— Далеко-далеко! На юге, где Царьград, и дальше еще, там гора Афон. И в горе живут монахи, и молятся. И они видят свет, который исходил от Христа на горе Фавор. Фаворский свет! И у них у самих, у тех, кто самый праведный, от лица свет исходит, сияние.

— Как на иконах?

— Как на иконах. Только еще ярче, словно солнце!

— Степа, а для чего им фаворский свет?

— Они так совокупляют в себе Дух Божий! Божескую силу собирают в себе, чтобы потом людям ее передать! Понимаешь? Из пламени возникает мир, и вновь расплавляется в огне. Зрел ты пламя? Оно жжет, но вот угас костер, и нет его! Огонь зримо являет нам связь миров: духовного, горнего, и земного, того, который вокруг нас. Огонь также и символ животворящей силы Божества, потому и едины суть Бог-Отец, Бог-Сын и Дух Святой, исходящий на нь в виде света... Не простого света, солнечного, а того, божественного, что явил Христос ученикам своим на горе Фаворе!

Варфоломей кивает. Неважно, понимает ли он до конца то, что говорит брат, или нет, но ему хорошо со Стефаном. И он верит теперь еще больше, что ныне хорошо и той упокоившейся девочке, которую завтра обещали похоронить, и даже сделать ей маленький гробик.

Беспокойно, вздергиваясь и постанывая, дремлет мать. Легла не раздеваясь, не разбирая постелю, на час малый, да так и уснула, уходившись всмерть. Кирилл не велел ее будить. Сам спустился в подклет, сменить жену в бессонной ее стороже.

Глава 16

Варфоломей начал учиться грамоте семи лет, сказано в первой его биографии, в первом житии. Простой расчет показывает, что это должно было произойти в 1329 году, ежели считать от «Ахмыловой рати». Но уже «за год един» после Федорчукова и Туралыкова нашествия, то есть через зиму после погрома Твери, московский великий князь Иван Данилович, выдав дочь за юного князя Константина, наложил властную руку на Ростов, что окончательно сокрушило хозяйство боярина Кирилла и заставило его в конце концов, как и многих, бежать из Ростова в поисках новых земель и «ослабы» от поборов и даней. Иными словами, переезд в Радонеж мог состояться где-то не позднее 1330 года, и учиться в Ростове в этом случае отроку Варфоломею пришлось не более двух лет. Впрочем, то, что ему было именно семь лет к началу учения, не столь уж бесспорно. Начинали учиться в древней Руси «лет пяти-шести», как явствует из многих прямых и косвенных указаний. Смотрели по дитю, по его развитию. (А дети, рано приучаемые к самостоятельности, и развивались рано!) Иного могли отдать и в пять, и в четыре года, другого в семь, — в классах тогдашних училищ не следили за тем, чтобы дети были все и обязательно одного возраста.

Кстати, о школах. Уже, кажется, многие знают теперь, что грамотность у наших предков в XIII—XV столетиях была распространена гораздо шире, чем думали исследователи совсем еще недавнего времени. В том же Новгороде Великом раскопками Арциховского-Янина найдены многочисленные образцы частной переписки рядовых граждан. Заостренные костяные и металлические палочки непонятного назначения, находимые археологами в самых различных городах и севера и юга России, получили теперь истолкование, и даже названне их установлено,— это оказались древнерусские «писала», коими, без помощи чернил, выдавливали или процарапывали текст на бересте и специальных, покрытых воском дощечках. И, однако, до сих пор далеко не многие знают, что в древней Руси уже в XIII — XV веках была принята классно-урочная система преподавания, сходная с нашей, а города-республики, вроде Новгорода или Пскова, содержали на общинный (общественный) счет городские бесплатные школы, называемые тоже почти по-современному,— «училищами», в коих могли учиться и учились даже дети самых бедных граждан, и где на переменах между уроками дети так же, как и современные школьники, выбегали на улицу, баловались, затевали возню и шумные игры.

Учили в этих школах или училищах чтению и письму (по Псалтири), церковному пению,— музыка была обязательным и серьезным элементом тогдашнего преподавания,— счету, то есть математике, а в старших классах: риторике, красноречию, истории, богословию. Переводя на наш язык и современные понятия — философии и социально-политическим наукам. Впрочем, даже и сами слова «философия» и «философ» уже существовали в тогдашнем обиходе. Сверх того изучали греческий язык, некоторые, к тому же, древнееврейский, как язык Библии. Словом, учащиеся, кончившие полный курс наук, получали неплохое политико-гуманитарное образование.

Особенностью тогдашних школ было то, что школы не делились на церковные и гражданские. Иерархи церкви и светские деятели получали одинаковое образование, благодаря чему, в частности, правящее сословие великолепно разбиралось во всех церковных вопросах,

то есть владело всей суммой тогдашних идеологических представлений. Изучивши, вдобавок к перечисленному, своды законов («Мерило праведное», «Номоканон» и «Правду Русскую»), боярский или княжеский сын был вполне готов к сложному делу управления страною и руковожения людьми.

Затрудняюсь сказать, в какой степени и объеме изучалась медицина. По-видимому, в этой области нас, как и прочие страны Европы, решительно опережал арабский (да и не только арабский!) Восток. На Руси, в основном, лечили знахари, которые были, впрочем, глубокими знатоками целебных трав (чем мы ныне похвалиться не можем!) и великолепными костоправами.

Науки практические — зодчество, литейное дело, кузнечное и кожевенное производства, столярное, плотницкое, ткацкое и прочие многоразличные ремесла — имели свои глубокие традиции и свою «школу», свои навыки, передававшиеся изустно, от мастера к мастеру, так что какой-нибудь недипломированный древнерусский инженер-строитель подчас знал много больше современного архитектора, артистически справляясь со всеми видами сложных, совмещенных и многоярусных, сводчатых перекрытий, принятых в тогдашних церквах (без опоры на упрощающую железобетонную конструкцию), знал тайны обжига кирпича и растворов, выдерживающих, вот уже ряд веков, наши российские ветра, дожди и суровые зимы. Точно так же, как кузнецы, например, ведали секретами отковки многослойных, с твердою серединой, «самозатачивающихся» лезвий, отлично умели наводить «мороз», «синь», золотое и серебряное письмо на металл,— короче говоря, владели секретами, которые составили бы честь и современному, вооруженному научным знанием металлургу.

Мы, потомки, зачастую оказываемся в плену терминологических несоответствий. Университет для нас — место учебы и сосредоточенья научных сил, а что монастырь XIV столетия сплошь и рядом оказывается тем же самым, нам, как говорится, уже и невдомек. Слово «инженер» для нас значительнее древнерусского «мастер», а почему? Тогдашний мастер широтою знаний и, главное, практическим навыком работы, «артистизмом», значительно превосходил современного инженера!

Все это необходимо помнить, хотя бы для того, чтобы понимать, как это и почему тогдашнее немногочисленное население (по приблизительным оценкам всего три — пять миллионов на всем пространстве европейской части России) успевало так много сделать, с такою быстротою возводило порушенные города, воздвигало храмы, осваивало и распахивало лесные пустыни русского Севера, вело торговые операции на расстояниях в тысячи верст, перебрасывая, скажем, товары далекой Бухары или Кафы греческой во Владимир, Тверь и Псков, смоленский хлеб в Новгород Великий, а пушнину, кожи, рыбий зуб и тюленье сало с севера, с «моря полуночного», в Данию, Италию и Царьград. И речь идет не только и не столько о небольших по объему и дорогих по стоимости предметах роскоши. На тысячи поприщ везли железо, рыбу, соль и зерно. В одиннадцатом веке уже Новгород Великий снабжался суздальским хлебом, а в XIV—XV тот же хлеб везли в Новгород с Кокшеньги и Ваги через Двину и Белое море, на расстояние больше тысячи километров со многими переволоками и перегрузками в пути.

Все это требовало и высокой техники, и высочайшей степени организации труда, и толковой, совестливой, знающей администрации. И все это было, и составляло основу и силу Руси, ту силу, на которую опирались русские князья, «собиравшие» землю.

Было, увы, и другое в ту пору на Руси! Был упадок духа, разброд во князьях, свары и ссоры, оборотившиеся полною неспособностью организовать хоть какое толковое сопротивление орде Батыя: многие города сдавались без бою, воеводы прятались, чая пересидеть беду, великий князь Юрий бросил стольный город Владимир с семьею вместе на произвол судьбы и на поругание врагу и позорно погиб на Сити, где монголы не столько ратились с русичами, сколько истребляли бегущих. Редкие всплески героизма пропадали впустую, ибо ратники княжеских дружин, не овеянные духом жертвенности, думали больше о наживе, чем о защите страны, и когда вместо грабежа своих же земель во взаимных которах им пришлось встретить грозного и сплоченного врага, бежали, не выдержав ратного испытания.

Скажем еще, что в те же годы ростовщичество иссушало древний Владимир едва ли не страшнее, чем татарское разорение, что разброд власти тяжелее всего ложился на плечи смердов, коих зорили все подряд, что бояре — старшая дружина княжеская — тонули в роскоши, в городах возводились дорогие белокаменные храмы, ювелирное дело достигло неслыханной высоты и совершенства, не достижимых уже в последующие века... (Увы! Слишком часто начало погибели принимаем мы за расцвет благодаря дурманящему очарованию поздней культуры!) И что в этой богатой, изобильной, обширной стране граждане, как горестно восклицал епископ Серапион в одном из своих поучений, буквально съедали друг друга, полностью забыв о христианском братстве и любви... Интеллигент и писатель двенадцатого столетия, безвестный гениальный автор «Слова о полку Игореве», в предчувствии бед грядущих тщетно бросал современникам слова огненного призыва «загородить полю вороты», — голос его был услышан только два столетия спустя. Татарский погром был истинно заслуженною Господнею карой за грехи тогдашнего русского общества!

Именно потому главными, основными, трепещущими общественными проблемами тех лет, точнее сказать, тех двух столетий (XII—XIV) были проблемы не бытия, а духа, духовной жизни, осознания Русью единства своего в братней любви всех русичей, и своего назначения в мире, осознания всеми гражданами высшей, жертвенной предназначенности своей, без чего не вышла бы русская рать на поле Куликово и не состоялась бы, не возникла из небытия Русь Московская.

Глава 17

На том самом старом мерине, который был вручен ему с младшим братишкой в общее пользование, Варфоломей и приехал в Ростов, в училище, постигать впервые чтение и письмо. Вряд ли ему было уже семь лет! К семи-то годам, да в таком семействе, он бы и дома уже научился кое-что разбирать в уставном торжественном письме древних книг, где все буковки выписывались по отдельности, ставились без наклона, не писались, а, скорее, вырисовывались писцом, напоминая современные печатные литеры крупной печати. К семи годам он, верно, уже научился читать, а отправился учиться не вдолге после Туралыковой-Федорчуковой рати, на шестом году жизни, почему и не понимал долго объяснений наставника своего.

Многошумный Ростов ошеломил ребенка. Разумеется, он был тут не раз и не два, но всегда с родителями, в отцовском возке, чаще всего рядом с матерью, и тогда, выглядывая, как галчонок из гнезда, он не находил город ни огромным, ни страшным. Но сегодня все было иначе. Они одни подъехали с братом Стефаном к коновязям. Множество коней в богатых уборах, иные под шелковыми попонами, множество разодетых стремянных, смех, шутки, ржанье и конский топ, — все разом ринуло на него, как вражеское нашествие.

Старик Прокофий принял повод его коня, и Варфоломей уже с некоторым страхом, выпростав ноги из подвязанных по его росту стремян, сполз с теплой и родной спины лошади на пыльную, почти лишенную травы, истоптанную копытами и усыпанную конским навозом

землю. Тут, почти ныряя под брюха коней, увертываясь от беспокойных копыт, он заспешил вслед за Стефаном, который широко шагал, почти волоча Варфоломея за собою. Одну потную ручонку крепко вдев в братнину ладонь, другою поддерживал кожаную торбу с Псалтирью, писалом и вощаницами (туда же был вложен и берестяной туесок с куском пирога и парой крутых яиц с завернутою в тряпицу солью), Варфоломей беспокойно вертел головой, стараясь не потерять дороги, не заблудить, ежели бы пришлось идти одному, среди всех этих громадных теремов, возвышенных крылец, коновязей, телег и заборов, и с невольно подступившим отчаяньем чувствуя, что, оставь его Стефан в сей час одного, и он уже дороги назад не найдет!

Но еще хуже стало, когда поднялись по крутым ступеням, и Стефан, поговорив с кем-то в лиловой шелковой рясе, оставил его в галдящей толпе незнакомых, разномастно одетых детей, и его уже кто-то дернул за торбу, в которую Варфоломей вцепился двумя руками, боясь потерять дорогую Псалтирь, и кто-то сзади взъерошил ему волосы, и какой-то мальчик, глядя на него с насмешливым снисхождением, проговорил у него над ухом: — «А! Стефанов брат!» — так, будто бы это уже одно было смешно или стыдно, — а другой, толкнув его в спину, спросил: — «Эй, ты! Отгадай, чего у мерина нет?» — Варфоломей намерился сперва дать обидчику сдачи, но, помыслив, решил все вытерпеть, и стал про себя читать: «Дух тверд созижди во мне...» За молитвою, однако, он не услышал, что всем велено было входить в келейный покой, и едва успел проскочить в дверь, уже позади всех, почти под ногами у толстого высокого наставника, который неодобрительно свел брови, мало не запнувшись о малыша.

В низкой палате, уставленной дощатыми скамьями, он несколько мгновений, показавшихся ему невообразимо долгими, не мог никуда сесть, ибо пареньки, уже занявшие все сиденья, подшучивая над новичком, тотчас передвигались к краю, как только он неуверенно подходил к очередной скамье. В конце концов ему пришлось, уже под сердитый окрик учителя, сесть на самое первое сиденье, прямо перед ликом грозного наставника, и слушать, почти не понимая ничего, низкий рокочущий голос, меж тем как сзади его продолжали пихать и даже чем-то подкалывать в спину, а сидящий рядом мальчик, расставляя ноги, то и дело задевал злосчастную Варфоломееву Псалтирь, которую он, не ведая подвоха, достал из торбы и положил себе на колени. Псалтирь, оказывается, пока была не нужна, и, охраняя ее от падения, Варфоломей плохо слушал то, что говорит наставник. Когда же понял оплошку свою, то, засовывая ненужную книгу в торбу, завозился и не поспел встать вместе со всеми, чтобы прочесть благодарственную молитву, и так был расстроен этим своим прегрешением, что опять пропустил мимо ушей слова наставника, и позже других извлек из торбы вощаницы и писало. Вощаницы надо было положить на левое колено, а писало взять в правую руку, между большим и указательным перстами, щепотью, а он, перепутав все на свете (и ведь дома же видел и знал, как держит писало Стефан!), положил писало на безымянный перст и долго не мог понять, почему у него ничего не выходит.

Варфоломей не видел, сидя на первой скамье, что у большинства новичков выходит немногим лучше, и думал, что он один такой неумелый и что именно на него гневает, сводя густые черные брови, наставник. Он все время ожидал обидного удара тростью, вспотел от усилий, и уже вовсе ничего не понимал, только слышал высоко над собою рокочущее гудение мощного голоса, и дрожащей рукою проводил какие-то разлезающиеся вкривь и вкось извилины на покрытой воском дощечке, никак не связывая их с тем, что говорил грозный учитель и повторяли хором, нараспев, прочие ученики. Сверх того ему отчаянно захотелось по малой нужде, и он даже немножко намочил порты, пока сидел и терпел, изо всех сил сжимая колени.

С великою радостью уцепился он за руку Стефана, когда настал перерыв, и старший брат зашел проведать Варфоломея. Он даже и Стефану постыдился признаться в своей детской оплошке, слава Богу, что старший брат понял все сам, и свел его туда, куда ходили за нуждою прочие мальчики. Впрочем, Стефан не долго был с ним вместе, и вновь Варфоломей остался один в толпе сверстников, среди коих лишь двое-трое были ему знакомы. Младший Тормосов сам подошел было к Варфоломею (он, видимо, тоже несколько оробел в толпе). Но едва они взялись за руки, как Тормосова тотчас затормошили и оторвали от Варфоломея и утащили за собой другие мальчики, а Варфоломей, отброшенный, прислонился к тыну и, сильно пихнув от себя очередного слишком нахального приставалу, начал честь шепотом молитву, чтобы не слышать грубых шуток и зазорных слов сотоварищей.

Вскоре буйная дружина малышей устремилась вновь в учебный покой. Наставник теперь был иной, и вощаницы, за коими полез было Варфоломей, совсем не понадобились. Учили пению. Тут дело пошло несколько лучше. Голос у Варфоломея был чистый и высокий, но и за тем получилась обидная заминка, ибо тот склад, которым пели дома и коему учила его мать, несколько рознился от принятого в училище.

После урока пения все достали свои завтраки, у кого что было, и тут же, на скамьях, устроились есть. Варфоломей, поискав глазами, нашел бедного мальчика, у которого был на завтрак один только серый ржаной коржик, и предложил тому яйцо. С опозданием узрев ждущие глаза другого маленького мальчика, у которого была в руках одна только корка хлеба, отдал тому и второе свое яйцо вместе с солью, а сам, медленно и тщательно разжевывая, съел оставшийся у него кусок пирога, запив его водою из ушата, из коего, в очередь, передавая друг другу берестяной ковш, пили и все прочие мальчики.

После перерыва, хором, читали знакомые молитвы. После учились считать, перекладывая перед собою нарочито нарезанные ивовые палочки. (Варфоломей приметил, что многие ребятки тут же начали играть, возводя из палочек домики и колодцы.)

К концу занятий у него от шума, духоты, непривычного многолюдства болела и кружилась голова, и он чувствовал себя маленьким, несчастным и оброшенным. Во сто крат легче было ему воевать с шалунами на деревне! Стефан появился перед ним словно спасение Господне или дар небес, отвел младшего брата к коновязям, где Варфоломей, уже почти с рыданием, вскарабкался на коня, и только тут, с седла, обозрев людную площадь, и терема, и церкви, и огромный, красивый собор прямо перед собою, почуяв, что полный муки и страха день уже позади, приободрился опять и, глубоко вздохнув, начал приходить в себя.

И вот они возвращаются домой. Кони идут рысью. Варфоломей, подобрав поводья, крепко вцепился пальцами в гриву своего мерина, и только ждет, изредка поглядывая по сторонам, когда минуют городские ворота, когда кончатся последние пригородные избы, когда начнутся поля и перелески, когда, наконец, завиднеют вдали родимые хоромы, где можно будет, соскочив с коня, кинуться в объятия матери и разрыдаться всласть, давая себе отпуск за весь этот долгий, суматошный и мучительно-трудный день.

Вечером он долго и непривычно-взволнованно рассказывал Марии, что в училище и ругают, и бьют, и насмешничают, и поют не так, как дома, и что мальчики часто говорят неподобные слова, и, словом, все там не так, и что он больше не хочет в училище, но, конечно, все равно поедет туда, ежели так нужно матери и Господу, и будет терпеть эту муку так, как терпел поношения от иудеев Исус Христос.

Глава 18

Мало у кого первый день в школе проходит иначе, чем у Варфоломея. Но все привыкают, кто раньше, кто позже, и к распорядку, и к многолюдству, и к самой учебе, находят приятелей, заводят дружбы, начинают слушать и понимать учителя, а не просто смотреть ему в рот. С будущим Сергием, однако, все получилось по-иному.

Решив «претерпеть» училище, с его ужасами, яко древлии страстотерпцы, он начал исполнять свое решение с тем же упорством, с каким когда-то, малышом, забирался на лестницу.

Он не отвечал на приставанья сверстников, нарочито не слушал стыдных шуток и намеков, а в перерывах между уроками строго выстаивал у стены, бормоча про себя молитву. В эти минуты особенно настырно лезущих к нему сверстников Варфоломей попросту отпихивал, а так как он был сильнее многих сверстников, то шалуны, получив несколько раз основательный отпор, начали побаиваться Варфоломея, и предпочитали дразнить его издали, кидая в нелюдимого сверстника кочерыжками и огрызками яблок.

Учился Варфоломей поначалу очень старательно. Он неплохо запоминал сказанное, и вообще был памятлив. Многие молитвы и псалмы Давидовы знал наизусть еще с младенческих лет, не уступал другим и на уроках пения, но главного, грамоты, одолеть не мог. Зубрил (даже ночами снились ему и кричали на него голосом наставника страшные буквы), повторяя по сотне раз: — «Аз, буки, веди, глаголь, добро, есть, иже...» Чертил писалом на своих вощаницах образы всех этих «иже» и «зело», но что-то произошло с ним с самого первого урока, с первого дня учения, почему он никак не мог, а вернее сказать, не хотел из всех этих «они», «суть», «твердо» сложить ни одного, самого простенького слова.

Он скоро понял, что последовательно произнесенные, одна за другою, буквы азбуки составляют вразумительный текст: «Аз (то есть «я») буки («буки» рисуют таким вот значком — «Б», — это он тоже усвоил) веди (ведая, разумея) глаголь (говори) добро есть»... И так далее, до самого конца. Все это легко было запомнить, словно молитву, и он заучил всю азбуку-стихотворение наизусть.

Но когда наставник впервые попросил его прочесть написание «АЗБОУКА», то Варфоломей отчетливо произнес, даже гордясь собою, тем, как быстро он это выучил:

— Аз зело буки он ук аз!

Сзади раздался смех. — «Букион!» — выкрикнул кто-то из его постоянных обидчиков. Варфоломей оглянулся. Краска пунцовым пламенем залила ему щеки. Звенящим от напряжения голосом он упрямо повторил, чеканя каждый слог:

— Аз — зело — буки — он — ук — аз! — И после уже, как ни нудил его наставник, под громкий смех дружины соучеников читал одно и то же, произнося все буквы так, как их следовало читать в азбуке.

Сверстники скоро прозвали Варфоломея «Букионом». Наставник, теряя терпение, лупил его тростью, свирепо совал ему под нос разогнутую Псалтирь, кричал:

— Ну, а слово «Бог» как ты прочтешь?!

И Варфоломей, упрямо закусив губы, с глазами, полными злых слез, глядючи на соединенные титлом знаки «БГЪ», произносил: «Буки, глаголь»... — На что вся классная дружина хором кричала:

— Букион глаголет! Слушайте, слушайте святого Букиона! (От жестокости сотоварищей не укрылось, что «Букион» на всех переменах, стоя у стены, читает про себя молитвы.) А наставник, швыряя в сердцах Псалтирь, снова брался за трость...

На уроках Варфоломей теперь сидел угрюмо и отрешенно, глядя прямо перед собой и пропуская мимо ушей то, что старался объяснить ему учитель. В голове у Варфоломея, под воздействием обиды, ярости,

согласного глумления сверстников и все растущего внутреннего упорства, что-то сдвинулось, — как это часто бывает с детьми, да и не только с детьми, — и весь строй соображения начал идти по замкнутому кругу. В ответ на насмешки, битье и поношения он все тверже затверживал словесные названия букв и все быстрее, уже почти без запинки, вместо «ИСЪХРСТОСЪ СНЪДВДОВЪ (Исус Христос, сын Давидов) произносил: «иже — суть — еры — хер — рцы — суть — твердо — он — суть — еры — суть — наш — еры — добро — ведая — добро — он — ведая — еры».

Стефан, пытаясь ему помочь, почти возненавидел младшего брата. Кирилл брался за сына не раз и не два (с горем признаемся здесь, что дело и до ремня доходило), но отступился, в конце концов, со словами:

— Юрод! Не дана ему грамота!

Мать, Мария, проливая тихие слезы, как могла, успокаивала сына, и тоже пробовала учить его, но Варфоломей упорно вместо «да» читал «добро-аз», сдвинуть его с этого было уже невозможно. В конце концов отступилась и она. Все чаще его, вместо училища, посылали с каким-нибудь хозяйственным поручением. И хотя он исполнял просимое толково и хорошо, но как-то так уже стало считаться, что Варфоломей недоумок, и положиться на него нельзя ни в чем. Не будь он, по счастью для себя, сыном большого думного боярина, его давно уже, за неспособностью, отослали бы и из училища.

Далеко не всем дается научение книжное, и несть в том греха, ежели вьюноша прилежен к труду иному: рукомесленному занятию или науке воинской, приличной боярскому сыну. Да и среди мнихов, молитвенников за грехи людские, не в редкость бывало незнание грамоты. Молитвы и псалмы постигали изустно, как и многое постигалось изустно в те далекие от нас века. Добрый мастер, создающий бесценные творения рукомесла, подчас едва мог начертать два-три буквенных знака своего имени. И не унижало то мастера доброго: талан познается в труде. Другую чашу, изузоренную перевитью диковинных трав, или украшенную тонким золотым «письмом» саблю можно было и не подписывать. Ведь не через книгу, а на деле, от отца к сыну, от мастера к ученику, передавались секреты художества. Можно было и водить полки, и рубиться, и побеждать на ратях, не зная грамоты. То талан особый, умение, коему потребно учиться в поле, верхом на коне, а не в стенах училища. Как разоставить ратных, в какой миг бросить на врага тяжелую окольчуженную конницу, как, судя по ветру и солнцу, располагать лучников в бою, — всего этого тоже нельзя было постичь по книгам. Даже и законы русские, обычное право, — когда и какие и сколько кормов и даней приходит с села, волости, крестьянского двора, — даже и это с юности помнили изустно. Многое, зело многое постигалось без книжного научения! И все же был целый ряд дел, начиная со службы церковной и до посольского труда боярского, в коих без грамоты шагу нельзя было ступить, и боярин Кирилл, мечтавший, как и все родители, в детях своих не только повторить себя, но и превзойти, исправив в их судьбе и их усилиями свои житейские неудачи, приходил в подлинное отчаянье. Избалованный, к тому же, успехами старшего сына, он негодовал и гневал на Варфоломея сугубо еще и потому, что иного пути им, детям обедневшего боярского рода, в жизни не было. Ратный труд ростовчанам зане был заказан, богатого имения на прожиток до конца дней оставить сыну он не мог, а раз так, то грамота, «научение книжное» Варфоломею, чтобы остаться в звании боярском, по мнению Кирилла, были нужны как хлеб и вода. Не отправишь ведь боярского сына крестьянствовать, или заниматься иным каким смердьим рукомеслом! Хотя бывали и такие случаи. Всякое бывало, и тогда, и после, и теперь...

Долго ли пребывал Варфоломей в этом горестном состоянии все-

ми осмеиваемого неуча, не ведаю. Довольно долго, по-видимому, раз об этом продолжали вспоминать много после, уже и десятилетия спустя, и даже само постижение, в конце концов, грамоты Варфоломеем рассматривалось биографами как чудо.

Не будем, однако, ни спорить с современниками Сергия-Варфоломея, ни возражать им, а помыслим о другом: не было ли в этом долгом и трудном искусе отрока чего-нибудь такого, что пригодилось ему впоследствии и что сказалось ко благу в последующей его судьбе?

Было. И сказалось. Вспомним наши детские годы! Всю эту шумную толпу сверстников, заборные надписи и слова, которые стыдно было не знать, буйные игры, в коих стыдно было не принять участия. Вспомним и хорошее и плохое, и согласимся, что над всеми нами тяготело всевластие школьного товарищества, «тирания толпы», и что иногда мы, каждый в отдельности, были куда лучше, чем все, вместе взятые, в куче, в которой жестокость подчас почиталась доблестью, а раннее пристрастие к взрослым порокам было овеяно ореолом романтики и пленительной тайны. Вспомним и еще одно: сколь редко попадались среди нас такие, кто умел и сумел воспротивиться этому дружному натиску «всех», противопоставить свое мнение, поступок, поведение мнению и поступкам большинства.

Да, и тирания толпы к чему-то да приучает! Вырабатывает твердоту характера, умение стоять на ногах в жизненной борьбе, умение скрывать свои чувства, грубоватое мужество. Но какою ценою даются нам все эти завоевания! И что было бы с нами, не будь рядом матери, с ее любовью и лаской, отца, с его непререкаемым авторитетом, старшего брата, наконец, который прошел уже весь искус и противопоставил ему что-то свое, глубинное, твердое: «твердыню против твердыни и крепость противу крепости». Дома или в толпе вырабатываем мы свое, непохожее на прочих, лицо? Увы! Чаще, ежели не всегда, дома, в семье. А там, в дружине орущих школьников, наше внутреннее «я» лишь закаляется, подвергаясь опасностям унижения и уничтожения до полной неразличимости от прочих, вернее сказать, от того примитивного уровня, коего требует от каждого воинствующая тирания толпы.

И, может быть, Варфоломея как раз и спасла от подавления средою его неуспешливость в занятиях! Его слишком рано, а попросту сказать, сразу, выделили, отпихнули от себя насмешками и презрением сотоварищи, и тем самым невольно дали Варфоломею уцелеть, укрепиться в себе. Искус стать «как все» его миновал. И даже небрежение брата (самое страшное испытание для юного отрока), и гнев родительский в чем-то помогли Варфоломею, помогли отвердеть и закалиться характеру его.

Мыслю, что не будь этого искушения, юный Варфоломей все равно, в конце концов, пошел своим, предназначенным ему от рождения путем. Но, как знать, был ли бы тогда его путь столь прям и неуклонен, столь упруг и стремителен, словно полет выпущенной сильной рукою опытного воина боевой стрелы?

Возблагодарим же вышний промысел за все, и за трудности тоже, выпавшие на его (и на нашу!) долю. Быть может, искус надлежит испытать всякому, и без одоления трудноты не станет и радости свершения, точно так, как сытому нет великой услады от вкушения ястів, а без тяжкого восхождения на высоту не почуешь и самой высоты! И не кроется ли в велении: «В поте лица своего добывать хлеб свой» — глубочайшей мудрости? Наказание ли это было, человеку данное, или нить Ариадны, звезда путеводная, единственно охраняющая нас всех от исчезновения в пучине времен?

В поте лица своего! С крайним напряжением сил! Всегда, и во всем, и всюду! Ибо расслаба телесная, как и духовная лень, несут человечеству только одно — вырожденье и гибель.

Глава 19

Скажем ли мы, что ни томление и небрежение от учителя своего, ни укоры и брань родительская, ни поношения дружины соучеников не согнули, не ввели в отчаяние Варфоломея, что он не утерял ни надежды, ни веры, ни стараний своих не отринул, и упорно ревновал одолеть премудрость книжную? Что поэтому лишь и произошло все, позже названное чудом, ибо каждому дается по вере его?

Нет, не скажем. Не изречем неправды, хотя бы и красивой.

Было детское безвыходное отчаяние и томление духа, до потери веры, до ропота к Господу своему. Бог такой большой и сильный, Бог может содеять все! А он, Варфоломей, такой слабый и маленький. Разве трудно Богу помочь Варфоломею? Поддержать, ободрить его, наставить на путь... Или Бог не добр? Или не всесилен? Зачем же тогда он?!

А они все: наставник, брат Стефан, батюшка, даже мать... Как они могут? Почто помыкают им, смотрят, как на недоумка? Словно он дворовый пес, а не человек, не сын и не брат им всем! И пусть он умрет и будет лежать в гробу недвижимый, как та маленькая девочка с восковым ликом. И придет отец, и мама, и Стефан встанет у гроба, и тогда, только тогда они поймут, пожалеют и, быть может, заплачут над ним!

Искус неверия должен пройти каждый верующий. И вряд ли на нелюбимых родичей когда-нибудь обижались так, как обижаются на любимых. Кто не терзал порою материнского сердца? И кто не роптал на Господа, спрашивая: почто он допускает преуспеяние злых, и неправду, и ложь, и жестокость, и горе, почему спокойно взирает на мучения бедных и добрых в этом мире? Почему не исправляет то, что натворили люди по жестокосердию своему? Кто, в самых жестоких муках, или при виде гибели детей своих, любимых и близких, кто хоть раз не возроптал и не усомнился в сердце своем? Кто в сей миг отчаянья и злобы воспомнил строго и трезво, и повторил бы в сердце своем молитву, которую затверживал с детства и повторял по всяк день без мысли уже, а просто по привычке, ибо молитва эта — «Отче наш, иже еси на небесех...» — единственная, оставленная нам самим Господом, самим Иисусом, и сохраненная в евангельском рассказе. Все прочие сочинены много позже, людьми, пусть и святыми, но людьми! Кто, повторим, вспомнил эту молитву в час сомнения и вопросил себя: есть ли там, содержится ли в ней, в единой, оставленной Господом молитве, просьба о чуде и о помощи?

«Отче наш, иже еси на небесех! (Не на земле!) Да святится имя твое, да приидет царствие твое. (Да приидет, то есть еще не пришло!) Да будет воля твоя, яко на небеси и на земли. (Да будет — в будущем!) Хлеб наш насущный даждь нам днесь. И остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим. (То есть: дай, Господи, то, что имеем уже, и яви милость к нам в меру нашей милости к ближнему своему, но не больше!) И не введи нас во искушение. Но избави нас от лукаваго». (Значит, есть и искус, есть и «лукавый», есть сила иная, чем сила правды и добра.)

Не заповедал тот, кто наделил человека свободой воли, просить заступы и обороны у Господа своего! Токмо душевного укрепления, дабы не свернуть со стези многотрудной. Прочее явил Христос образом жизни своей, крестного пути и муки крестной.

Искус неверия должен пройти каждый верующий, дабы понять, поверить, и утвердиться в вере своей.

. . . .

В этот день Варфоломея послали искать коней. С облегчением и горечью (не надо было ехать в училище, но и с тем вместе понима-

лось не сказанное словами: — юрод, что с него взять!) Варфоломей опоясался веревкой и побежал в отгонные поля. Он миновал рощу и луг. Коневое стадо обычно ходило о-край раменья, но сейчас тут и знатья не было, что кони где-то близь. Он прислушался — слабый звук колокола как будто доносило со стороны Митюшиной гривы.

Варфоломей ловко съехал по крутосклону в овраг, выкарабкался на ту сторону и пошел краем поля, вдоль поскотины. Однако, поднявшись на Велесов холм, колокола не услышал, и заворотил по березнику к Коровьему ручью. Не обретя коней и там, выбрался, порядочно запыхавшись, из чернолесья опять в луга и тут, под святым дубом, увидел молящегося незнакомого старца, судя по платью и обличью — пресвитера.

Варфоломей сперва намерился тихонько пройти мимо, чтобы не помешать страннику, тем паче, что старец молился истово, ничего не замечая вокруг. Потом в нем шевельнулась недобрая мысль подкрасться поближе и наставить молящемуся рога, как делали озорники из деревни. Но когда Варфоломей подошел ближе, его поразило лицо старца. Редко видал он на лицах молящихся столько углубленного в себя мудрого спокойствия и тишины. Казалось, и птицы примолкли в сей час, и листы остановили трепетное движение свое, и солнечные лучи, пронизавшие тонкую преграду листвы, упадая на суконную скуфью и плечи монаха, претворялись в сияние, овеявшее мудрый старческий лик в потоках легкого серебра, чуть тронутого по сторонам чернью.

Варфоломей, еще даже не отдавая себе отчета в том, что делает, подошел к пресвитеру, стараясь не шуметь, и стал посторонь, молитвенно сложив ладони и опустив голову.

Солнце, пятнами, золотило траву. Тонко, чуть слышно, пели лесные мухи. Негромко верещали кузнечики, и мелкие мураши хлопотливо сновали в глубоких трещинах дубовой коры, что-то добывая и перетаскивая. Варфоломей, в этот миг, ничего не просил, и ни о чем не думал. Он даже и не молился, просто стоял и ждал. Глубокий покой охватил его всего, и в покой этот мягкими волнами входили: солнечный свет, тихое жужжание насекомых, шевеление листвы, — когда лица касалось едва заметное веяние воздуха, — входили, растворяя и незримо унося то горестное отчаяние, в котором Варфоломей пребывал теперь почти постоянно.

Старец, окончив молитву и возведя очи, с легким удивлением заметил мальчика и оборотился к нему. Какой-то миг оба не двигались. Отрок все так же стоял со сложенными для молитвы руками, доверчиво глядя на старца ясным взором, и тот, наконец тихо улыбнувшись, наклонился и, перекрестив, поцеловал ребенка.

— Чего ты просишь у Господа? — спросил странствующий пресвитер. Варфоломей встрепенулся:

— Я? Я ничего... так... — пробормотал он, краснея, запоздало устыдясь своей давешней мысли наставить старцу рога. Он ведь и верно, ничего не просил, совсем ничего, и ни о чем даже не думал!

И тут только, в этот самый миг, проснулась в нем давешняя боль, и он выпалил, сам удивясь сказанному столь смело:

— Грамоте не умию! Помолись, отче, за меня!

Старец обозрел отрока внимательней, приметил, что перед ним, хоть и в посконине, однако не простой крестьянский сын, и вопросил:

— В училище ходишь?

Хмурая тень пробежала по лицу отрока. Варфоломей кивнул, не отводя глаз от старца. Монах помолчал, понял что-то про себя, потом, воздев руки и подняв очи к небу, глубоко, от сердца, воздохнул и начал вновь прилежно читать молитву.

Варфоломей, уразумев, что молитва эта о нем, о его учении, стоял весь как натянутая тетива, боясь даже дышать. Он не чуял ни тела, ни ног, ни рук своих, а весь словно парил, недвижно вися над землею, и только сердце горячими «тук, тук, тук», звоном отдавая в уши, являло ему, что он еще живой и здешний, а не готовится улететь в небеса.

Старец наконец произнес «аминь», извлек из пазухи кожаный плетеный ка́вчежец, и оттуда бережно, словно некое сокровище, тремя перстами достал малый кус пшеничного белого хлеба, видом похожий на анафору или антидор (остаток причастной просфоры), и подал Варфоломею со словами:

— Разверзни уста своя, чадо! И прими, и съешь! Это тебе дается знамение благодати Божьей и разумения святого писания!

Варфоломей, словно завороженный, открыл рот, продолжая во все глаза глядеть на старца.

— Хоть и мал сей кус, но велика сладость вкушения его! — серьезно примолвил старец, опуская просфору в рот отроку. Варфоломей прижал ее языком к нёбу, ожидая, пока рот наполнится слюной, и вправду ощутил медовую сладость от кусочка съеденного им хлеба.

— Отче! — сказал он, охрабрев. — Мне всего слаще изреченное тобою... — Варфоломей приодержался, слегка запутавшись во взрослой фразе, которую надумал сочинить, и докончил скороговоркой: — Про письмена!

Получилось не совсем хорошо, и потому он, подумав и вспомнив сравнение из псалма Давидова, присовокупил: — Слаще меда!

— Веруешь, чадо, и больше сего узриши! — отмолвил, улыбаясь, старец. — А об учении письмен не скорби. Знай, что от сего дня дарует тебе Господь доброе разумение грамоты, паче, нежели у братьи твоей в училище! — Чуть заметная улыбка при последних словах показала, что старец догадывается об училищных бедах Варфоломея. — И запомни, сыне, что гневать не стоит ни на кого, токмо отемнишь душу свою напрасною горечью. Господь повелел всякому человеку добывать свой хлеб в поте лица своего! Не ропщи и, паче всего, не завидуй другому! Даст и тебе Господь, в пору свою, воздаяние по трудам! Открытым сердцем больше постигнешь в мире, станешь лучше понимать людей. Доколе гневаешь, только и видишь себя самого, свое горе, свою обиду, а не того, другого, своего супостата мнимого! Высечет родитель, горько! Подчас и умереть захочешь, а воззри, — почто родитель гневает? Токмо хотяше добра сыну своему! Дабы продолжил деяния родителя своего со славою, дабы на полных летах и сам был благоуспешен и праведен, и своих бы детей наставил на добрый путь, дабы свеча рода твоего не погасла! Что дашь ты отцу и матери за все их труды неусыпные? Ничего не возможешь, ибо к возрастию твоему уже отойдут в лучший мир. Ты вечный должник пред ними, а такожде и пред каждым, чей труд дает тебе еду и питье, и кров, и одеяние, и научение книжное!

Варфоломей слушал, кивая головою. Он знал, что старец говорит мудрые слова и не обманывает его, но... как страшно было расстаться с ним и... и вновь эти непонятные «зело» и «твердо»! Посему, едва старец повернулся, сбираясь уходить, Варфоломей, с мгновенным безотчетным отчаяньем, кинулся перед ним на землю и, со слезами, тычась лицом в траву и простирая руки к стопам пресвитера, стал сбивчиво и горячо умолять того не уходить, погостить у них в доме, уверяя, что и родители будут рады, что таковых гостей любят и привечают у них в доме, и пусть он не гребует, и не погнушает, и не пострашит, и... Чего только не говорил испуганный малыш!

Старец поднял и успокоил отрока, коего, понял он, нельзя было оставлять в таком состоянии, взял за руку, и они пошли полем, потом перелесками, мимо поскотины, к дому.

Горячая ладошка мальчика цепко ухватилась за шершавую ладонь старика. Варфоломей боялся отпустить гостя даже на миг, даже когда им пришлось перелезать через прясло поскотины.

Сияющая рожица Варфоломея, когда он вводил, наконец, гостя

в дом, была столь красноречива, что отец, поглядев внимательней, забыл спросить о конях.

Время было близко к обеду, и потому вся семья — Кирилл, Мария, Стефан, старший оружничий Даньша и ключник Яков (эти были почти как члены семьи), старуха-тетка, двоюродница Кирилла, и маленький Петруша с нянькою — была в сборе. В горнице хлопотали, накрывая столы, несколько слуг. Стефан только сморщил нос, буркнув:

— Так и знатье, что без коней воротит!

Кирилл, по облику и осанке догадав, что странствующий пресвитер достоин всяческого уважения (да и недаром Варфоломей так крепко держится за руку гостя!), пригласил старца к столу. Гость, однако, отстранив родителей, твердым шагом, ведя за собою отрока, прошел в моленный покой. «Будет петь часы перед трапезою!» — догадался боярин, и отдал слугам, которые готовились было уже внести в горницу дымящийся котел с ухою, распоряжение погодить. Яков с Даньшею переглянулись и крякнули, старуха-двоюродница, поглядев вослед старцу, значительно и крепко поджала рот, две незаметные видом странницы-богомолки, ожидавшие в углу дарового боярского угощения, опустили очеса и скромно перекрестились.

Меж тем, как только они остались одни в моленном покое, старец, поискавши глазами, нашел большую домовую Псалтирь, и утвердил ее на аналое перед очесами отрока.

— Восьмой псалом знаешь? — вопросил он.

— Знаю! — зарозовев, ответил мальчик, глядя на «своего» старца сияющими глазами. Улыбнувшись слегка, старец разогнул листы и указал мальчику:

— Чти!

— Не умию... — начал было, оробев, Варфоломей.

— Чти! — настойчиво повторил старец. — Не сомневайся! С сего дня Господь даровал тебе умение грамоты! Чти певческим гласом, како умиешь, тако и чти!

Отрок смятенно посмотрел на старца, после в книгу, шепотом повторяя про себя начальные слова псалма, и снова смятенно в доброе, мудро-терпеливое лицо и опять в книгу, и уже вслух, в полгласа, веря и не веря, повторил слова псалма, с удивлением обнаружив вдруг, что вместо непонятных «глаголь», «он», «суть», «иже» — перед ним, теми же знаками, изображены знакомые ему издавна слова: — «Господи, Господь наш, яко чудно имя твое по всей земли, яко взятся великолепие превыше небес»...

Он смятенно глянул на старца, но тот лишь склонил голову, поощрив мальчика, и тогда Варфоломей, словно кидаясь в холодную воду, ощущая, как мурашки боязливого восторга потекли у него по всему телу, запел знакомый псалом, едва поспевая водить глазами по строкам, и буквы, непонятные буквы, ожили! Стали складываться послушно в слова, в те самые слова! И уже он едва поспевал следить за ними, боясь отстать, боясь утерять столь чудесно обретенное умение свое. А старец, с мягкою добротою глядя на мальчика, молча слушал, и лишь когда подошло время, перевернул страницу Псалтири, поощряя отрока к продолжению.

На следующем псалме Варфоломей было сбился, но и тут помогло прежнее знание,— вся Псалтирь была у него на слуху,— и молчаливое старцево поощрение. Снова забыв про «буки», «твердо», «зело», — он начал просто следить по буквам, и, доселе непослушные, они опять стали чудесно слушаться, складываясь во внятные строки.

Минул час. Уже Кирилл, сжалившись, наконец отдал распоряжение подавать на стол и кормить всех, оставив старцу с Варфоломеем и себе подогретые блюда, уже слуга заглядывал украдкою в моленную, где продолжалось и продолжалось звонкое детское пение, коему иногда начинал вторить глубокий, с чуть заметною хрипотцою, голос пресвитера. Уже и второй час был на исходе. Уже и сам хозяин, слегка покашливая, подходил к дверям иконного покоя. Варфоломей взмок от усердия, у него все получалось! Он читал часы, и снова буквы сами складывались в слова, снова пел, и послушные буквы бежали в лад пению. Он уже начинал удивляться не тому, как это получается у него, а тому, как это оказалось просто, само собою!

В очередной раз старец, ласково огладив по голове, остановил его и подал другую книгу, разогнув ее посередине, на киноварной заглавной строке. Варфоломей сбился, было, начав свое: «веди», «еже», «зело», «глаголь», но опять, поглядев в лицо старцу и почти прижмурясь, набрал духу и, охватив слово разом, выпалил: и затем, хоть и не так бойко, как знакомый псалом, запинаясь перед каждым словом, но вновь и вновь охватывая его целиком, начал произносить, читать, слово за слово, все резвее и резвей. Тем паче, что и это оказалось знакомо, слышано уже, — это было «Слово о пасце» Василия Великого, — и, читая-вспоминая, Варфоломей уже начал сливать прыгающие слова, связнее и связнее выговаривая целые строки древнего поучения.

— Будет! — остановил его, наконец, старец. — Приодержись, отроче, и помни, что без страха, но с молитвою и упованием о Господе приступая к чтению, и всякое написание отныне осилишь!

Варфоломей молчал потрясенно, бледный от восторга. В дверь вновь заглянули. Старец кивнул и, ведя за руку мальчика, пошел в столовый покой, где уже давно слуги ждали с прибором и мисами, и где Кирилл распорядился к прежним обычным блюдам, поданным странника ради, добавить иные, от своей боярской трапезы, и теперь с внутренним нетерпением ждал гостя, с которым намерился, — заранее проникшись почтением к захожему пресвитеру, — истово потолковать о судьбе своего среднего отрока.

Глава 20

Гость ел вдумчиво и медленно. Однако съел очень мало и самой простой пищи. От изысканных яств отказался молча, мановением руки. Чуялось, что для него жизненные услады меньше всего заключены в еде, равно как и в прочих утехах плоти.

Кирилл с Марией со скрытым нетерпением ждали, когда достойный муж закончит трапезу. За столом их было всего трое. Варфоломея услали в челядню, прочие сотрапезники уже отъели и покинули покой.

Гость наконец, испив квасу, поднял взор на боярскую чету, увидел ждущие глаза хозяев и слегка не то, что улыбнулся, а как бы на мгновение прояснел ликом.

— Мыслю, об отроке сем вопрошание ваше?

Волнуясь, перебивая и поправляя друг друга, Кирилл с Марией поведали старцу о чуде, совершившемся в храме, и о странном поведении сына, не скрыв и полной его неуспешливости в постижении грамоты.

— Чла ли ты, дочерь моя, в Евангелии от Луки, яко святый и великий пророк и предтеча Христов Иоанн, еще будучи во утробе матерни, познал Господа, носимого в ложеснах пречистой приснодевы Марии, «и взыграся младенец радощами во чреве»? Воспомни, что и пророка Иеремию Бог избрал от чрева матери, сие же свидетельствует о себе и Исайя пророк...

— Отче! — зарозовев, возразила Мария.— Но ведь Иоанн воскликнул устами матери своея, Елисаветы!

— Дочерь моя! — мягко упрекнул ее старец. — Несхожи между собою даже и цветы полевые! Почто же ты, сомневаясь в дитяти своем, мнишь, что Господь должен был ознаменовать судьбу его и Иоанна Предтечи одною и тою же метой?

Старец был прав. Мария вздохнула и опустила взор:

— Прости, отче, сомнение мое!

— Запомните оба! — с мягкою настойчивостью повторил пресвитер, озирая супругов. — Знаменья, данные накануне рождения отрока сего, свидетельствуют о том, что рожденный от вас есть сын радости, а не печали. И три возгласа его славили трипостасное божество, иже есть Отец, Сын и Дух Святый в едином лице — славили святую Троицу!

Когда-то почти то же самое толковал им знакомый батюшка. но поучения его почему-то не ложились на сердце так, как поучения нынешнего старца. И все же оставалась, не проходила некая толика недоверия и к его словам. Родители притихли, нерешительно поглядывая на гостя. А тот пригорбился, по времени кивая головою, словно о чем-то думал и разговаривал сам с собой. Потом поднял взор и поглядел твердо:

— Радуйтесь таковому детищу, а не страшитесь! Бог избрал вашего сына прежде рождения его. И вот вам знамение: уйду, станет он разуметь грамоту и книги святые честь добре и разумно.

Кирилл с Марией переглянулись, не в силах поверить, но не смея и выразить сомнений своих.

— Будет ли конец сему? — воскликнул, решась, почти с отчаяньем, Кирилл. — Или что и вперед еще совершит странное с отроком сим?!

Старец вздохнул, делая движение подняться и протягивая руку за дорожным посохом своим. Во взоре его уже возникло то остраненное, «далекое» выражение — как будто сквозь стены хоромины повиделись ему незнакомые дальние дали, — которое проявляет себя в лице странника после краткого отдыха при дороге перед первым, самым тяжелым шагом в безвестность грядущего пути.

Восстав и оправив платье, он приодержался на миг, торжественно возгласив:

— Сыне мой! И ты, дочерь моя, запомните! Первое — отрок сей, с часа этого, будет знать грамоту. Второе — будет он велик перед Богом. И третье — сын ваш станет обителью святыя Троицы!

Последнего ни Кирилл, ни Мария не поняли толком, но оба почуяли враз, что вопрошать более неведомого гостя неможно, и только враз поклонились осеняющей руке страиника.

Гость мерным шагом покинул покой. Была минута замешательства, токмо минута! После коей оба родителя согласно выбежали вон, вслед старцу, догнать, проводить, еще расспросить перед дорогою... Но старец уже успел уйти со двора. А выглянув за ворота, они увидели лишь сияющий день, кур, нетревожимо рывшихся в пыли, небо с одиноким белым облачком, невесомо тающем в аэре... Но уже нигде не узрели прохожего пресвитера. То ли он завернул за угол дома, то ли перешел через дорогу, в кусты, то ли вовсе повернул в иную сторону? Да и был ли он?! Не ангел ли Божий в образе старца бысть послан в дом боярина Кирилла, дабы наставить и укрепить будущего великого подвижника Святой Руси? И сшед с небес, исполнив назначение свое, исчез невестимо, растаял в небесной лазури?

Был! Приходил, и молился под дубом, и пожалел, и научил мальчика, ибо мудрым опытом жизни своей враз уразумел, какую беду терпит отрок Варфоломей, и как ему надобно помочь в его горе. Был наставник! Был прохожий человек, коему мы и теперь поклонимся земно! Пусть с миром и нерушимо почиют кости его где-то в родимой нашей земле!

Был наставник. И высшим промыслом означено, чтобы он был всегда! Приходит час, когда и родители не имеют власти над дитятею, и нужен, надобен наставник добрый, чья воля и пример означат начало пути, укажут стезю многотрудную, по которой каждому должно пройти, не сбиваясь и не плутая, дабы достигнуть завещанного ему от рождения судьбой.

Помыслим же о наставниках своих! Добрых наставниках (злые не в счет, ибо посланы они не от света — от тьмы). Все ли заветы их исполнены нами? Все ли, что могли, и, значит, должны мы были свершить по заветам их, нами свершено и достигнуто? С горем признаемся себе мы, многие, что ленились или робели идти неуклонно указанным ими путем! Помню и я, как сидел, юношей, в каменной сырой палате пред стариком глухим и убогим, который был подлинно велик в науке своей, и перед ним, в ящиках, лежало все его добро — единственное в мире собрание манускриптов редчайших... И слушал его, дивясь и ужасаясь многотрудному пути ученого, и знал, подлинно знал, что и мой это путь! А в отверстые окна входил теплый ветер, и радостные крики неслись от реки, и чудо дня, мгновенная радость минуты, лукавый взгляд где-то там, на солнечном берегу, отвращали меня от предназначенной судьбою стези. И вот я послушался ветра, — где он теперь, теплый ветер тот? И радостей дня,— куда сокрылись они? И лукавых очей, взгляд которых мелькнул и угас в дальней дали умчавшихся лет! И не выбрал стезю, по которой тоскую теперь, на исходе годов, ибо есть только Путь, остальное же все — лишь преграды на пути да обманы!

И только на склоне лет, не свершив и малой толики того, что мог и, значит, должен был свершить и я, и другой, и каждый, начинаешь с тоскою понимать, сколь счастливы те, кто уже в юности не изменил судьбе и не погнался за счастьем! Кто враз и навсегда выбрал свой путь, и шел по нему от истока лет и до конца, не сбиваясь и не уставая, так точно, как шел по своему пути, во младенчестве начатому, отрок Варфоломей.

. . . .

В тот же день, ввечеру, Мария и Кирилл со страхом, а Стефан с изумлением, слушали, как Варфоломей, сбиваясь, путаясь и краснея, но довольно бегло и споро читает святое Евангелие.

Глава 21

Не пришлось изучать Варфоломею ни риторики, ни красноречия, ни греческого языка. Новая беда пронеслась над городом Ростовом, сокрушив, походя, ихний боярский дом и заставив невезучую семью искать пристанища в иных землях.

. . . .

Свадьбу юного князя Константина Васильевича с Марией, дочерью Ивана Даниловича Калиты, справляли пышно. Молодых от самого собора до теремов вели по красным коврам. Радовались неложно, чая от московского великого князя заступы и обороны по нынешней неуверенной поре: всего год назад страшно разгромлена Тверь, излиха досталось от проходящей Туралыковой рати и ростовским украинам. Нынче и самые упорные доброхоты тверских князей притихли, выжидая, — что ся содеет? Как повернет оно под новою, московской рукой? И то, что князь Иван вскоре купил у хана ярлык на Ростов, мало кого испугало поначалу. Ну что ж! Пущай сами попробуют с мыта, да с весчего, да с лодейного, да с повозного, опосле Шевкалова раззору получить поболе наших даньщиков да бояр! Земля разорёна, в торгу скудота, сами ся убедят, дак посмирнее станут той поры! Так и встретили первых московитов: престарелого боярина Кочеву с дружиной. Постойте-ка сами у мыта! Пособирайте дань татарскую! А мы — поглядим!

Когда Мина с молодцами вступил в Ростов, Кирилл был у себя в загородном поместье. Гонец от Аверкия примчал в потемнях, когда уже в доме сряжались опочивать.

Кирилл с неохотою оболокся, застегнул серебряный пояс и, отмахнув головою на заботное вопрошание встревоженной Марии: — «Московиты чего-сь-то шумят, купили ярлык, дак и нейметце теперя!» — полез на коня. Все же встревожен был и он. Стефану, что тоже было намеривал скакать с отцом, непривычно строго велел сидеть дома; холопам, что сопровождали господина, приказал вздеть брони и взять

оружие; Даньше поручил разоставить сторожу ради всякого случая, не сказав, впрочем, какого и против кого, и что делать, ежели нагрянет и впрямь какая ратная сила?

На вечереющей дороге затих топот копыт. Потянулись часы, полные ожидания и смутной, немой тревоги. Мария, уложив детей, так и не легла, молилась, волнуясь все больше и больше. Обещанный Кириллом ратник так и не прискакал, и в доме не знали, что тотчас вслед за тем, как Кирилл с провожатыми достиг Ростова, московиты переняли все ворота и назад из города не выпускали уже никого.

Кирилл в улицах дважды натыкался на оружные отряды московитов, все еще не понимая, что происходит во граде? Беда? Какая? То, что московские бояре порешили, оцепив город, силою собирать серебро для князя Ивана,— такого помыслить Кирилл и вовсе не мог.

Градского епарха, Аверкия, в его тереме он не нашел. На широком дворе суетились в потемнях люди, трещали факелы. Кто-то, пробегая, повестил, что господин поскакал на княж двор, где остановились московские бояре. Кирилл решительно повернул коня к терему князя Константина. Но, не доезжая площади, они наткнулись на рогатку. Московские ратные с руганью остановили Кирилла. Заставили слезть с коня, долго выясняли, кто и зачем? К теремам допустили его одного с одним пешим холопом и без оружия. Прочих Кирилловых ратных решительно заворотили назад. Тыкаясь у коновязей, пробираясь и оступаясь в долгой своей выходной ферязи, сквозь смятенную толпу нарочитых граждан, собравшихся перед теремами, Кирилл растерял весь свой гнев и решительность, с какой кинулся было несколько часов назад на подмогу Аверкию. Когда повестили, что молодого князя со княгиней нет в городе, ему стало совсем зябко, и уже он в безотчетном желании бегства искал глазами холопа своего, все еще не понимая, что же творится тут, и какая беда собрала ночью у теремов почитай всю городскую старшину? Когда ты привык быть при оружии и в почете, ведать за спиною дружинников, что послушно лягут костьми за своего господина,— вдруг оказаться одному, обезоружену, зажату в испуганной полоненной толпе не то ходатаев, не то жалобщиков,— ужас охватит и не робкого. Где Аверкий? Где иные думные бояре ростовские?! Наконец отыскались двое знакомцев, но и они не ведали ничего.

Нестройной толпою меж двух рядов ощетиненных железом московитов они были пропущены, наконец, в думную палату. В уши бросился хриплый, надсадный крик Аверкия:

— Не позволю!

И едва успел уяснить себе боярин Кирилл, что же происходит во граде, едва успел разгневать на самоуправство московских бояр,— а все казалось: надобно только отыскать князя Константина, повестить ему да пасть в ноги великому князю Ивану Данилычу, и само собою будет исправлено днешнее непристойное нестроение; московитов уймут, и всё воротит на своя си, по старине, по обычаю, како от дедов-прадедов надлежало... Того, что сейчас, тотчас, Аверкия нелепо повесят за ноги, стремглав, головою вниз, не знал, не мог и помыслить такого боярин Кирилл, и когда свершилось, когда маститый старец повис перед ними с разинутым ртом и задранною бородою, с павшими на плечи полами долгой боярской сряды, непристойно обнажив пестротканые порты на дергающихся худых старческих ногах, когда достиг его ушей булькающий хрип и взлаивающий кашель главы городского,— в глазах Кирилла поплыло все, и, наверно, имей он оружие при себе, невесть что и створил бы, ибо паче смерти позор и глум, паче смерти! Но рука не нашарила на поясе дорогой сабли, снятой давеча за рогаткою и отданной своим холопам, и — ослабла рука, и задрожали и подогнулись ноги, и рыдающий вопль исторгся из груди, а кругом также падали на колени, также молили пощады... Перед лицом наглой торжествующей силы, потерявши достоинство свое, они теперь соглашались на все — на грабеж и поборы, лишь бы уцелеть, опять уцелеть, опять отсидеться за спиною сильного, дозволяя ему творить с собою все, что захочет...

Домой воротился Кирилл утром, пьяный от устали и ужаса. В глазах все стоял кровавый лик Аверкия, уже снятого с веревки. Из ушей старика текла кровь, а глаза, в мутной, кровавой паутине, почти уже не видели ничего...

Его трясло, когда он слезал с коня. Мария только от ратных дознала, что и как створилось во граде.

...И когда назавтра пожаловал к ним в поместье сам Мина с дружиною, Кирилл только глухо отмолвил жене, кинувшейся к супругу:

— Доставай серебро!

Он и здесь, однако, не понял, не сумел постичь до конца тяжкого смысла происходящего. Вздумал откупиться, выплатить серебряный долг драгою рухлядью,— не тронули б родового добра! Кинул четыре связки соболей (Мина взял, не поморщась), сам вынес бесценную бронь аравитской работы, мысля дать ее в уплату ордынского выхода.

Драгая бронь тяжелым, жарко горящим потоком излилась и застыла на столе. Синие искры, холод харалуга и жар золотой насечки на вогнутых гранях стальных пластин, покрытых тончайшим письмом, серо-серебряная чешуя мелких колец, слепительный блеск зерцала... Ратники смотрели, ошалев. Мина странно хрюкнул, набычась, сделал шаг, и вдруг, твердо положив руку на бронь, выдохнул глухо:

— Моя!

Кирилл глянул на широкого в плечах москвича с высоты своего роста, чуть надменно, и, помедлив, назвал цену брони в новгородских серебряных гривнах. Мину дернуло, он повел головою куда-то вбок, рыжими глазами яростно вперясь в ростовского великого боярина, хрипло повторил:

— Моя! — И, в недоуменное, растерянное, гневное лицо Кирилла выдохнул: — Беру! Так! — Он когтисто сграбастал бронь, чуть согнувши над нею толстые плечи, повторил яро и властно: — Так беру! Даром! Моя!

Ратники, рассматривавшие бронь, восхищенно цокая, приобалдев, раздались в стороны, глядючи то на своего, то на ростовского боярина: — «Что-то будет?» — Голубые очи Кирилла огустели грозовою синью, казалось... Показалось на миг... И волчонок, старший ростовского боярина, вывернулся было, — не в драку ли готовясь,— в пахучую густоту мужских тяжелых тел, тяжкого злого дыхания ратных. Но вот угасли синие очи ростовского боярина. Голова склонилась на грудь, и голос упал, теряя силу и власть, когда он вопросил москвича затрудненно:

— По коему праву, боярин?

— Праву? Праву?! — повторил, якобы не понимая, Мина.— Праву? — выкрикнул он, сжимая кулак.— Не надобна тебе бронь! Вот! — Он потряс кулаком перед лицом Кирилла.— На ратях бывал ли когды? С кем вы, ростовчане, ратились доднесь? Бронь надобе воину! Оружие какое — отбираю! Моим молодцам, вот! — выкрикнув, он повел глазами, и округ него враз довольно загоготали и — двинули, и начался грабеж!

— Не замай! — выкрикнул еще раз Мина, сильно толкнув в грудь Кирилла, не хотевшего отступить. Ратники уже ринули в оружейную. Кирилловы кмети*, кто растерянно, кто гневно взглядывая на своего господина, нехотя, под тычками и ударами московитов, расступались посторонь. И уже те несли шеломы, волочили щиты, копья, колчаны и сулицы, радостно оборужаясь даровым боярским добром. Это был грабеж уже ничем и никем не прикрытый, разнузданное тор-

* Кмети — воины.

жество силы над правдой. И высокий, красивый ростовский боярин вдруг сломался, потерянно согнул плечи и, закрыв руками лицо, выбежал вон. И не то даже убило, срезало его в сей миг, что у него на глазах грабят самое дорогое, что было в тереме, что теперь уже и даней не собрать ему, не выплатить без «насилования многого» дани немчучей, — проклятого ордынского выходного серебра, — а то, что московский тать сказал ему горчайшую правду: воинскую украсу свою натягивал на себя Кирилл многажды на торжественных выходах и выездах княжеских, в почетной стороже, на встречах именитых гостей, но так никогда, ни разу во всей жизни, не привелось ему испытать драгую свою бронь в ратном бою! И в этом горьком прозреньи, в стыде, укрыл боярин Кирилл лицо свое от слуг и сына Стефана, коего сейчас свои же холопы оттаскивали за предплечья — не натворил бы беды на свою голову, невзначай,— укрыл лицо и сокрылся, убежал, шатаясь, туда, в заднюю, где и рухнул на ложе, трясясь в задавленных рыданиях...

Варфоломей в этот час бессовестного разгульного грабежа бродил один по дому, среди перепуганных суетящихся слуг и шныряющих там и тут московитов, спотыкался о вывороченные узлы с рухлядью, сдвинутые и отверстые сундуки. Со страхом зрел, как мать, с пугающе-тонким, в нитку сжатым ртом, с запавшими щеками, с лихорадочно светящим взором на белом бумажном лице, разворачивала портна, открывала ларцы, словно чужое чье-то кидая в большой расписной короб серебряные блюда и чаши, драгие колты и очелья, перстни и кольца, и даже, морщась, вынула серебряные струйчатые серьги из ушей и, не глядя, кинула их, невесомо-сверкающие, туда же, в общую кучу домашнего, и уже не своего, серебра...

А там, вдали, на деревне, куда ушла запасная дружина москвичей, тоже вздымался пронзительный вой жёнок, и блеяние, и мычанье, и испуганное ржанье уводимых коней, и звонкое хлопанье дверей, и крики, и гомон... Каждый московит уводил с собою по заводному коню, иной и другую какую скотину прихватив: — В Ростов послали, дак не зевай! Князю серебро, а кметю конь. да справа! Тем и рать стоит! А бабы, глупые, дуром верещат, — татары бы тута и их самих во полон увели!

Жрали, пили, объедались, резали чужую скотину, торочили на поводных, награбленных коней награбленное добро: скору, лопоть, оружие и зипуны. Старшие, не слушая брани и бабьих завываний, взвешивали и пересчитывали серебро, плющили, сминали блюда и чаши, те, что попроще, без позолоты, письма и камней, — все одно, в расплав пойдет! Иные, воровато озрясь, совали за пазуху: князь — князем, а и себя не забудь! Вой стоял на деревне — как по покойникам.

К вечеру Мина, сопя, сам взвешивал заново веские кожаные мешки, безжалостно бил по мордам, разбивая в кровь ражие хари своих подопечных; вытаскивал из пазух и тороков утаенные блюда, кубцы, достаканы и связки колец. Брать — бери, рухлядишко там какое да животишко, а серебро штоб все Ивану Данилычу на руки! Меру знай! Князеву службу худо сполнишь, в другу пору и за зипунами тебя не пошлют!

Спать улеглись вповал, на полу, на сене, в Кирилловой молодечной. У скрыней, ларей, сундуков и мешков с набранным добром всю ночь стояла, сменяясь, недреманная сторожа. Теперь и сам Мина нет-нет да и напоминал ратным о двух казненных великим князем за грабительство на Москве молодцах:

— Ополонились? То-то! Неча было и шуметь не путем! Данилыч, он и строг, и порядлив зело! Ему служи верно: николи не оскудеешь!

В сумерках на дворе сиротливо и тонко ржали чужие кони у коновязей, напрасно подавая голоса хозяевам своим. Притихла ограбленная деревня, стих, разоренный и опозоренный, боярский двор. Едва теплит одинокий свечной огонек в изложне, где вся семья собралась, точно на пепелище, не зная, то ли спать, то ли горько плакать над новою бедою своей, которая, уже понимали все, сокрушила вконец и до того уже зело хрупкое благополучие их обреченной семьи. Отец сидит молча, на сундуке, он так и не лег, потерянно и тупо глядит на свечной огонек. Уста шепчут беззвучную молитву, он разом остарел и ослаб. Мать тоже не спит, что-то сердито штопает, склонясь у огня, со стоическим, отемневшим ликом. Нянька дремлет, вздрагивает, вздергивая голову в сонной одури, тупо взглядывает на госпожу, не смея лечь прежде самой Марии. Стефан лежит ничью, вытянувшись, зарыв лицо в красное тафтяное зголовье, тоже не спит, думает, хотя в голове уже гудит, и хоровод мыслей колеблет и шатает, словно свечное вздрагивающее пламя. Давеча его только-только успели оттащить, не то бросился бы в драку с оружием на обидчиков своих, а сейчас думает, и не может решить. Вспоминает отцову бронь и стыдный покор московита, о том, что бронь надобна воину для ратного дела... Но что можно одному? Против многих? Но что можно одному, Господи, когда сам отец, когда даже отец!.. Кинуться, умереть... И кто пойдет вослед тебе? Или и это гордыня? Так почему же он не погиб, не умер, он, боярский сын и воин, почему?! И кто враг? Они? Эти вот? Или все же Орда? Литва? Католики? Или главный ворог — робость своих же ростовчан? Разброд русичей, братоубийственная пря Москвы с Тверью, доносы друг на друга? И что должны были бы делать они, эти вот?! Не брать отцову бронь? Заплатить за нее? Чем? Воин живет добычей, а даньщик корыстью. Никто же весть, в самом деле, сколько заплатил Иван Калита в Орде за ростовский ярлык! Никто же весть... Что ж сами-то мы, сами на что?! Почто ж бы сами-то... Как отступил, как сдался отец! Не думать, не думать! Он краем глаза взглядывает в сумрак, туда, где потерянно, все так же шевеля губами, сидит родитель, и тотчас отводит глаза, оборачивает взор в иную сторону, рядом с собою. Петька спит, вздрагивая, а Олфера тоже не спит, сидит на постели и молится.

— Ты что? — шепчет Стефан, едва шевеля губами. Варфоломей готовно ныряет в постель, прижимаясь к брату. Его тоже трясет и колотит нервная дрожь. И они молчат, лежат, обнявшись, братья оброшенные, потерянные и затерянные в неисходной пустоте сегодняшнего погибшего дня. И оба не знают, что делать им, что думать, и как строить вперед свою жизнь, не ту, внешнюю, где слуги, хлеб и где с голоду не умрешь,— всё одно принесут из деревни,— а внутреннюю, духовную, важнейшую всякой другой? Куда направить теперь ум и силы души?

И Стефан не слышит, не чует, не знает: Варфоломей сейчас весь, как струна кимвальная: до хруста сжимая зубы, молится, упорно ломая себя, повторяет святые слова, зовет Господа, молит, велит, заклинает — помочь! Не отцу, не семье, не матери; помочь детскому уму своему и детскому сердцу не огореть, не ожесточеть от всего, что преподносит ему жизнь, а понять, постичь высший горний смысл и горнюю волю, над всем этим позорищем распростертую.

Или, вручив им, малым и сирым, свободную волю свою, Господь и сам теперь ждет от них решения? Ждет, что же сами они содеют, и найдут ли вернейшее и нужнейшее в жизни сей? Ибо тогда, иначе, быв вынуждену вмешиваться раз за разом в людские судьбы, стоило ли ему и создавать этот тварный мир и все сущее в нем?

— Господи, воля твоя, сила и слава твоя! Научи! — молча и строго, по-взрослому молит отрок Варфоломей. — Христиане же они, такие, как и мы, православные, не орда, не ворогн! Как совокупить нас и их после всего сущего в братней любви? Дай постичь, Господи, я всё приму, но дай постичь волю твою и веление твое!

— Господи! Сотвори что-нибудь, из бездны воззвах к тебе! Повиждь и пойми, что так больше нельзя, неможно! Дай мне силы вынести все это, помоги! — молча молит Стефан.

— Господи, воля твоя! Помилуй меня, Господи! Господи, помилуй меня! Господи, помилуй, Господи, помилуй! — потерянно шепчет в своем углу их отец, боярин Кирилл.

Глава 22

После московского разоренья жить стало невозможно совсем. Сразу после отъезда московитов Кирилл узнал, что разбрелась половина военных слуг, а Ока и Селиван Сухой с Кондратом так прямо и подались к москвичам.

— Сманили! — объяснял Даньша. — Баяли: под нашим господином без прибытка не останесси! Ну, и робяты поглядели на наше-то разоренье, дак и тово...

Объясняя, Даньша отводил глаза. Почему он, Даньша, сам не остановил беглецов, Кирилл, понятно, не стал спрашивать.

Прислуга нынче совсем извольничалась. Накажешь — не исполнят, напомнишь — огрубят в ответ. Но и гнева на слуг, как ни пытался Кирилл вызвать его в себе, не было. Понимал затаенную мысль, что гвоздем стояла в холопьих глазах: что ж ты за господин, коли ни себя защитить, ни нас оборонить не сумел от раззору!

Давеча велел Окишке нарубить дров. Через мал час вышел на двор — секира празднится, воткнутая в колоду, Окишки нет как нет.

— А, убрел куда-то-сь! — лениво ответила подвернувшаяся портомойница.

— Куда убрел?! — наливаясь кровью, взревел Кирилл. Баба глянула полуиспуганно-полуглумливо, не ответив, ушмыгнула в челядню.

Кирилл вдруг, крепко задышав, скинул зипун на перила и, подсучив рукава, начал сам, часто и надсадно дыша, рубить березовые комли. Он был уже весь мокр, капало со лба, и по спине струились горячие потоки, когда Мария, выглянув на задний двор, узрела, что вершит ее супруг, всплеснула руками, ахнула, метнулась в терем, и тотчас выскочил постельничий, подбежал, пытаясь отнять топор у боярина. Кирилл молча отодвинул холопа плечом, отхаркнул горечь, скопившуюся во рту, и вновь взялся за секиру. Когда, наконец, прибежал, запыхавшись, Окиш, от коего далеко несло кислым пивным духом, на дворе уже высилась груда расколотых поленьев, и Кирилл, спавший с лица, окончательно изнеможенный, кинул холопу, не глядя, секиру, и, шатаясь, пошел в дом. Все рушило, все кончалось, и надо было что-то предпринимать уже теперь, немедленно, пока и последние слуги не ушли со двора, пока еще есть в доме мясо и хлеб, пока кого-то можно приставить к коням, и кто-то еще стирает портна, шьет и стряпает, пока они все не пошли окончательно по миру...

Он тупо позволил Марии стянуть с себя волглую рубаху, обтереть влажным рушником чело, спину и грудь, уложить в постель... Прохрипел, не поворачиваясь:

— Уезжать надо, жена!

— Куда?

— Куда ни-то. На Белоозеро, в Галич, в Шехонье, али на Двину... Не могу больше!

— Ты отдохни, охолонь! — нежно попросила она. — После помыслим, ужо! Окишку-то твоего даве родичи на село сманили...

— Бог с ним, — отмахнул Кирилл. — Не в ем дело, жена! Во мне, в едином. Всё ся рушит. Вконец. Под корень вырубили нас! — Он замолк, и Мария так и не нашла, что ответить супругу.

А Кирилл, трудно дыша, думал про себя, что надо начинать все сызнова, на месте пустом и диком, и что он опоздал, опоздал навсегда! Ушла незримо, неведомо как и на что, сила из рук; ушло, расточилось мужество сердца, гордая злость и дерзость молодости, и уже не может, не умеет и не сумеет он ничего и... нельзя погибать! Надо найти в себе коли не силы, так хоть отчаяние, ради сыновей, ради родовой чести своей, опозоренной и поруганной московитом...

Посоветовавши с роднею, послали слухачей на Белоозеро. Месяца четыре от них не было ни слуху ни духу...

Под осень уже, когда свалили жнитво, обмолотили и ссыпали хлеб, убрали огороды, воротились посланцы. Не все. Двое так и пропали, отбежали господина своего на земли вольные, исчезли навсегда в необъятных северных палестинах.

Слухачи принесли вести невеселые. Долгая рука Москвы дотянула и туда: белозерский ярлык тоже оказался перекуплен московским князем Иваном.

Куда же тогда? В Тотьму? В Устюг? Как-то еще и примут там ростовского великого боярина! Да и боязно было все же на склоне лет отважить в эдаки дали дальние! Бессонными ночами Кириллу все блазнило: неведомый путь, холмы и пригорки, голубые и синие леса за лесами; тишина и покой нехоженых, нетронутых палестин. Да ведь зналось и другое: зимние вьюги, дожди, неродимая земля под лесом, который надо прежде валить и выжигать... Где взять рабочие руки, силы, мужество, наконец, чтобы заново, на старости лет, зачинать жизнь?

Ордынскую дань, меж тем, и нынче опять должны были собирать московиты, и Кирилл со страхом ждал нового наезда гостей непрошеных. Земля оскудела от мокрых неурожайных лет, деревни обезлюжены моровой бедою, разорены ратным нахождением (многих, ой многих увели с собою проходившие после погрома Твери татарские тумены Туралыка с Федорчуком!). Казна, изрядно запустевшая от частых посольских нахождений и поездок в Орду, теперь, после московского грабежа, была совершенно пуста. Хлеб, лен, кожи, все, что копилось для себя, нынче пришлось задешево попродать новгородскому да тверскому оборотистому гостю, чтобы выручить хоть малую толику серебра на ордынский выход, а дальше как? Последние верные холопы того и гляди покинут боярский двор...

А другояко поглядеть: во-он оно! Весь окоем как на ладони! Родимое все, рукотворное, родное!

Там, за кровавой поляной (по преданию, бились тут русичи с неведомым языком еще много прежде татарского нахождения), пожога и пашня, которую Кирилл устроял еще во младых летах, а в той вон стороне тогда же гатили топь, клали мосты, рубили дорогу сквозь бор! И помнит, как он, молодым статным удальцом, кинув наземь щегольской белотравный зипун, брался сам за секиру, и как лихо валил и тесал смолистые дерева! И не было этой задышливости нынешней, старческой немощи поганой; от работы той, давней, гудела сила в плечах и дышалось легко, в разворот, румянец полыхал во всю щеку, и топор, словно намасленный, входил в свежее, брызжущее соком дерево... Куль зерна мог боярин в те поры швырнуть одною рукой, шалого коня останавливал враз, взяв под уздцы, и пятил, смиряясь, конь, почуяв стальную руку господина... Куда подевалось все? Не там ли, в ордынской пыли города-базара, Сарая, исшаял и смерк румянец молодого лица? Не от песчаного ли южного ветра сощурило очи и морщины легли у глаз и висков? Не в сиденьях ли долгих в думе княжой одрябло тело, ослабли ноги, что сейчас не дадут ни пробежать путем, ни взмыть, не касаясь стремян, на спину коня? И на что ушла жизнь, было ли что истинно великое в ней, в прошедшей судьбе великого боярина ростовского? Суета сует, — как сказал древлий Екклезиаст, — суета сует и всяческая суета!

Нынче все чаще начал он без дела засиживаться в повалуше, внимая рассказам бродячих странников и странниц, иногда со старым другом своим, Тормосовым, и жена, Мария, не уимала супруга в невинной утехе его.

...Одинокая свеча потрескивает в высоком стоянце. Во мраке

мелькают, отбрасывая тень, неустанные руки Марии, руки матери, нынче вовсе забросившей шелковую гладь да золотое шитье: чинят, да штопают, да перелицовывают остатнее боярское добро. Кувшин луженой меди да две чудом сохраненные серебряные чарки одиноко посвечивают на столе. Чарки налиты, но оба боярина не пьют, задумались. И течет, словно робкий огонек свечной, тихий сказ странницы, повествующей о граде Китеже, и нежданною новью звучит для обоих давно знакомый старинный сказ:

— ...И как подошли к нему злы татарове, а Китеж-град туманом одело, и стал он невидим поганым; и тихо так, невестимо, неслышимо, утонул, со всема утонул, сокрыло его водою. Татарчонок подбежал к берегу, зрит, а тамо и костры, и стена городовая, и домы, и терема, и гульбища, и верхи церковные — всё, как оно исстари стояло, цело и непорушено. И люди вси, купцы и бояра, старцы и старицы, ратный чин и молитвенный, все туда ушли, а словно как живы, токмо уж их не достать! И к им ходу нету ни для кого. Всё, как есть, не тронуто, а и недостижимо. Вода в озере тихая-тихая, а набежал ветер, и сокрылось видение. Ни с чем остались татарове, не найти им уже того града святого вовек! И озеро то, Светлояр, одним верным теперь когда откроется; те и узрят видение града Китежа. Да порою звоны колокольные слышимы над водою. А вси они тамо и живут, по заветам древлим, и Господа молят за нас, а уж и не выходят оттоле, ото всего грешного мира сокрыты! Ни даней у их, ни наездов, ни грозы ото князя великого...

— Ни серебра не емлют! — подсказывает Тормосов, нерешительно приподымая чару.

Где найти свой Китеж, град потаенный, куда сокрыти себя от жадной и требовательной длани московского володетеля? Где ты, Китеж-град, прибежище родимой старины, град отчих заветов непорушенных! Где ты?!

Глава 23

Мамушка!

Как я тебя люблю! Люблю твои руки, твой запах, всю тебя, самую-самую красивую на земле, самую дорогую. дороже никого нет, кроме самого Господа! В трудноте, в заботе, в болезни, у детского ложа моего — всегда ты! И когда изнемогаю духом, и слабею, — только подумаю, как бы мне ткнуться тебе в грудь, и замереть, и чуять твою сухую ладонь на своей голове, и всякая забота, и злоба, и труднота отступают и стихают, и уходят боли и немощи.

Как было бы хорошо задержать это навек: и детство, и незаботность, и твою ласковую руку, и покой, исходящий от тебя; как было бы хорошо век оставаться дитятею, и век была бы ты... И жизнь, и солнце, и все сущее окрест, тоже не менялось бы никогда? Не проходило ни злое, ни доброе, не утихали ни мир, ни война, ни болезни, ни скорби, ни горе, ни радость?! Нет, помыслить нельзя неизменным этот наш мир! Все проходит, и в этом своя великая благодать. И детство пройдет, как и мужество, как и старость, как и вся жизнь, и ничего доброго не бывает с теми, кто тщится задержать, остановить сущее, кто и на возрастии продолжает быть дитем, а не мужем, прячется за спину родительскую, не ведая, что уже и жалок, и смешон в позднем малолетствии своем. Нет! Суждено нам уходить от ласковых материнских рук, уходить в большой и суровый мир, суждено и надобно, и так заповедано Господом: «не умрет зерно, но прорастет». Суждено и надобно, дабы из дитяти вырастал муж, и вершил, и думал то, о чем уже не учили, чего не знали еще престарелые родители дитяти. Приходит час, когда надо уйти, когда надо расстаться с тобою, так же, как и с детством своим. Прости меня, мама! Буду ли я более тверд или более добр, или иначе тверд и по-другому добр? Тебе уже не понять,

и не надо понимать, мама! Ты вечно пребудешь со мною такая, какая ты есть! В мечте, в воспоминании, в тайная тайных души, в слезе, пролитой над твоею могилой, в той влаге, что осеребрит ресницы воина в дали далекой, на чужой земле, при одном воспоминании о тебе. Я ухожу от тебя! Забываю? Нет! Вечно помню, вечно, до гроба, буду любить тебя, и жалеть, даже тень твою, даже далекую память о тебе... Я ухожу! Ухожу, как и всякий, ухожу от тебя...

Мамушка! Не противься мне, не удерживай меня, Господа ради! Надо так! Так надо, мама! И помни, что я всегда буду любить и помнить тебя, — где бы ни был, кем бы ни стал, сколько б ни минуло лет!

. . . .

Дети теперь тоже отбились от рук. Стефан все меньше учился, — хоть Мария и пробовала толковать ему, что только на его ученьи и держится теперь вся надежда семейная, — зато влезал во всякое хозяйственное дело, неумело приказывал холопам, сам, стойно отцу, брался за неподобные сыну великого боярина мужицкие дела: за топор, тупицу, кузнечное изымало или рукояти сохи. Яростно мял кожи, выучился скать свечи и тачать сапоги...

Младший, Варфоломей, учудил себя и того страннее: почал строго блюсти посты, молиться по ночам, стоя босиком на холодном полу изложни, вести себя стойно монаху, истязая плоть гладом и жаждой. Мария не раз приступала к отроку, толкуя, что он еще мал, что пока плоть растет и цветет, можно понапрасну заморить себя, подорвать, навечно лишив здоровья...

Варфоломей ничему не внимал. Взял волю, когда его хотели насильно кормить, молча вставать и уходить из-за стола. Мария, в одночасье, не выдержала: выбежала вслед за сыном, с куском пирога в руке:

— Олфоромей! — Отрок остоялся, опустив голову. — Другие дети и до семи раз едят на дню! А ты что ж? Один раз, да? — В голосе у нее зазвенели близкие слезы. — Всё добро, но в своё время! Ну же! — Она привлекла к себе слегка упирающегося сына, сама опустилась на лавку: — На-ко, съешь пирожка! Ты ведь хочешь, ну? По глазам вижу! Где твои глазки, ну? Подыми рожицу, погляди на меня!

Засуетясь, она стала совать пирог в рот сыну почти насильно. Он стоял, не отворачивая лица, но крепко сжав губы, и вдруг крупные слезы, горохом, покатились у него из-под прикрытых век. Мария растерялась, уронила руку с пирогом:

— Ну, мой хороший, ну, не надо, пошутила я! Не надо никакого пирога, дитеныш ты мой глупенький... — Нашарив край лавки, она отложила злополучный пирог и крепко обняла Варфоломея, вдруг ощутив со страхом, что и этот ее малыш скоро уйдет, отодвинется от нее, что уже сейчас в нем растет и зреет что-то свое, чуждое ей и несгибаемое, и тотчас и подосадовала на себя: курица! Словно наседка над цыплятами, а им — взрослеть!

Варфоломей так же враз, как начал плакать, так и прекратил. Слегка упираясь в грудь матери и склоняя голову, он заговорил с тихою горячей убежденностью:

— Не понуждай, мамушка! Сами же сказывали про меня, что еще в колыбели быв, в середы и в пятны молока не ел! Я теперь обещался Богу, чтобы избавил меня от грехов! — присовокупил он, еще тише, и еще ниже опуская голову.

— Господи! — невольно воскликнула Мария, — о каких тебе грехах баять! Двунадесяти лет нету еще! Да и огляди ты себя, Олфоромеюшко! Золотой ты мой, вон какое личико у тебя чистое, ну? Не видимо на тебе знамений греховных!

Сын поднял голову, поглядел серьезно и вдумчиво. Ответил, прямо глядя в глаза Марии:

— Перестань, мамушка! Это ты, знаю, говоришь, яко сущая чадо-

любица, по любови к нам, детям своим! Сказано, ведь: «Никто же чист перед Богом, аще и един день живота его будет, никто же есть без греха, токмо един Господь»! — Он произнес священные слова отчетливо и строго, словно в мгновение ока повзрослев. Но и тут же трепещущею рукою легко-легко, едва касаясь перстами, провел по материной щеке, и Мария безотчетно вздрогнула от этой, такой детской и вместе такой задумчиво-мудрой ласки отрока. Что-то было в этом ее сыне такое, чего она не понимала, не могла постигнуть совсем.

— И у Давида-царя сказано, — присовокупил он, помедлив, из-под-тиха, — «Се бо в беззаконии зачат есмь, и во гресех роди мя мати моя». Это не про тебя одну, это про всех про нас, мама! — с торопливою нежностью, но и настойчиво, примолвил он. Мария лишь молча прижала к своей груди голову сына и стала гладить шелковые льняные волосы, словно невесть чего устыдясь...

Когда она, вздохнув, встала, наконец, Варфоломей молча вложил ей в руку остывший кусок пирога, который ему конечно же, как ребенку, хотелось бы съесть, но тогда обрушилось бы всё, с таким трудом возводимое им здание подвига, а этого Варфоломей уже не хотел совсем, ибо только подвиг должен спасти их всех: надобно переделать себя самого, а тогда, безо всякия брани, можно станет переделать и московитов! Недаром он когда-то, полуторагодовалым малышом, взбирался, и взобрался-таки, на страшную для него, в те поры, лестницу!

Он молча долго глядел в спину уходящей матери. Увидел, пожалуй, впервые, что спина у нее стала круглиться, сутулиться, что уже и движение ее шагов не то, легко-стремительное, как было раньше, как было всегда доднесь, и понял, с пронзительной горечью, что мать стареет, и уже в чем-то главном перестает его понимать, понял, постиг, с такою острой недетской болью и страхом, что чуть было не побежал ей вслед, чтобы только для ее тишины и радости, взять клятый пирог из материнских рук... Ведь можно бы и не есть, а после скормить братику! — запоздало подумал он, но тут же и отверг: такое значило соблазниться ложью одновременно и перед матушкой и перед Богом.

Опустив голову, как никогда одинокий, он побрел в изложню, где перед домашнею божницей встал на колени и начал горячо молиться, призывая Творца на помочь себе, как уже было не раз и не два:

— «Господи! Ежели всё так и есть, как поведали родители мои, яко прежде рождения моего благодать твоя и знамение твое были на мне, — дай же мне, Господи, измлада, всем сердцем и всею душою полюбить тебя!

Яко от утробы матерней привержен к тебе, и из ложесн, и от сосцов матери моей! Ты еси Бог мой! Яко, егда сущу ми во утробе матерни, тогда благодать твоя посетила мя!

И ныне не оставь мене, Господи, яко отец мой и мати моя оставляют меня! Ты же, Господи, прими мя, и присвой к себе, и причти к избранному тобою стаду! Яко тебе оставлен есмь нищий, и из младенчества избавил мя, Господи, от всякия скверны, плотской и душевной! Сподоби мя, Господи, творити святыню в страхе твоем!

И пусть вся сладкая мира сего да не усладит меня, и вся украса житейская не прикоснется ко мне! Но да прильнет душа моя во след тебе, меня же да приимет десница твоя!

Пусть, Господи, никогда, никогда не впаду я в слабость мирскую, не буду радоватися радостию мира сего, но исполни мя, Господи, радости духовныя, радости и сладости неизреченной!

И дух твой благий, Господи, да наставит мя на землю праву!»

Варфоломей, склонив голову, сосредоточенно замер, слушая самого себя. Теперь ему уже не хотелось пирога, мысль о еде совсем ушла из сознания. Что-то большое, светло-величавое, плыло, едва заметно колеблясь, перед его полусмеженными очами. Верно, это и было то самое, дивное, незримое обычному взору (быть может, фаворский свет?!), которое ему так хотелось узреть во время молитв и постов.

. . . .

Скажем здесь еще то, что материнские опасения Марии были напрасны. Даром, что Варфоломей зачастую ел один хлеб с кореньями. Ржаной, только что испеченный, из свежей, недавно смолотой муки, духовитый и пышный, с легкою кисли̇нкой и неведомою внутренею сладостью, хлеб этот и на деле насыщал досыта. Тем паче, Варфоломей ел не спеша, тщательно пережевывая, дожидаясь, пока рот весь наполнится слюной и скулы начнет сводить от терпкого вкуса ржи, и тогда лишь проглатывал.

Человеку потребно еды много меньше, чем едим мы все, не исключая и тружеников. Только лишь еда должна быть всегда свежею и не проглоченной кое-как, по́ходя, не разбираючи ни вкуса, ни толка. Всё ж таки и постясь, и зачастую на хлебе едином, а вырос же Варфоломей, напомним себе еще раз, с двух мужиков силою!

Глава 24

Подошел Филипьев пост. За ним Рождество. Кое-как, с натугою, справили ордынский выход. Хозяйство продолжало падать, люди разбегались, пустели Кирилловы волости. Дани кое-где были забраны уже на три года вперед, и крестьяне наотрез отказывались теперь давать кормы боярину, и даже повозное дело сполняли с натугою, ссылаясь на нехватку коней. Земля оскудевала серебром, и цены на сельский товар и снедный припас в торгу падали. За воск, мед, портна, пшеницу и скору давали теперь едва ли половину того серебра, что можно было выручить прежде московского насилованья...

Не один Кирилл мыслил податься на новые земли. Родичи пересылались друг с другом, судили и рядили, посылали ходоков семо и овамо, словно стая птиц, готовая улететь в иные края. Жёнки заранее плакали, прощаясь с родимою стороною. Про каждого, кто успел перебраться в Галич ли, Кострому, Устюг, на Шексну или Вятку, жадно вызнавали: как оно там? Как наши? Как местные? Как принял новый князь, каковы земли, даде̇ны или куплены, и почем? И каковы дани, и какова легота, и дают ли ослабу и помочь на обзаведенье?

На молодого ростовского князя Константина, женатого на дочери Калиты, надежды не было ни у кого, даже у самого Кирилла...

Тяжко уходить с родимых палестин! Тяжко избирать иную родину! Хоть и в пределах той же Руси, а всё одно: тут каждый пригорок, речка, березовый колок, каждая пашня, каждый боровой остров — свои и знакомы до слез. Там вон мальцом малым ловил язей, там собирали грибы, и знаешь, в каком колке боровой гриб, где рыжики, где иное что. Каждая тропка изведана, каждый овраг полон преданий и сказов. В том вон бору нечистый пять дён водил старуху Секлетею и отпустил едва живую, когда она, опомнясь, прочла вслух трижды «Отче наш». На этом взлобке по веснам девки водят хороводы, а на том вон высоком холме когда-то кудесили волхвы, и поныне жгут костры в Иванов день. В том вон завражке побили купцов новгородских; кто побил, неизвестно, но твердо помнят, что купцы были из самого Великого Нова-города и везли с собою сокровища бесценные. А тот вон камень по-за огородами ничем не знаменит, кроме того, что с-измладу с мальчишками играли у камня того и прятались за камень от выдуманного врага, и собирали полянику, что густо росла в траве округ того камня... И как оставить, как проститься и с камнем тем, и с дорогими воспоминаниями юных лет? Всё это — сердца боль, и от души неотрывно. Да, многие силы нужны и многое мужество, чтобы так вот, наново, заново, подняться в иные края!

. . . .

Онисим на сей раз приехал громкоголосый, тверезый и словно бы

даже помолодевший. Крепко обнял Кириллв, подмигнул, шуткуя, склонился к плечу, словно великую тайну повещая, громким нарочитым шепотом повестил:

— Новину привез! — Был весел, Стефана пóходя толканул под бок: — Всё хозяйничаешь? Слыхал, слыхал! Бызат, и сгодитце теперича!

Шум, стремительный ветер перемен, ворвались с ним в опечаленный терем.

Обедали старшей дружиной, врозь от малышей с мамками. Онисим вкусно въедался в уху, обсасывал головы крупных окуней, отвычно подзуживал хозяина:

— Постничаешь?

В этот день впервые Варфоломей услыхал за прикрытыми дверями повалуши незнакомое слово: «Радонеж». Сказанное не раз и не два, и с восклицаниями бодрого восторга, и с сомнением, и с раздумчивой неуверенностью, и снова со значением и силою: «Радонеж!»

Слово было красивое, напоминало древний весенний праздник, Радуницу, — радость об усопших родичах, с коими в этот день обрядово пировали русичи, приходя на могилы родных и близких с пирогами и яйцами, пили пиво, кормили птиц, в коих и поднесь многие видели души предков, усопших на отчем погосте. Веселились, чтобы весело было и покойникам: родителю-батюшке с матушкою, и дедам-прадедам в ихних истлевших домовищах, чтобы узрели они оттуда, что живет, не погиб, не затмился, не угас в горести их родовой корень на этой земле. Радуница, Радóнеж, радостный — или памятный? — город.

К вечеру и узналось всё по-ряду. Там, в Радонеже, давал земли переселенцам московский князь. Принимал и жаловал людей всякого чина и звания, давал леготу от даней, баяли даже, и до десяти летов. Пахали бы землю, строились, заводили жило. И места были не столь далекие, почитай, еще и свои места, — не полтораста ли поприщ всего от Ростова?

Онисим вызнавал сам, баял, что набольший боярин московский, тысяцкий Протасий, сам созывает охочих насельников из Ростовской земли.

Кирилл сперва зверем взвился:

— К московскому татю? К ворогу?! Чести, совести ся лишить! И баять не хочу! — Но после, поглядев внимательней в отчаянные глаза Марии, под дружный хор голосов всей застольной братии, — почему-то и Яков с Даньшею тотчас и сразу поддержали Онисима, — сник, потишел, начал угрюмо внимать, покачивая головою.

В разговорах, спорах, почитай, и не спали всю ночь. Кирилл вздыхал, ворочался, не по-раз вставал испить квасу. Мария шепотом окликала супруга, уговаривала соснуть, не маяться.

— Как тамо! — бормотал Кирилл. — Дом вовсе порушим, ономнясь и на ином месте не выстать! Тебя, детей...

— Спи, ладо! — отвечала Мария чуть слышно, — Господь не попустит... Всё в воле его! Быват, и дети подрастут, спи!

Кирилл кряхтел, перекатывал голову по взголовью. Тянуло жилы в ногах, долили думы, не отпускала обида, прежняя, стыдная, — никак было не уснуть! Так и проворочался до утра.

Назавтра Онисим, прощаясь, затягивая широкий пояс, уже на крыльце дотолковывал вышедшему его проводить Кириллу:

— Да и тово, под рукой у московита будем! Тута словно бы вороги князю Ивану, а тамо — свои, чуешь? Гляди, в московскую думу попадем с тобой! — Ударив Кирилла по плечу, полез на коня.

О думе не путем, конечно, сбрехнул Онисим, но хоть не платить десять летов даней-кормов, хоть не давать поганого выхода ордынского, не видеть безобразного грабежа в дому своем!.. В самом деле, на землях московских и мы, почитай, станем для московитов свои...

Отъехал Онисим, и новые страхи объяли, и пошли пересуды да толки с роднею-природой. А уже и то было ясно, что ехать надо. Не минуешь, не усидишь, не отдышишь за князем своим, что и сам целиком повязан Москвой...

Стефан бегал горячий, пламенный. Варфоломею походя бросил, как о решенном:

— Едем в Москву!

— В Радонеж! — поправил брата Варфоломей, которому сразу понравилось незнакомое слово. Стефан подумал, кивнул как-то лихорадочно-сумрачно, повторил опять нетерпеливо:

— На Москву! — Умчался, как убегал когда-то в детстве, отмахиваясь от маленького братишки. Как там будет, что и кая труднота ожидает их, не важно! В жизни, в коей поднесь всё только рушило, иссаивало и меркло, появилась цель, словно слепительный просвет в тяжких тучах, обложивших окоем, — предвестие ясных, радостных дней. На Москву!

Варфоломей вышел на крыльцо, постоял, подумал, ковыряя носком сапога подгнившую ступень, спустился в сырь просыхающего сада.

Была та пасмурная пора весны, когда всё еще словно бы медлит, не в силах пробудиться ото сна. Небо мглисто. Снег уже весь сошел, и лишь кое-где мелькнет в частолесье ослепительно-белый на желто-сером ковре измокших, омертвелых трав случайный обросок зимы. Набухшие почками ветки еще ждут, еще не овеяло зеленью паутину берез. И если бы не легчающий воздух, сквозисто и незнакомо печалью далеких дорог наполняющий грудь, то и не понять — весна или осень на дворе?

Он оглянулся, вдохнул влажный холод, поежился от подступившего озноба и вдруг впервые увидел, понял, почуял незримо подступившее к нему одиночество брошенных хорóм, опустелых хлевов, дичающего сада, огородов, покрытых бурьяном, поваленных плетней, за которыми во всю ширь окоема идут и идут по небу серые холодные облака...

Долгие ли ночные молитвенные бдения, посты ли, налагаемые им на самого себя, так обострили и обнажили все чувства? Или шевельнулось то, смутное, что уже погнало в рост все его члены, стало вытягивать руки и ноги, острить по-новому кости лица, — то смутное, что называют юностью? Только-только еще задевшей Варфоломея своим незримым крылом! А уже и означило край пушистого, нежного, мягкого и ясного, зовущегося детством. Да, детство готовилось окончиться в нем, а юность еще только собиралась вступить в свои права. Еще нескоро! Еще не подошла сумятица чувств, и глухие порывы, с первыми проблесками мужественности, — хоть и рано взрослели дети в те века, — но уже в обостренной остраненности взора, коим обводил он родное и уже как бы смазанное, как бы полурастворившееся в тумане, жило, предчуялась близкая юность, пора замыслов, страстей и надежд.

Было совсем тихо, и поблазнилось на миг, словно и правда уже вымерло всё, и все уехали туда, в неведомый и далекий Радонеж. Он стоял, подрагивая от холода, как вышел, в одной посконной рубахе, и не думал, а просто глядел, ощущал. Что-то ворочалось, возникало, укладывалось в нем, невестимо для самого себя, о чем-то шептали безотчетно губы. Грубые московиты, что жрали, пили и требовали серебра у них в дому,— это было одно, а князь Иван, пославший ратников за данью, и неведомый московский город Радонеж — совсем другое. И одно не сочеталось с другим, но и не спорило, а так и существовало, вместе и порознь. Это была взрослая жизнь, которой он еще попросту не постиг, но которую должен, обязан будет постичь вскоре; сейчас об этом не думалось.

Волнистые, шли и шли над землею бесконечные далекие облака.

— Господи! — прошептал он, поднимая лицо к небу,— Господи! Юность? или горний знак Господень? или весна? Коснулось незри-

мое, связав его чело. На миг, на долгий миг, исчезло ощущение холода и земной твердости под ногами, и его как бы унесло туда, в это волнистое небо, в далекую даль, в пасмурную истому ранней весны.

Глава 25

Все это лето, последнее лето в родимом дому, готовились к отъезду.

По совету Якова решили се год паровое поле засеять ячменем.

— По первости хоша коней продержим! — горячо втолковывал Яков Кириллу. — Коней заморить — самим погинуть! А к Петровкам беспременно в Радонеж послать косцов! Сенов отселева не увезешь! По осени пошлем лес валить на хоромы, а на ту вёсну — всема! — Он решительно рубил рукою воздух, словно обрубая незримые корни нынешнего житья-бытья. — Всема! С жёнками, с челядью, со скотиной...

Замолкая, Яков угрюмился, тяжело кругалил плечи. Решаться на переезд тяжко было и ему.

Подымали пашню, садили огороды. Не по-раз приезжал доверенный отцов гость торговый, о чем-то толковали, передавали из рук в руки тяжелые кожаные кошели. Уводили со двора скотину, увозили останние запасы, обращая тяжелый сыпучий товар в вёское новогородское серебро. Гость забирал Кириллову лавку в торгу, уходили в обмен на серебро мельница, рыбачья долевая тоня на Волге и пол-доли на озере Неро (вторая половина уже была продана летось в уплату ордынского выхода). Перетряхивали портна, камки, сукна и скору. Береженные на выход дорогие парчовые одежды Кирилловы решили тоже продать. На думное место при московском князе всё одно надежды никакой не было!

Вечерами родители спорили, запершись:

— Грабит тебя Онтипа твой! — сердито бранилась Мария. — Шесть гривен новогородских за озерный пай, эко! Да ниже восьми гривен то место николи не бывало! Могли бы и пождать-тово!

Кирилл, успокаивая, клал ладони на плечи жены, бормотал, что зато, мол, тотчас и серебро в руках... Сам чуял, что дешевит, да уже невмочь было. Дал бы волю себе и все бросил даром!

Стефан меж тем нешуточно впрягся в хомут. Летал на коне, покрикивая на холопов, в охоту брался за рукояти сохи, работал до поту, до остервенения. Варфоломей с Петром тоже не сидели без дела. У всех у них было радостно-неспокойное, тревожное чувство на душе и хотелось работою загасить, отодвинуть то боязливо-горькое, что нет-нет да и пробивалось сквозь дневную суету и упоение неведомою судьбой. То поблазнит вдруг: как это так, что другорядным летом не будет уже ни родимой речки, ни поля, ни рощи знакомой, ни пруда; не придут славить с деревни, не завьют уже девицы березку будущею весной? Как это так: привычного, детского, своего — ничего-ничего уже и не будет?

А то вдруг матушка, разбирая укладки и скрыни, вдруг горько заплачет над какой-нибудь памятною полуистлевшей оболочинкою и долго не может унять слез, мотая головою, нéмо отталкивая от себя робкие утешения сыновей...

Но и вновь, скрепив себя, берется мать за работу, вновь бегают девки, спешат потные, горячие от работы мужики, вновь Стефан, врываясь в терем и соколиным зраком глянув по сторонам, орет:

— Петюха! Живо! К Герасиму скачи! Пущай шлет возы не стряпая!

И тот срывается в бег, торопясь исполнить братний наказ.

— А ты что тут? — запаленно накидывается Стефан на Варфоломея. — Матери потом поможешь, зерно вези! На Митькин клин! Тамо у сеятелев уже одни коробьи остались!

В жаркой работе, в заполошной суете и трудах проходило лето.

О Петрове дни отсылали косцов на новые места. Покосников в Радонеж провожали торжественно. На отвальной усадили всех за боярский стол. Словно уже и сравнялись господа с холопами. Да, впрочем, и Яков ехал с косцами, в одно. Мать с девками сама подавала на стол. Кирилл сидел чуть растерянный, чуть больше, чем надобно, торжественный, во главе застольной дружины. Косари сперва чинились, поглядывали на господ. Но вот по кругу пошло темно-янтарное пиво и развязало языки, поднялся шум, клики, задвигались, загалдели, хлопая друг друга по плечам, косари, и в боярских хоромах повеяло простым братчинным деревенским застольем.

Пели песни. И отец вдруг нежданно для Стефана, утупив локти в стол и уронив седую голову в ладони, тоже запел, красиво и низко, влив свой голос в суматошный, чуточку разноголосый хор подпивших мужиков.

То не пы-ыль в поле,
То не пы-ыль в поле,
То не пыль в поле, в поле, курева стоит,
То не пыль в поле, в поле, курева-а-а стоит!

Голоса стройнели. Песня крепла, набирая силу.

Доброй мо-о-олодец,
Доброй мо-о-олодец,
Доброй молодец поскакивае-е-ет!
Под ём борзой конь,
Под ём борзой конь,
Под ём борзой конь, комонь с бухарским седло-оом...

Мало передохнув, начали вторую, разгульную. И уже кто-то выпутывался из лавок и столов, намерясь со свистом и топотом пуститься в пляс:

Близко-пóблизку за лéсом, за селóм!

. . . .

Проводили косцов, и уже словно бы и опустел терем, что-то отхлынуло, отошло туда, за синие дали, за высокие леса, и родимый дом примолк, огрустнел перед неизбежною разлукой.

Уже когда начала колоситься рожь, Кирилл, забрав Стефана с собою, вчетвером, верхами, с двумя комонными холопами, отправился в Радонеж: дотолковать с наместником, осмотреть место, навестить Якова — как-то он там справляет на новом месте?

В два дня добрались до Переяславля. Ехали в одноконь и потому не торопились излиха. Переяславль, хоть и сильно уступавший Ростову, был все же и сановит, и люден, и собор Юрия Долгорукого, переживший не одно разорение града, вызывал уважение стройной основательностью своей каменной твердоты. Стефан извертел голову, оглядывая город, с присоединенья которого, меньше полувека назад, начались стремительные успехи московских князей, ныне — великих князей владимирских. В деловитой суете города проглядывала обретенная прочность бытия — или так казалось изверившемуся в гражданах своих ростовчанину? Ночевали на монастырском подворье и рано утром вновь устремились в путь.

К Радонежу подъезжали на склоне четвертого дня пути и уже издали заслышали гомон и шум большого человечьего табора. Даже и сам Кирилл прицокнул языком, узрев, сколь навалило в Радонеж на обещанные слободы вольного народу из ростовской земли. Переселенцы стояли станом на окраине городка, заполняли дворы и улицы. Кирилл со спутниками подъехали и, не спешиваясь, стали разузнавать, что тут и как, и где найти набольшего? Вскоре им указали на кучку комонных, пересекающую стан.

В путанице телег и коней, пробираясь меж самодельных шатров,

костров, навалов кулей и бочек, среди гомонящих баб, блеющих овец и орущих младенцев, ехал шагом на чубаром долгогривом коне пожилой московский боярин. Склонясь с седла, что-то прошал, приставляя ладонь к уху, кивал, отвечал, крутил головой, отрицая. На кого-то, сунувшегося под копыта коня, сердито замахнул плетью. Вереницею вслед за ним пробирались сквозь табор переселенцев комонные дружинники.

— Ртищ! Ртищ! Терентий! Сам! — уважительным ропотом текло вслед ему вдоль телег.

Терентий Ртищ был одет не богато, но и не бедно. В шапке с соколиным пером, в добротном дорожном суконном охабне, полы которого почти покрывали круп коня, в синей набойчатой мелкотравной рубахе, рукава которой, выпростанные в прорези охабня, были в запястьях схвачены простыми, стеганными из толстины и шитыми цветною шерстью наручами. Конь под боярином был покрыт пропыленною, тканой, домашней работы, попоной, схваченной под грудью наборною, в серебряных бляхах чешмой. В узорном серебре была и уздечка чубарого жеребца. На самом боярине никаких украшений, кроме массивного золотого перстня на левой руке с темным камнем-печатью, не было. Рукавицы он, видно, сунул за луку седла.

— Терентий Ртищ, наместник княжой! — строго молвил отец, оборачивая чело к Стефану. Сам он выпрямился в седле елико мог и подобрал поводья, сожидая, когда Терентий приблизит к ним.

Стефан глянул на отца, на двоих холопов, сиротливо притулившихся за его спиною, перевел взгляд на наместника московского, и его как резануло по сердцу. Отец был и одет не беднее Ртища: в рубахе узорчатой тафты, в отороченном по краю зеленым шелком вотоле, уздечку коня украшали звончатые, тонкого серебра прорезные цепи... И все же — как властен, какого достоинства полон этот усталый московский хозяин, и как заметно робеет, хоть и старается скрыть это, отец, висок которого, весь в испарине, узрел вдруг с острою жалостью Стефан, поглядев сбоку на родителя.

Кирилл никогда еще в жизни своей не был просителем, и, как все люди, привыкшие к власти, лишенный этой власти, оробел, потерял себя: засуетился излиха, торопливо подъезжая к Терентию, забоялся, что тот не заметит, провинует мимо нарочито разодетого ростовчанина.

Терентий Ртищ остановил коня. В ответ на приветствие кивнул, поглядев строго, без улыбки. Он и верно устал. Это было видно по лицу. Не первый день уже проводил в седле, почти не слезая с коня. Скакал то туда, то сюда, встречал, отводил, устраивал, решая походя многочисленные споры о землях, пожнях, заливных поймищах, разбирая жалобы местных на приезжих и приезжих на местных, которые то не пускали находников к воде, то не позволяли ставить хоромы на означенном месте, то сгоняли переселенцев-пахарей со своих пажитей и пожен. Он уже давно сорвал голос, уговаривая и стращая, давно уже перестал гневать или дивить чему-либо, зная про себя только одно: надо как можно скорей посадить всех на землю, скорей развести по весям и слободам, и пока это не свершено, пока люди стоят табором, не престанут ни ссоры, ни свары, да и князь, не ровен час, опалится на него за нерасторопный развод беглецов. Посему и незнакомому боярину уделил самое малое время. Узнав, что тот еще только мыслит о переезде, покивал удовлетворенно головою, осведомился о косцах (вспомнил-таки, что у Кирилловых молодцов вышла ошибка с местными). В ответ на слова Кирилла, решившего напомнить о Протасии-Вельямине, покивал, все так же сумрачно, без улыбки; прихмурясь, наморщил чело, подумал:

— Как же! Бывал с Протасьем Федорычем с вашея страны боярин, бывал! Онисим ле?

— Онисим, Онисим, — встрепенулся обрадованно Кирилл, — свояк мой!

— Дык и чево! — подытожил Ртищ, почти что прервав скорую Кириллову речь. — В самом Радонеже место дадено, чево больши! Кажись, близь церкви тамошней? — Он достал бумажный бухарский плат, отер пот и пыль с чела и, едва попрощавши с Кириллом, не пригласив ростовского боярина ни заезжать, ни в гости к себе, тронул коня.

Стефан в течение всего короткого разговора мрачно молчал, почти стыдясь за родителя. Оскорбила его и не гордость московита — гордости мало было в умученном в смерть московском наместнике! — а малое внимание, отпущенное его отцу. Знал, ведал умом, что так и будет, так и должно быть. А все-таки ведать — одно, а так вот узреть, почуять самому, что уже и отец не великий боярин, не нарочитый муж, а скромный холатай перед кем-то другим, и ты сам уже не сын великого боярина, и не укроет уже тебя от покоров, пересудов и возможного глума, старая родовая слава... Что ж, приходилось и к этому привыкать.

В Радонеже их на ночь принял к себе местный батюшка. Стефан почти не рассмотрел ни городка, ни крепости над рекою. Как-то не до рассмотров было. Изрядно проголодавшие, они вечером ели простую овсяную кашу с сушеной рыбой, захваченной из дому, пили кислый крестьянский квас. Отцу батюшка уступил свою кровать. Стефан с холопами улеглись на полу, на соломе, застланной конскою попоной. Только теперь почуялось впрямь и сурово, что жизнь придет им тут налаживать наново, и всё прожитое о сю пору не в счет.

Утром разыскали старосту, застолбили место под терем. Не обошлось без ругани, ибо на месте там какой-то из местных огородников сажал капусту.

— Што мне наместник! Я тута сам наместничаю! — кричал смерд, брызгая слюной и уставя руки в боки. — Наехало семо, незнамо коро!

Кирилл в конце концов не выдержал: снял серебряное кольцо с пальца, бросил смерду. Тот потер кольцо толстыми коричневыми пальцами, зачем-то понюхал и скрылся, ворча, как уходит, отлаяв свое, сердитый уличный пес.

— Балуешь, господине! — осудил, покачивая головою, местный батюшка. — Им-ить за все уже дадено из казны князевой! Слабину покажешь — опосле они и не отстанут от тебя!

Якова разыскали не без труда на дальних пожнях. Яков был хмур.

— Скота посбавить придет по первости! — произнес он вместо приветствия охлюпкой, весь распаренный и черный, подъезжая к господину. После уже поздоровался, рассеянно оглядел Стефана. — Людей мало! Ховря заболел, а Бронька косой ногу обрезал.

Кирилл посупился, оглядел немногочисленные стога, повел головою позадь себя:

— Ентих оставить тебе?

Яков кивнул молча. Кирилл оборотил лицо к холопам, повелел строго:

— Косить оставляю! Якова слушать, как меня!

Домой возвращались вдвоем. Дорогою Стефан заместо холопа треножил и поил коней, готовил ночлег, разбивая походный шатер, стелил ложе отцу и себе, варил над костром кашу. Кирилл молчал. Стефан помалкивал тоже. И было хорошо. Даже нравилось: нравился вольный путь, тишина, свобода. Нравилось незнакомое до сих пор и трогательное чувство заботы о старом отце.

К жнитву воротились покосники. Яков все беспокоился, не увезли бы сено, оставленное почти без догляду, и вскоре, доправив необходимые дела, опять поскакал в Радонеж. Варфоломей с Петром все расспрашивали Стефана: как там и что? Стефан хмурился: «Сами узнаете!» Раз только и проронил: «Народу наехало, что чёрна вóрона»... Ра-

донеж так и оставался для Варфоломея загадочным красивым именем — где-то там, далеко-далече, в неведомом, незнакомом краю.

Свалив жатву, подсушив и ссыпав в кули зерно, вновь наряжали людей на новое место — рубить лес, класть начерно клеги под будущие хоромы. О Радонеже уже говорили буднично, как о привычном, те, кто был и отправлялся опять. Умеренно ругали местных — московлян, умеренно поругивали и землю — значительно худшую, как согласно утверждали все, чем ихняя, ростовская. Только для Варфоломея невиданный им город продолжал оставаться сказкой, где-то там, в синих лесах, на холме, над светлой рекой.

Свалив страду, вновь заездили друг к другу родичи. Тормосовы подымались целым гнездом, великую силу народа уводили с собою. Онисим наведывался не раз и не два. Приезжал и Георгий, сын протопопов, тоже намеривший переезжать в Радонеж...

Шел снег, подходило Рождество. Теперь ждали только твердого наста да первого мартовского солнышка, чтобы по весне тронуться в путь. И уже охватывало нетерпение: скорей, скорей, скорей!

Кирилл почти не выезжал из Ростова. Передавал князю Константину складную грамоту, улаживал дела градские и посольские, платил на последях трудно добытым серебром татарскую дань, снимал честь местническую, навек отлагая от себя родовую славу. Отымались от старого боярина кормления и селы, слагались звания и почести.

Приходили, прощались, — а кто и не приходил вовсе, — некогда зависимые от Кирилла купцы, гражане, деловой люд. Кланялись в пояс, просили не гневать. Кирилл отдавал поклоном за поклон, иных, кому обязан был чем, награждал чести ради. Помалу награждал, помногу-то и нечем было уже! И чуял старый Кирилл, что словно раздевает себя, словно с уходом всех этих людей и людишек, купчин и смердов меньшает, умаляется и он сам...

Невеселым было нынешнее Рождество, невеселы Святки! Хоть и так же шатались ряженные в личинах и харях по селу, так же, с визгом, скатывались девки с парнями на санках с горушек, так же бешено гоняли разубранные упряжки лошадей на Масляной. Но терем боярский все это веселье задевало словно бы краем, словно бы и там, на селе, уже простились заране с разоренным великим боярином.

И как жаль, как страшно было лишиться уютных горничных покоев родимого дома, жарко горящей семейной божницы, тихого привычного угла в родимом дому!

. . . .

По весеннему санному пути уходили обозы. Тормосов обещал приглядеть за Кирилловым добром. Перегоняли скот. Опустели хлева, опустела челядня, и давно уже надо было и им самим сниматься с места, но все медлил Кирилл, все никак не умел доделать до конца все дел своих, перерезать или перерубить все нити, что связывали его с этой землею и с Ростовом. И дождались-таки распуты, и уже пережидали бездорожье, и уже когда стаивал снег и обнажалась земля, пустились наконец в путь.

Из утра в доме хлопают двери, выносят, торочат, увязывают. Варфоломей мечется, носит, помогая, вместе со всеми. За деловой суетою в предутренних сумерках некогда ни оглянуть путем, ни вздохнуть. Но вот уже и рассвело, и запряжены кони, и боярский возок Кирилла уже стоит на дворе. Всё!

Угасли огни в обреченном доме. Замотанные в дорожное платье, покидают горницы последние жители. Нянька ворча засовывает в печку старый лапоть, положив туда несколько теплых еще угольков, ласково зазывает «хозяина» — домового: «Поди, поди, хозяюшко!»

Крестят углы, кланяются, прощаясь с хоромами. Последними, уже вытащив наружу сундуки и укладки, бережно снимают иконы со стен, выносят, укладывают в боярский возок. И с этим настает конец дому. Теперь только непрошеный ветер станет гулять по опустевшему жилью, да летучие мыши повиснут под стрехою, да ласточки станут лепить свои гнезда в углах выморочных комнат. И скоро, очень скоро, ежели не найдется покупщик, прохудит и прогнется крыша, рухнут, подгнив, толстые переводы, осыпав землею и гнилью сырые полы, станут потаскивать то и иное мужики из окрестных деревень, а там — не огонь, так время и до зела истребят бывшую боярскую хоромину, сровняют с землею стены, в муравьиную труху обратив тесаные стволы, печь упадет грудою камней в красноватой осыпи, ямы затянет склизкой осенней сырью, густым бурьяном зарастет земля, и юные тонкие березки веселою порослью пробьются сквозь сор и тлен, укрыв все, что еще напоминало о человечьем житье, и обратив выморочную пустошь в веселую звонкую рощу...

На дворе, когда уже всё приготовилось к отъезду, видится, сколь их мало! Едва сорок душ набралось напоследях всей оставшейся верной Кириллу дворни. Ну, да еще те, кто уехал наперед с Яковом. Негустою толпой за воротами стоят провожатые, прибрели из деревни. Боярской чете на расставанье, кланяясь, подносят хлеб-соль. Мария принимает хлеб прослезившись. Священник кропит и крестит обоз. Но вот уставное благолепие рушится. Жёнки начинают голосить. Ульяния, соскочив с телеги, кидается на шею какой-то деревенской родственнице, и обе воют, словно хоронят друг друга. Под вой, шум, провожальные крики, чей-то смех и чей-то плач трогают первые телеги. Старый постельничий, ковыляя, бежит из-за дома, протягивает Кириллу что-то — оказывается, мешочек с родимой землею, забыли нагрести второпях.

Колеса на выезде глубоко врезаются в мягкую, только-только освобожденную из-под снега землю. Сзади машут шапками и рукавами, кричат, и непрошеные слезы навертываются на глаза Варфоломея, — словно в тумане расплываются лица провожающих и уходят, уходят вдаль. Он цепляется руками за борта телеги, тянет шею, стараясь еще узреть, еще увидеть что-то самое последнее. Кони, разбрызгивая грязь, уже идут рысью. Прощай, отчий край, прощай, Ростов!

ЧАСТЬ II

Глава 1

В давние, незапамятные годы новгородцы, пробираясь реками и переволоками сквозь сплошные леса междуречья, избрали и утвердили себе здесь дорогу — прорубили просеки, настлали гати на болотах, поставили памятные кресты на взлобках высоких берегов. Реки были полноводны, край нехоженый. Подымались по волжской Нерли и, ежели не входили прямо в Клещино озеро, откуда можно было по Трубежу и Каржачу достигнуть Клязьмы, то уклонялись правее, в речку Кубрь, в верху которой срубили на крутой горе Ждан-городок, а оттуда, лесными волоками и малыми реками, в истоках Сулоти и Дубны, путь шел на Ворю, в верховьях которой облюбовали себе гости новгородские высокий обрывистый мыс, что почти кругом обтекало рекою, делавшей здесь широкую излучистую петлю, обрыли рвом пологий скат холма, насыпали вал, поставили частокол с рублеными башнями по насыпу, углубили спуск к воде под стеною, воротнею башней укрепили узкую греблю, что только и соединяла обрывистый холм с материком, под холмом устроили пристань, поставили амбары и лабазы. Крепостцу от случайных набегов дикой мери или во-

иственных вятичей могла оборонить горсть ратных. Так и возник городок Радонеж, почти неприступный в те далекие патриархальные времена.

Давно уже ушли новгородцы из этих мест. Не два ли века минуло с тех пор, как пал в битве с суздальской ратью на Ждане горе новогородский посадник Павел, знатный землепроходец великого вечевого города; давно уже переняли и стали заселять местный край великие князья владимирские. Избранный некогда новогородцами речной путь был заброшен, ибо открылись иные, удобнейшие. Захирел маленький городок, и кабы не новая перемена судьбы, не быть бы Радонежу совсем — исчез бы он, как и многие иные, в густой щетине восставших лесов. Но открылась дорога из Москвы на Переяславль, утвержденный за собою властной рукою умного и дальновидного зачинателя Москвы, князя Данилы, «своя» дорога, мимо пока еще чужого Дмитрова, и вновь обрел значение древний городок, стоявший как раз на полпути от Москвы к Переяславлю. А там подоспела волна ростовских беглецов, и край глухой и дикий начал наполняться народом, стуком топоров, криками ратаев по вёснам. На вырванных у лесной глухомани пожогах поднялись рожь, ячмень и овес, и новые, теперь уже московские градодели принялись летать, рубить и достраивать бывшую новогородскую твердыню на крутой излуке извилистой лесной реки.

Земли эти князь Иван Калита, устроив и населив, завещал после смерти своей супруге, Елене, после которой они перешли к младшему сыну Ивана (в те поры еще и не рожденному!) Андрею. Но этого еще нет, это когда-то будет, и Иван Калита еще живет и здравствует, и борется с тверским князем Александром, хитрит с Узбеком, скупая в Орде ярлыки на чужие княжения, чтобы и там, как в Ростове, самому начать собирать ордынскую рать. Идет тихое, подобное просачиванию воды, устроение земли, и не будь «Жития» Сергия, написанного Епифанием Премудрым, нивесть, и узнали бы мы, как шло это, сквозь завесу веков невидное глазу перемещение людских потоков, всплеснувшее еще полстолетья спустя, когда и князь Иван и дети его давно уже упокоились в земле, дерзким величием Куликова поля.

В Радонеж приехали ночью. От холода и усталости пробирала дрожь. Тело, избитое тележною тряской, совсем онемело, сон одолевал до того, что перед глазами все начинало ползти и плыть. Хотелось одного лишь — куда бы ткнуться, хоть в какое-то тепло, и уснуть. Петю сморило так, что холопы его из телеги вынесли на руках. В темноте они стояли дрожа, словно куры под дождем, маленькой жалкою кучкой, потом куда-то шли, спотыкаясь, хлебали, уже во сне, какое-то варево, носили солому в какой-то недостроенный дом — с кровлею, но без потолка, отчего в прорехи меж бревнами лба и накатом виднелось темно-синее небо в звездах. Тут, на попонах, тюфяках, ряднине, накинув на себя что нашлось теплого под рукой — толстины, попоны, зипуны,— они все и полегли вповалку спать: слуги, господа и холопы, мужики, жёнки и дети. Кирилл с Марией одни остались в тесном, набитом детьми и скотиной поповском дому. Варфоломей едва сумел сотворить молитву на сон грядущий и, как только лег, обняв спящего Петюшу, так и провалился в глубокий, без сновидений, сон.

Утром он проснулся рано, словно толкнули под бок. Все еще спали, слышались тяжкое дыхание и стоны уломавшихся за дорогу людей. Какая-то жёнка хриплым от сонной одури шепотом уговаривала младеня, совала ему сиську в рот. Могуче храпели мужики. Прохладный воздух, вливаясь сверху, овеивал сонное царство. Между тем снаружи уже посветлело. Стали видны начерно рубленые, еще без окон, стены, в лохмах плохо ободранной коры, и висящие над головою переводы будущего потолка с каплями и сосульками свежей смолы. Варфоломей

тихо, чтобы не разбудить братика, встал, укрыл Петю поплотнее рядном и шубою и стал выбираться из гущи тел, стараясь ни на кого не наступить. С трудом отворив смолистое, набухшее полотно двери, он по приставной временной лесенке соскочил на холодную с ночи, все еще отдающую ледяным дыханием недавней зимы, в пятнах тонкого инея, землю и, ежась и поджимая пальцы ног, пошел в туман.

Бледное небо уже легчало, начинало наливаться утреннею голубизной. Звезды померкли, и близкий рассвет нежно-золотым сиянием уже вставал над неясной зубчатою преградой окружных лесов. Стройная, стояла близь деревянная островерхая церковь. Назад от нее уходили ряды рубленых изб, клетей, хлевов и амбаров. Над рекою, угадываемой по еле слышному журчанию, стоял плотный туман. С краю обрыва, к которому подошел Варфоломей, начиналось неведомое, за которым только смутно проглядывали вершины леса и светло-серый, почти незаметный на блекло-голубом утреннем небосводе крест второй церковки, целиком повитой туманом.

Вот легко пахнуло утренним ветерком. Ярче и ярче разгорался золотой столб света над лесом. Туман поплыл, и в розовых волнах его открылся город — сперва только вершинами своих костров и неровною бахромой едва видного частокола меж ними. Городок словно бы тоже плыл, невесомый и призрачный, в жемчужно-розовых волнах, рождая легкое головное кружение. Пронизанные светом опаловые волны тумана медленно легчали, тоньшали, открывая постепенно рубленые городни и башни, вышки и верхи церковные. Наконец открылся и весь сказочный, в плывущем мареве городок. Он стоял на высоком, как и рассказывали, почти круглом мысу, обведенный невидимою, тихо поющей понизу водою. К нему от ближайшей церкви вела узкая дорога, справа и слева по-прежнему обрывающаяся в белое молоко.

Вот вылез огненный краешек солнца, обрызнул золотом сказочные, плывущие терема и костры, и Варфоломей, замерший над обрывом, утверждаясь в сей миг в чем-то новом и дорогом для себя, беззвучно, одними губами, прошептал:

— Радонеж!

Потом, когда светлое солнце взошло и туман утек, открылось, что не так уж высок обрыв, и долина реки не так уж широка и вся замкнута лесом, и городок, как бы возникший из туманов, опустился на землю. Виднее стали где старые, где поновленные, в белых заплатах нового леса, стоячие городни. И костры городовой стены, крытые островерхими шеломами и узорною дранью, вросли в землю, как бы опустились, принизились. Но ощущение чуда, открывшегося на заре, так и осталось в нем.

Осклизаясь на влажной от ночной изморози, а кое-где еще и непротаявшей, твердой тропинке, он сбежал вниз, к реке, и напился из нее, кидая пригоршнями ледяную воду себе в лицо, и загляделся, засмотрелся опять, едва не позабыв о том, что его уже, верно, сожидают дома. И правда, по-над берегом доносило высокий голос Ульянии:

— Олфороме-е-ей!

Он единым махом взмыл на обрыв и тут в лучах утреннего солнца разом узрел и стоящий на курьих ножках смолисто-свежий, изжелта-белый сруб, и в стороне от него грудящихся под навесом коров, что уже тяжко мычали, подзывая доярок, и веселые избы, и розовые дымы из труб, и румяное со сна, улыбающееся лицо младшего братишки с отпечатавшимися на щеках следами соломенного ложа, взлохмаченного, только-только пробудившегося, и заботную Ульянию, и мужиков, и баб, что, крестясь и зевая, выползали, жмурясь на яркое солнце, и заливистое ржание коня за огорожею, верхом на котором сидел сам Яков, прискакавший из лесу на встречу своего господина.

Звонко и мелодично ударили в кованое било в городке, и тотчас стонущими ударами стали отозвалось било ближней церкви. Грудь

переполняло безотчетною молодой радостью — хотелось прыгать, скакать, что-то стремглав и тотчас начинать делать.

— Ауу! — отозвался Варфоломей на голос Ульянии и вприпрыжку побежал к дому, из-за угла которого — ему навстречу — уже выходил Стефан с секирою в руке, по-мужицки закатавший рукава синей рубахи. Начинался день.

Глава 2

Назавтра они всею семьей являлись волостелю. Внове и страшно было узнать Кириллу, что он, почитай, и не боярин уже, что несудимой грамоты на землю у него нет, что отвечивать ему теперь по суду придет не перед князем, а перед волостелем, или наместником, Терентием Ртищем (и вот еще почему Ртищ не похотел ближе сойтись с бывшим ростовским великим боярином! Неровня тебе тот, кого ты волен судить!) и что хоть он и вольный человек, муж, владелец холопов и земли, но когда выйдут последние льготные лета, придет ему и дани давать, яко всем, и мирскую повинность сполнять наряду с прочими, только что не в черносошные крестьяне записали его, а в вольные землевладельцы, и то благостыня великая!

И знал, и догадывал Кирилл, что будет именно так, а все надея была, глупая, тщеславная надея, что блеск прошлого величия, прежних заслуг на службе княжеской, когда он пребывал в нарочитом звании своем, что-нибудь да будут значить и здесь, на московской земле. Всё оказалось тщетою, обольщеньем ума, марой. И приходилось принимать сущее как оно есть, полной чашей испивать горечь бытия.

Но надо было жить, и не просто жить, а начинать жизнь сызнова. И повелись труды неусыпные. «Неусыпные» не для украсы словесной, а в самом прямом и строгом смысле этого слова. Коротка весенняя ночь! Но и то в дому Кирилловом вставали до свету, до первых петухов, а ложились когда уже багряные отсветы заката густели и меркали над отемневшей землей.

Мария твердою рукою взялась вести дом. Она еще подсохла, глубокие прямые морщины проборозднли щеки. Когда и сколько она спала — никто толком не знал. Из утра, до петухов, она уже была на ногах, наряжала на работы, шила, пекла и стряпала, доила коров и кормила телят, сама пряла шерсть и лен, успевая в то же время надзирать за всем обширным хозяйством, видеть работу каждого, да и сверх того каждому находить когда строгое, когда и утешительное слово, ободрить, приласкать, успокоить; лечила ожоги, поила болящих травами, ободряла Кирилла, изрядно опустившегося и потишевшего на первых порах. А когда заглядывали то Юрий, то Онисим, то который ни то из Тормосовых или местных радонежан, умела и гостя принять, и не теряла ни перед кем повелительной осанки своей, паче мужа блюла гордость боярскую. Казалось, именно про нее были сказаны слова о жене, день и ночь неустанно утверждающей руце своя на всякое деланне благопотребное, а ум простирающей на служение мужу и Господу Богу своему.

Под ее строгим взглядом и мужики не теряли себя, рубили хоромы, валили лес, готовили пашню под новый посев, чистили пожни. Приходило работать секирою и тупицей, пешней и мотыгою, теслом и скобелем, молотом и сапожною иглою. Мяли кожи и сучили дратву, тачали и шили, гнали деготь, чеботарили и лили воск.

Не хватало людей, да и приказать, как прежде, нельзя было уже — вольные смотрели поврозь, ладили отойти от господина жить в особину, слободскими землепашцами. Кабы не дружные усилия всей семьи, кабы не Стефан, развернувшийся на диво, не одюжил бы Кирилл и первого года своего в Радонеже, хоть и помогали ему, сильно

помогали наездами Тормосовы, и Онисим не оставлял родича, а все же тем и самим несладко было поперворсти выставать вновь на радонежской новине!

Стефан въелся в работу свирепо. Он рубил, тесал, ворочал тугие стволы, сам ковал коней, сам щепал дрань на хоромы. Сухощав, высок и крепок, с серебряным крестом на распахнутой груди, с огневым мрачным лицом, он круто и безошибочно вырубал чашею углы, проведя чертою, твердо брал секиру и в один дух, не останавливаясь, проходил весь ствол, выгоняя затем словно играючи бело-розовый смолистый паз; сам-один, бледнея от натуги, ворочал неподъемные дерева, лихо клал на мох, покрикивая на холопов, которые (те, что не покинули господина своего) слушались теперь Стефана беспрекословно.

Варфоломей любовался братом. Изо всех сил, стараясь не отстать, спешил прежде слова исполнить любое его повеление. Не обижался, когда Стефан, принимая его работу, лишь молча, коротким кивком одобрял любовно и чисто вырубленный створ двух бревен или выглаженную до блеска Варфоломеевым топором колоду окна. «Где, как и когда навык брат все это делать? — восхищенно думал Варфоломей, изо всех сил по Стефанову указанию умная сыромятину в вонючей жиже широкого дубового корыта.— Откуда он знает мужицкий труд?»

Стефан частенько и ошибался, конечно, и творил не так и не то, и, наливаясь темною кровью, склоняя чело, подходил к Якову ли, или к кому из опытных мастеров прошать о том, и другом, и третьем, но Варфоломей в юношеском обожании своем вовсе не замечал огрехов старшего брата, даже и тогда не чуял их, когда Стефан, наказав ему что-нибудь делать, являлся вечером, после целого дня старательной работы Варфоломея, и говорил угрюмо:

— Не так! Выкидывай всё! Наново зачинай!

Первый раз это случилось с копыльями, которые Стефан неверно разметил, а Варфоломей по его указке наготовил целую гору, испортив заготовленное дерево. Копылья были слишком глубоко зарублены и не годились в дело. Стефан, в молчаливой ярости ломал и швырял копылы об пол, а Варфоломей смотрел молча, жалея брата паче собственного загубленного труда.

Когда впервые пошли на пожогу, Стефан, глянув искоса, повелел Варфоломею сурово:

— Лапти обуй! Сапоги погубишь!

Варфоломей переобулся без слов.

В синем дыму, в сплошной горечи низового пожара, задыхаясь и кашляя, надрываясь над вагою, которой он выворачивал горелые пни и шевелил чадящие кострища, Варфоломей скоро оценил братнин совет. Ноге стало вдруг горячо, и, глянув вниз, он увидел в дыму свой собственный затлевающий лапоть. Воды не было, и пришлось долго совать и возить ногою по земле, прежде чем смолисто занявшийся лапоть окончательно потух.

В дыму точно призраки шевелились люди, открытыми ртами, словно рыбы, вытащенные из воды, хватали дымный воздух, кашляли, выжимая слезы из воспаленных глаз. Временами то тот, то другой, отшвыривая вагу, с руганью отбегал вон из пожара к близкому болотцу, там валился ничком в сырой мох, на несколько блаженных мгновений погружал обожженное лицо в холодную ржавую воду. Один Стефан, черный, страшный, с пронзительными белками глаз на закопченном лице, так ни разу и не ушел с пожоги. Скалясь, сцепив зубы, ворочал и ворочал вагою, кучами таскал мелкий сор, раздувая костры, обжигаясь, выпрыгивал прямо из пламени и снова, сбив и охлопав предательские искры с затлевающей свиты, кидался в огонь.

Окружный лес то совсем заволакивало дымом, и тогда крайние дерева словно висели в густом чаду, лишенные подножия своего, то дым

прижимало на миг к земле повеявшим с вершин ветром, головы людей выныривали из тумана, свежий дух врывался в опаленные легкие, и снова тяжкая едучая мга подымалась ввысь, заволакивая все окрест.

Варфоломей ворочал и ворочал, размазывая сажу и пот по лицу, временем поглядывая на Петра — не провалился бы невзначай в какую огненную яму. Когда ставало невмоготу, читал про себя «Отче наш» или свой любимый псалом: «Кáмо пойду от духа твоего, и от лица твоего кáмо бежу? Аще взыду на небо, ты тамо еси, аще сниду во ад — тáмо еси, аще возьму крилé мои рано и вселюся в последних моря, и тамо бо рука твоя наставит мя, и удержит мя десница твоя!». Ад был похож на пожогу, а спрятаться в глуби моря ужасно хотелось в такие мгновения, но после псалма как-то становилось легче: душа, а с нею и руки и тело обретали утерянную твердоту. Петя уже дважды уползал в лес — отлеживаться. Варфоломею очень хотелось того же. Но Стефан не уходил с пожоги, и, ломая себя, не уходил и Варфоломей.

Низилось солнце, темнело. Ярче горели костры. Пресохшее дерево веселее занималось белым пламенем. В середке пожоги, где были навалены большие кучи пенья-колодья, ярел и ширился высокий, шатающийся под ветром огонь.

В какой-то миг на пожоге появилась мать, Мария. В горьком тумане, высокая и легкая, подошла к Варфоломею, словно видение, и протянула берестяной жбан с квасом: «Испей!» Варфоломей пил захлебываясь, не в силах оторваться даже, чтобы передохнуть. Напоив среднего сына, Мария, щурясь и подвертывая голову от огня, двинулась дальше — искать Стефана.

Костры догорели и сникли только на рассвете. И до самого рассвета Стефан с Варфоломеем ворочали вагами костры, помогали огню, корчевали и стаскивали в кучи тлеющие сучья и тяжелые хвойные лапы, что, подсохнув, вспыхивали слепительными мириадами искр.

Стефан,— мало поев и едва соснув на лесной опушке, подстеливши свиту и завернув голову от комарья,— на заре снова был на ногах, и Варфоломей, оставшийся по примеру брата стеречь костры, у которого уже никаких решительно не оставалось сил — ни душевных, ни телесных, — тоже встал, шатаясь, с трудом и болью разгибая онемевшие члены, и, почти рыдая, побрел вслед за братом, тяжко ступая по горячему пеплу в огонь.

После пожоги не пришлось даже передохнуть, ни отмыться путем. Подпирали иные заботы. Снова надобно было брать в руки топоры, ворочать камни, месить глину и ладить упряжь.

Варфоломей в тот день, как воротились с пожоги, лег было спать без обычной вечерней молитвы. Но и обарываемый сном, тихо скуля от боли, от сухого жжения опаленной кожи, все-таки поднялся, добрел до иконы и встав на колени (ноги уже не держали) горячо поблагодарил Господа за данные ему силы к труду. И стало легче. Одолев себя, уж и разогнуться сумел, и твердо дойти до ложа, и солому перетряхнуть. Еще подумал валясь, что сейчас, наверное, лицом напоминает Стефана, и — не додумал, унырнул в сон.

Назавтра брат, свысока глянув на обгорелые останки лаптей в руках у Варфоломея, процедил — скорее себе самому, чем Варфоломею:

— И лапти плесть надо уметь самому! — Подумал, поджав рот, повелел: — У Григорья возьми новую пару, заутра пахать идем!

Поздно вечером Варфоломей пробрался в челядню, где густо грудились в кухонном чаду и дыму остатние Кирилловы холопы с жёнками и детьми, подсел к Тюхе Кривому, который как раз ладил берестяной кошел... Не говоря о том ни слова Стефану, сократив отдых и сон, Варфоломей за две недели выучился прилично заплетать и оканчивать лапоть, постиг прямой и косой слой, уразумел, как ловчее всего действовать кочедыгом.

Тюха не шутя похваливал боярчонка. У Варфоломея и верно был талант в руках. Каждое дело к тому же он начинал постигать старательно и не срыву, не стыдился, как Стефан, спрашивать и раз, и два о том, чего не понимал, и, отдаваясь работе, забывал думать о себе, не разглядывал себя со стороны, как другие, не гордился, но и не приходил в отчаяние от неудач. Потому, верно, и получалось у него быстрее и лучше, чем у прочих.

Стефан подивился Варфоломееву уменью:

— С чего это ты?

— Сам же баял... про лапти... надо уметь...— смущенно отозвался Варфоломей. Повертев перед глазами пару лаптей, сплетенных братом, Стефан похвалил снисходительно чистоту работы. Варфоломей весь, до кончиков ушей, зарозовел, даже в жар бросило от Стефановой похвалы. Редко хвалил его брат! Еще и с того, что не замечал Варфоломей своих успехов в труде. И когда сравнялся со Стефаном в плотницком уменье, не возгордился тем, наивно продолжая считать брата мастером, а себя всего лишь робким подмастерьем.

Петр, тот работал хоть и старательно, но без огня и надсады, не лез изучать каждое ремесло подряд. Когда братья брались за топоры и ваги, Петр чаще всего возил и растаскивал бревна конем. Когда Стефан или отец поручали ему какое дело, исполнял старательно сказанное, но не более того, а на брань улыбался покорно, не теряя обычного своего спокойствия. Впрочем, Стефан к младшему брату и не придирался так, как к Варфоломею, с которым, уже и сам чуял, повязала их какая-то иная, бóльшая, чем у обычных родичей, связь. Темными вечерами, обарываемый сном, он порою толковал Варфоломею о гностиках и тринитарных спорах, об Афанасии Великом и Оригене, объяснял, в чем заключалась ересь Ария и как надо понимать вочеловеченье Христа, и что такое пресуществление в таинстве евхаристии. Дом уже спал, уже задремывала сама Мария, раньше всех подымавшаяся на заре, а братья сидели, прижавшись плечами друг к другу, тело гудело от целодневного труда, а ум, освобождаясь от вязких пут суедневности, уносился в выси духовных сфер. Звучали произносимые хриплым шепотом удивительные слова: «плирома», «эоны», «тварный свет»; перед мысленным взором проходили неведомые города из высоких затейливых хором, какие пишут на иконах, и жар протекшего летнего дня претворялся в жар далекой ливийской пустыни, где мудрые старцы свершали свой подвиг отречения от благ мирских.

Когда труд творится по принуждению или по тяжкой, приходящей извне обязанности, не овеянной духовным смыслом, не пережитой, как внутренняя, из себя самоё исходящая потребность, тогда труд — проклятие и бремя. И тогда человек, обязанный труду, тупеет, что сказывается и во всей внешности его, в безжизненном, не то сонном, не то свирепом, выражении глаз, в тяжелом складе лица, в угрюмой согбенности стана, в культяпистости грубых, раздавленных работою рук. Но тот же труд, столь же и более того тяжкий порою, но пронизанный высшим смыслом, горней мечтою, творимый сознательно и по воле своей,— тот же труд, но понимаемый как подвиг, или завет предков, или дар Господень, враз изменяет значение свое, придает свет и смысл самому бытию человеческому, оправдывает и объясняет всю громаду духовных сущностей, творимых в веках разумом людским. Ибо только знающий цену труду знает и истинную цену слову, подвигающему на труд и подвиг.

Пока еще сохами ковыряли горячую землю пожоги, морщась от пепла, что клубами вздымался из-под ног и лошадиных копыт, а рало то и дело цепляло за корни дерев, и дергался взмыленный конь, храпя и приседая на круп, Варфоломей, в плечах и коленах которого не прошла еще боль недавней огненно-дымной работы, не чуял ничего, кроме истомы телесной да редких мгновений радости, когда рало шло,

взрыхляя чистую землю, пока очередное полусгоревшее корневище не останавливало коня, и приходилось рывком выдирать тяжкое рало из земли, перемешанной с пеплом, и вновь налегая на рукояти сохи, вгонять его в лесную нетронутую целину. Не чуял ничего, кроме устали, он и вечером, возвращаясь домой и зная одно: пока не свалился в постель, надобно омыть тело и сотворить молитву Господу. Но вот окончили пахать, собрали и сожгли останние коряги и корни. Легкий дождик, спрыснув пожогу, прибил пепел и тлен, и настала та святая минута, когда пришло сеять в землю зерно.

И как осуровели, каким внутренним светом наполнились лица! Как торжественно насыпали в кадь и в пестери припасенную рожь, как крошили в кадь с семенным зерном сбереженный пасхальный кулич, и ставили свечи, и священник читал молитву, обходя кадь с рожью,— это всё было с вечера. А наутро, прибыв на пожогу еще по росе, старики Онтипа и Тюха, а с ними Яков со Стефаном (молодого боярина созвали из уважения), разувшись и повеся себе пестери на плеча, пошли, перекрестя лбы и пошептав молитвы, по вспаханному полю, одинаковым движением рук разбрасывая сыпучие струи зерна. И следом за ними, мало пождав, двинулись две конные упряжки с деревянными боронами, одну вел Варфоломей, другую Петр. И хоть пожога была не близко от дома, но и Кирилл с Марией к пабедью тоже явились на поле, когда уже земля, разбитая боронами, лежала, ровная, на большей части бывшей пожоги, грачи и вороны с криком вились над пашнею, норовя ухватить незабороиованное зерно, и мужики, намахавшись вдосталь, уже заканчивали сев.

Потом шли к телегам, и Тюха толковал Стефану как равному, что тот крутовато заносит длань, надобно поположе, тогда ровнее ляжет зерно и не будет огрехов. Варфоломею в самом конце работы тоже дали немного побросать зерна, и он с замиранием сердца, хоть и неумело еще, взмахивал рукою и кидал разлетающуюся в воздухе горсть семян, всею кожей ощущая творение чуда: чуда воссоздания нового бытия из семян предыдущей жизни. «Знайте же, не умрет зерно, но прорастет! А упавши на почву добрую, даст сторицею»... Вечная тайна! Вечный оборот бытия. Всё тот же и всегда новый круг воссоздания творимого. Не так же ли точно и Творец силою вышней любви постоянно творит и обновляет земное бытие? И тогда во всем, что вокруг и окрест нас,— Его дыхание, Его воля и тайна великая!

Теперь минувшая пожога уже не гляделась страшною, и прерывистый, царапающий землю ход сохи получил оправдание свое. Творя — воссоздавай, и будешь творить по воле Господней!

Вечером все вместе сидели за праздничным столом. Вот и засеяна первая пашня на здешней стороне, первый корень пущен в землю новой родины!

(Окончание следует)

ВИКТОР СМИРНОВ

ЧЕРНЫЙ ВЕТЕР, КРАСНЫЙ ВЕТЕР

* * *

Не так избушки жалко, как сады...
Стоят они, ничейные,— и плачут.
И яблоки за листьями не прячут:
Бери, согрейся вспышками страды.

Вдруг ощутишь, душою не юля,
Как могут убивать слова родные:
Ничейный дом. Ничейная земля.
Ничейный сад. Ничейная Россия...

* * *

Луна за липы прячет око...
И над молчанием дорог
До слез печально, одиноко
Восходит в небеса дымок.

И так в округе нелюдимо
От кладбища и до столба,
Что мнится: на веревке дыма
С тоски повесилась изба...

* * *

Даже летом — дыханье мороза.
Люто звезды во тьме зацвели...
И последняя в поле береза
Богу молится до земли.

Смыть проклятие небосвода
Не дано, видать, под луной
Ни слезой моего народа,
Ни моей горючей слезой.

Сердце птицею пленною мечется,
Тайно страшное говоря:
На лице моего Отечества —
Кровь невинных детей царя.

СМИРНОВ Виктор Петрович родился в 1942 году в деревне Киселевка Смоленской области. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор поэтических сборников «Русское поле», «Прялка матери», «Ночная птица», «Трава под снегом» и других. Член Союза писателей СССР. Живет в Смоленске.

* * *

Вот он, луг, где вволю покосили
Руки деда, а потом — отца...
Черный ветер рыщет по России,
Рушит избы, храмы и — сердца.

Черный ветер — это ведь не
шутки! —
Из воды выходит вновь сухим.
Черный ветер гасит незабудки
Дьявольским дыханием своим.

Черный ветер, словно по канату,
Мчится в небо, плещет из ведра.
И, вдовою прислонясь к закату,
Плачет одинокая ветла...

Я его в родимом поле встретил,
Я его за многое простил:
Он из рук того, кто красный ветер
По земле моей родной пустил...

* * *

Проснешься ночью где-нибудь
в глуши,
Забытой Богом, а Кремлем —
тем паче...
Там самогон отчаянно глуши
Весь день — от скорби.
Ты умрешь иначе.

Там три калеки брошены в селе —
Пора такая горькой дичкой зрела.
Как та буханка на пустом столе,
Душа забыто в теле зачерствела...

...Мороз к утру, видать,
с ума сойдет.
Лежишь ты, греясь теплыми
слезами.
А в небе одинокий самолет
Меж тем скрипит крестьянскими
санями.

Пространство выть с тоски обречено:
Тот звук в тиши — пронзительнее
стона.
И слепо смотрит в темноту окно,
Синея, как бутылка самогона.

Такая грусть с ночных высот сойдет,
Так больно вдруг за всех на свете
станет!
Полозьями грудь ранит самолет.
И след из слез меж звездами сияет.

Есть что-то очень русское в зиме.
И потому, летя над лютой бездной,
На этой Богом проклятой Земле
Ты одинок — как твой двойник
небесный.

Отечественный архив

БОРИС ШИРЯЕВ

НЕУГАСИМАЯ ЛАМПАДА

РОМАН

Глава 30
ЛАМПАДА ТЕПЛИТСЯ

Спустя несколько лет по выходе из Соловецкого концлагеря я читал историю русской литературы в советских вузах. Тот, кто представляет себе эту работу хотя бы отдаленно напоминающей, не говорю уж о Московском Императорском университете даже пресловутой эпохи министерства Кассо, но и канувших в вечность времен Магницкого, горько ошибется.

Свободная человеческая мысль при Магницком была скована. И только. Но она не была подменена обязательной, преподанной лектору свыше ложью, целой системой извращений, ловких, детально продуманных подтасовок, сложных, подчиненных единому плану построений.

Самое честное, что может делать советский лектор, — четко и сухо излагать допущенные цензурой факты и относящиеся к ним положения советской марксистской критики, не крича порожденного социалистической подлостью ура и не раболепствуя перед фетишами гнуснейшего из времен.

О прочем — молчание.

Мысль студента не только замкнута, как это пытался, но не мог сделать Магницкий, она направлена по определенному пути. Сойти с него — значит погибнуть почти наверняка. Немногие находят в себе силы для этого подвига.

*
* *

Однажды, когда я проходил по коридору института, меня догнал студент и молча пошел рядом, выжидая выхода из обычной во время перерыва толкучки. Так бывало часто, когда предвиделся внеочередной контроль райкома комсомола или спецотдела НКВД. В этих случаях студенты всегда старались предупредить меня брошенной на ходу фразой. Я ждал ее и теперь, но оказалось иное.

— Прочтите, когда у вас будет время, — сунул он мне толстую тетрадь.

Конечно, стихи. Это тоже бывало часто и являлось очень тяжелым дополнением к и без того трудной, напряженной, глубоко тягостной, полной компромиссов с совестью работе.

Читать в немногие свободные часы топорно и пошло рифмованные переложения статей «Правды» мало радости, а еще меньше ее в составлении пустых и

Окончание. Начало в №№ 4—9 за 1991 год.

столь же пошлых рецензий с советом учиться у Пушкина и Маяковского... Но принять надо. Иначе — обида, возможен и донос.

На этот раз дело обстояло лучше: стихи оказались довольно грамотным технически и глубоко искренним подражанием Лермонтову. Эпиграфом к ним стояла его строчка:

«Я мало жил, я жил в плену...»

Мятежная тоска Лермонтова, томление одиночества, порывы к неведомым далям, скорбные предчувствия, нежная грусть созерцания — все это было воспринято, прочувствовано автором глубоко, юношески пламенно, чутко, и не его вина в том, что мощный гений ушедшего века подчинил своим формам душу подсоветского юноши.

Я решил не писать пустых слов, а, выбрав подходящий момент, поговорить с юным поэтом. Он был хорошим студентом, явно стремился не к получению диплома, а к знаниям, прочитывал не только требуемое программой, но старался, поскольку это было возможно, взять шире, глубже, даже прорваться в запретное.

Удобный момент подвернулся довольно скоро. Мы случайно встретились в библиотеке и остались одни в ее задней комнате. Заговорили о Лермонтове, и вдруг...

— Поймите меня Борис Николаевич, не советский я человек, не советский,— схватил меня за руку студент,— тяжело мне, ненавижу я всё, дышать нечем и.. сам не знаю... чего хочу. Жить хочу!

Что мог я тогда ответить крику, воплю этой души, рвавшейся из плена? Что мог я предложить ей? Фиговый листок компромисса? Юность не приняла бы его. Мудрость углубления в себя, отрешения от окружающей гнуси? Восемнадцатилетнему, по праву своих сил рвущемуся в жизнь? Да и мог ли я говорить прямо, откровенно, без страха за себя и за него?

Самым честным было сказать:,

— Никогда и никому не говорите того, что сказали сейчас.

— Да ведь я вам только...

— И мне тоже.

Студент поднял на меня свои лучистые, голубые, как васильки, широко открытые глаза, потом опустил их на тетрадь.

— Ну, а если в редакцию снести... как думаете, напечатают что-нибудь?

Я покачал головой.

— Не стоит. Только лишний раз тяжело вам станет.

— Почему? Напечатали же Никонова? Разве мои стихи много хуже?

— Не хуже, а много лучше. Но вспомните, что писал Никонов?

— Да, конечно. Он колхоз восхвалял, а я так не могу. Вот зарежьте меня на этом месте, все равно не выйдет.

— И не надо, чтобы выходило. Никонов мне тоже свои стихи давал, целых три тетради. Все они одного вашего стихотворения не стоят. Но... берегите вашу ценность в себе, она вам пригодится... в этом поверьте мне!

Голубые лучистые глаза снова поднялись на меня.

— Когда?

— Не знаю. Думаю, что всегда. Всю жизнь. Сегодня, завтра, послезавтра...

— Эх, не того мне хочется, не того... Не себе, а людям! Понимаете? Не в себя, а наружу!

Больше мы не разговаривали с ним наедине, но на лекциях я всегда видел эти большие, ясные, как лесные озера, устремленные на меня глаза.

«Когда же ты скажешь нам правду? — спрашивали они. — Вот это самое главное, то, для чего нужно жить, стоит жить... хочется жить... Когда?»

Встречая их лучи, мне становилось стыдно. И за себя и за... Россию.

В первые дни войны его, как и большую часть студентов старших курсов, призвали. Мы прощались, говорили пошлые, вязнувшие на зубах, мертвые, пустые, ненужные слова.

Потом я узнал, что он был убит в первых же боях. Избранный им эпиграф «я мало жил, я жил в плену» оказался пророческим.

* * *

Так близко, как с этим студентом, за все время моей педагогической и редакционной работы в Советском Союзе мне приходилось соприкасаться редко. Но попытки к такому сближению, стремление взять от моего опыта прожитой жизни то, что было скрыто от них, замкнуто, запретно, то, чего жадно требовали юные души,— было много, чаще всего они шли по руслу поэзии. Иногда она была лишь наивной маскировкой вопросов, давивших изнутри молодежь.

— Вот у меня тут трех строчек не хватает, — протягивает мне вырванный из тетради листок студент.— Вы, наверно, помните. Память у вас замечательная... скажите, я запишу.

На листке Гумилев, Есенин (чаще всего — появившийся лишь раз в печати и исчезнувший «Черный человек»), Ахматова... Реже М. Волошин. Эти листки бродили по рукам, переписывались друг у друга. Я видел целые тетради таких не запрещенных официально, но изъятых из обращения стихов. Попадались и ненапечатанные стихи, запрещенные, «Ответ Демьяну» и непристойные, колкие эпиграммы Есенина, рожденная еще в 1917 г. «Молитва офицера» и другие неизвестных мне авторов.

Такие же тетради в руках советской вузовской молодежи видели и многие мои коллеги, причем все мы сходились, отмечая одну характерную подробность: в конце 20-х и начале 30-х годов подобных тетрадей и листков не было совсем. Во второй половине 30-х годов их число стало быстро возрастать.

Собиратели стихов принадлежали обычно к поколениям, рожденным после 1917 г. или немного раньше его. Старшие (в советские вузы принимают до 40 лет), как правило, таких стихов не собирали, за исключением редких единиц из семей старой интеллигенции. Тетради попадались даже и в старших классах средней школы, чаще у мальчиков, чем у девочек.

Будучи уже в эмиграции, мы услыхали еще об одном ярком и парадоксальном факте того же порядка: единственный сборник стихов А. Ахматовой, вышедших при Советах, был выпущен по приказу Сталина, вызванному просьбой его дочери Светланы. В литературных кругах Москвы он и ходил под кличкой «подарок Светлане». Светлана Джугашвили принадлежит к тому же поколению... Она тоже была советской студенткой, хотя и особо привилегированной академии. Но из той же академии вышел Климов [1].

За год до войны в программу выпускного класса десятилетки и педагогического училища включили «Войну и мир».

Не подлежавшая оглашению инструкция требовала «заострить внимание учащихся на проявлениях героизма и патриотизма офицеров и солдат». Образ русского офицера впервые в советской школе получил право на положительную оценку. До того замалчивался даже подвиг Миронова, умело заслоненный великодушием Пугачева.

У профессоров и преподавателей развязались руки и языки. И не только у них, но и студенты заговорили своими, а не казенно-рецептурными словами.

В педагогическом институте, где я преподавал тогда, я затратил на «Войну и мир» два месяца, в педагогическом училище два с половиной. В общей библиотеке этих учебных заведений был только один комплект этого произведения Л. Толстого, не запрещенного до тех пор, но... ограниченного для обращения.

Я забрал все четыре тома себе и выдавал их после лекции строго в очередь на очень короткие сроки. Лучшие места мы читали в классе по моему личному экземпляру.

«Война и мир» открыла советскому студенчеству новый мир. До того это исключительное произведение Толстого читали немногие, и вряд ли сам Лев Николаевич мог предположить, что его эпопея-хроника станет в грядущих годах подлинной бомбой революции воспрянувшего духа в умах и сердцах русской молодежи.

Читали ночами, собираясь в кружки. Рвали книгу друг у друга на час, на полчаса.

Синее, беспредельное небо над Аустерлицким полем открылось тем, кто ви-

[1] Г. Климов — офицер РККА, перебежчик 1949 года, автор очерка «В Берлинском Кремле» («Посев», 1950 г.) и других. Яркий антимарксист.— Б. Ш.

дел в нем до того лишь советскую муть и копоть пятилеток. Нежным цветением отнятой у весны черемухи дохнул первый поцелуй Наташи.. Непонятное, еще не осознанное, но влекущее, торжественное таинство духовного преображения призывало к себе со смертного одра князя Андрея...

— В начале всего — Слово, и в Слове — Бог!

Окончив чтение и разбор «Войны и мира», я задал контрольную тему: юношам — «Формы героизма по «Войне и миру»; девушкам — «Формы любви по «Войне и миру». Сначала студенты были озадачены, даже ошеломлены такой необычной для советской школы, еще недавно немыслимой «постановкой вопроса». Потом... потом, проверяя тетради, я впервые за все подсоветское время услышал подлинные, звонкие, смелые и радостные голоса юности, прочел слова, найденные в сердцах, а не в передовицах «Комсомольской правды».

* * *

Вскоре я услышал их снова. Началась война, пришли немцы. Институт был закрыт. Я выпускал и редактировал первую и самую крупную из выходивших на Северном Кавказе свободных русских газет (цензура немцев касалась лишь военного материала). Бывшие студенты скоро нашли дорогу в редакцию. Статей приносили мало, но много писем, вопросов, требований.., и, конечно, стихов!

Маски спали. Чары оборотня на короткий, только пятимесячный срок потеряли силу для нашего города. В наскоро оборудованных церквах говели, каялись, исповедовались и причащались. В редакцию несли письма. В большинстве спрашивали, в некоторых тоже исповедовались. Иногда не желали показывать свои лица, приносили, оставляли у входа и скрывались.

Требовали ответов на самые разнообразные вопросы, начиная от бытия Божьего и кончая правилами хорошего тона («стыдно ведь перед немцами, а мы не знаем...») Во многом и каялись. Чаще всего в грехе вынужденной лжи и другим и себе самому.

И во всех этих письмах, вопросах, исповедях светилось вновь вспыхнувшее бледное пламя лампады последнего соловецкого схимника, пробудившейся и оживающей совести — Неугасимой Лампады Духа.

* * *

В областном южном городе, где я жил, ко времени прихода немцев осталась только одна церковь, кладбищенская, за полотном железной дороги. В нее приходили лишь те, кому или нечего уже было терять, или по возрасту ничего не угрожало.

В течение первых двух недель по приходе немцев в городе открылось четыре церкви. К концу месяца во вновь образованной епархии было уже 16 церковных общин. Образовывались и еще, но не хватало священников. Резерв их, таившийся за бухгалтерскими конторками, у прилавков хлебных ларьков и даже в ассенизационном обозе, был исчерпан.

Все эти приходы возникали «снизу»: собиралась группа верующих, искали и находили священника, очищали обращенный в склад или клуб храм, украшали его сохраненными на чердаках и в подвалах иконами, освящали, подбирали хор... Прежних полуразрушенных церквей тоже не хватало. Приспосабливали под храмы опустевшие клубы и залы учреждений.

Репортеры нашей молодой газеты бывали на службах и давали о них заметки и очерки. В них единогласно отмечался наплыв молодежи. В общинах накоплялись полярности — старость и юность, средний возраст составлял меньшинство.

Что влекло молодежь в церковь, установить более чем трудно. Это был сложный комплекс чувств, в котором было и стремление к запретному прежде, было не изжитое национально-религиозное глубинное чувство, была и жажда подняться над уровнем повседневности — устремление духа ввысь, но было и простое любопытство, была и потребность в необходимых человеку зрелищности и музыке.

Молодежь охотно шла в хоры и прилежно училась церковным напевам и их словам. Ушедшие из жизни поэты-псалмопевцы, творцы проникновенных молитв

и выспренних акафистов, пробуждались и выходили из могил. Души богвдохновенных слов оживали.

Скоро в новых общинах начались крещения взрослых. Сначала крестились одиночки, потом группами. В большинстве это были девушки. Среди них нередко бывшие комсомолки. Некоторых я знал поверхностно, по институту, одну из них ближе. Ее звали Таней К.

Семья Тани не была религиозной, и она, родившаяся в годы нэпа, никогда за всю свою двадцатилетнюю жизнь не была в церкви. О Боге дома не говорили ни «за», ни «против». Он был просто сам собой, без борений и надрывов, вычеркнут из обихода мысли и чувства. В школе, в пионеротряде и позже на собраниях комсомола религию трактовали так, как указано в «учебнике» Ярославского, но говорили о ней только по обязанности, без положительного или отрицательного стимула в самих себе.

Представление о Творце мира и человека, вернее, лишь мысль о Нем, пришли к Тане из прочитанных ею книг, наиболее ярко со страниц Тургенева.

— Почему Лиза Калитина в монастырь пошла? — остановила она меня, догнав в коридоре после лекции.— Именно в монастырь, а не за границу куда-нибудь уехала или в Москву?

— По понятиям того времени, она совершила грех и пошла его искупать, — ответил я трафаретной фразой.

— Какой же грех? В чем он? И как искупать? Зачем? Что такое — искупать? — посыпались на меня ее страстные вопросы. Она говорила быстро и жадно, именно жадно хотела ответов.— Почему вы ничего не сказали об этом на лекции?

— Богословие не входит ни в нашу учебную систему, ни в мою компетенцию,— плоско отшутился я, чувствуя, что этой шуткой я бью по какой-то живой ране, но это был все же самый мягкий и безболезненный из всех возможных ответов.

— И о «Живых мощах» ни слова нам не сказали! Даже не упомянули. Почему? — повторила она настойчиво, почти злобно.

— В программе их нет, а для работы вне программы нет времени у меня,— ответил я тоже почти со злобой. «Думаешь, не сказал бы иным студентам... с не вам, диаматовым комсомольцам!» — добавил я мысленно.

Второй раз я говорил с нею в местном театре на представлении «Гамлета». Спектакль был среднепровинциальный, сам Гамлет — очень плох, а Офелию играла молодая свежая артистка. Играла трепетно и скромно; Офелия жила.

В одном из последних антрактов Таня подошла ко мне, и снова посыпались ее требовательные, упорные «почему». Ее что-то жгло внутри, что-то толкало. Куда? Этого она не знала сама.

— Почему она сошла с ума? Почему потонула? Почему Гамлет не поднял дворцовую революцию? Это было бы легко сделать.

— Ну, уж с этими вопросами вы лучше к Семену Степановичу обращайтесь,— отмахнулся я, назвав имя коллеги, читавшего европейскую литературу.— Он на Шекспире специализировался.

— Обращалась,— ответила Таня уныло,— он нам даже внекурсовой доклад сделал о Гамлете... Только опять ничего нужного не сказал. Эпоха и среда.., отмирающий феодализм и наступление торгового капитала.. Это мы и без него знали. Но что ж? Ведь не из-за торгового же капитала Офелия в реку бросилась? — добавила она с горькой усмешкой.

В комсомоле Таню считали стойкой в отношении комсомольского жупела — «бытового разложения», но склонной к «уклонизму» и даже к «бузе». Поступавшие сверху директивы она встречала или с подлинным энтузиазмом, или с протестом, порою даже нескрываемым. Тогда ее приходилось «уламывать», «дорабатывать» и даже «призывать к порядку» — тяжкий грех для правоверной комсомолки.

Репортер, дававший очерк о крещении Тани, с ней самой не говорил, а обратил главное внимание на церемонию и присутствовавших на ней. О Тане он сказал лишь, что в момент крещения «глаза ее светились, и по лицу текли слезы...» Эти слова вряд ли были только риторическим украшением заметки. Я помню синие звезды вопрошающих глаз, устремленные на меня в коридоре института. Да, они могли светиться отблесками Неугасимой Лампады. Тень членского билета ВЛКСМ была не в силах закрыть от Тани ее лучистого сияния.

Глава 31
ПАВШИЙ НА КЕРЖЕНЦЕ

Поручика Давиденко я встретил впервые в мае 1943 г. в Дабендорфе, близ Берлина, в только что организованном центральном лагере Русской освободительной армии. Он сидел в кружке офицеров и с неподражаемым комизмом рассказывал, вернее, импровизировал, анекдотический рассказ о допросе армянина его бывшим приятелем — следователем НКВД. В самой теме — часто применявшейся к мужчинам примитивной, но очень мучительной пытке — вряд ли содержалась хоть капля юмора, но форма, в которую был облечен рассказ, обороты речи, психологические штрихи были насыщены таким искристым неподдельным комизмом, что слушатели хохотали до слез. В авторе-рассказчике ясно чувствовался большой талант, вернее, два: писателя и актера. Как когда-то у Горбунова.

Таков был внешний, показной фасад незаурядной натуры поручика Николая Сергеевича Давиденко. Действенный до предела, никогда не пребывавший в состоянии покоя, подвижной, неистощимо игристый, претворявший в пенистое вино все попадавшее в круг его зрения, порою шалый, неуравновешенный, порывистый и разносторонне талантливый.

В беспрерывном движении пребывало не только его тело, но и его мысль, его душа. Каждое явление окружавшей его жизни немедленно находило в нем отклик. Он не мог оставаться пассивным. Вероятно, этим были обусловлены и разнообразные проявления его одаренной натуры. Углубленная научная работа в области физиологии сочеталась в нем с яркими проявлениями сценического таланта; вступив в журналистику, он проявил себя красочными реалистическими рассказами из военного быта и насыщенными подлинным темпераментом литературно-критическими статьями. Языками он овладевал шутя: немецкий он знал до прибытия в Германию, но незнакомому ему французскому научился за три месяца жизни в Париже, позже итальянский потребовал еще меньше времени, причем учился он ему без книг, по слуху...

За несколько лет до войны он окончил Ленинградский университет, и его блестящая дипломная работа открыла ему двери в институт академика Павлова. Гениальный старик, зорко присматривавшийся к своим молодым сотрудникам, заметно выделял его. Он уловил кипучий ритм творческих устремлений, клокотавших в его самом младшем по возрасту ассистенте. Это кипение было созвучно душе старика, оставшейся юной в творчестве до последних дней жизни.

Уходивший в могилу ученый приласкал вступавшего в науку неофита. Тот отплатил ему любовью, в которой сыновнее чувство тесно сплеталось с преклонением влюбленного. Эту любовь Давиденко пронес сквозь горнило каторги и войны. Об академике Павлове поручик Давиденко не мог говорить так, как о других людях, кроме еще одного старика, позже вступившего в его жизнь.

Старый мыслитель был для его ученика не только гениальным физиологом, он осуществлял в себе то, что тогда еще подсознательно, но властно и неудержимо влекло к себе эту пламенную натуру. Павлов был для Давиденко частью той России, которой он не видел своими физическими глазами, но воспринял, ощутил духовным зрением, подсознанием.

— В Павлове сочетались все элементы русской научной мысли, — говорил он позже, — дерзостные титанические устремления Ломоносова, пророческое предвидение Менделеева, высокий гуманизм Пирогова... Мозг и сердце пульсировали в нем, сливаясь в единой дивной гармонии. Эта неразрывность и есть основная черта русской, только русской научной мысли.

Павлов давал Давиденко самостоятельные темы. Зависть толкнула кого-то из товарищей на донос. В результате тюрьма и Соловки в тот период, когда они уже стали маленькой частью огромной системы социалистического советского рабовладения, утратив свой первоначальный характер свалки недобитых врагов революции.

Попав на каторгу, Давиденко воспринял ее как продолжение своей работы в институте академика И. П. Павлова. Он не мог и не хотел перестроить свой духовный уклад в соответствии с изменением окружающего.

— Каторга была для меня гигантской лабораторией, в которой, вместо собак

и мышей, под моим наблюдением были живые, подлинные люди. Их рефлексы были обнажены, вскрыты до предела, до полной ясности. Подопытный материал давил меня своим обилием. Я не успевал анализировать и фиксировать его в моем сознании. Мне удалось ясно увидеть, понять лишь два основных рефлекса, вернее, комплекса рефлексов, владевших действиями этой массы. Первый, условный, выработанный рядом наслоений последовательных влияний, это — революция, советчина. Второй, глубинный, заложенный в генах, не подчиненный воздействиям извне — Россия, русскость. Эти комплексы были двумя полярностями, пребывавшими в беспрерывной борьбе. Первый давил извне, второй изнутри. Ареной этой борьбы была личность.

В духовный строй самого Давиденко каторга внесла прояснение. Подсознательное влечение к России перешло в сознание и оформило в нем путь поиска ее, по которому он пошел, руководствуясь компасом методов, указанных ему Павловым.

Вспыхнувшая война его освободила. Каторжным лейтенантам резерва предложили «заслужить прощение народа». Воевал Давиденко, очевидно, на совесть: в плен был взят раненым в большом окружении под Минском.

В РОА он вступил одним из первых и скоро был зачислен в отдел пропаганды и в состав редакции газеты «Доброволец», которым руководил тогда неразгаданный до сих пор капитан Зыков[1], бывший крупный сотрудник «Известий», зять старого большевика, уничтоженного Сталиным, — Бубнова, несомненно очень талантливый, разносторонний, широко эрудированный журналист, стоявший в резкой оппозиции к Сталину, но не изживший в себе «родимых пятен» марксизма.

Чуткий Давиденко разом уловил эту двойственность, скорее, почувствовал ее, чем осознал, потому что всей силой одаренной натуры любил и искал подлинную, не фальсифицированную, свободную от чар оборотня Русь. Смолчать или пойти на компромисс он не мог. Между ним и Зыковым возник конфликт, в который потом был вовлечен сам генерал Власов. Поручик Давиденко к этому времени имел уже некоторую известность, совершив вместе с профессором Гротовым агитационное турне по Франции и Бельгии, где его выступления перед старой русской эмиграцией имели успех. Генерал Власов с этим считался и пытался примирить противников, но не смог угасить разгоревшиеся страсти. Дело кончилось тем, что молодой поручик поспорил с главнокомандующим на его квартире в Далеме и порвал с РОА.

С РОА, но не с Россией. К ней, только к ней безраздельно и бесповоротно стремился тридцатилетний ассистент акад. И. П. Павлова, соловецкий каторжник, лейтенант РККА и поручик РОА Давиденко, к ее идейной сущности, к ее основам. К ее нетленному сердцу искал он пути. В этих поисках он добился командировки в Париж и там смог встретиться с некоторыми лицами из ведущего слоя эмиграции двадцатых годов.

Он вернулся в Берлин усталый, похудевший, неудовлетворенный.

— Ничего! Пусто! Одни утратили ощущение России и построили себе взамен ее эфемерную иллюзию, далекую от реального бытия. Другие пытаются подойти к ней через условное принятие советизма, третьи неопределенно идут к тому, от чего мы уходили, не понимая нас, не анализируя, скользя по поверхности. Ближе всех к ней, быть может, Бердяев. Но у него всё от ума — книжное, отвлеченное... А сердца-то, сердца-то нет... Не бьется оно, не слышно его.

* * *

Но сердце билось. Это слабое, едва уловимое биение его Давиденко дышал в далеком от России враждебном ей Берлине, на Викториаштрассе, 12, в редакции журнале «На казачьем посту». Там он встретился с тихим, сосредоточенно углубленным в себя, бедно одетым человеком. Этот человек был писателем и солдатом. Солдатом, рыцарем и менестрелем, отдавшим служению идее всю жизнь. В литературе его знали под именем Е. Тарусский. В послужном списке он значился Рышковым. В выкристаллизовавшемся тогда в Берлине небольшом кружке

[1] Зыков — фамилия, принятая им самим, чему немцы не препятствовали. Настоящая его фамилия до сих пор не установлена. — Б. Ш.

«искателей России» он носил кличку «Рыцарь бедный» и был достоин этого высокого имени.

Вслед за этим первым сближением последовало второе, более глубокое, давшее роковой финальный аккорд патетической сонате короткой жизни искателя России поручика Николая Давиденко.

Второй старик, второй осколок разбитой в ее историческом бытии, но нерушимой в идейной сущности России встал на пути Давиденко. Его имя — генерал Петр Николаевич Краснов.

Сближение с ним почти точно повторило взаимоотношения академика Павлова с его ассистентом. Та же закатная ласка умудренного долгой жизнью уходившего из нее старика, та же пылкая влюбленность вступавшего в жизнь борца за Россию.

Давиденко обобщал, почти сливая воедино, этих двух, так мало схожих по внешним признакам людей. Он чувствовал их внутреннее сходство, неуловимое для менее чутких, чем он сам. В откровенных беседах поручик Давиденко говорил:

— Оба они насыщены каждый своей внутренней целостной гармонией. Их чувства и их мысли неразрывны с действиями каждого из них, а эти действия никогда и ни в чем не противоречат их духовной настроенности. Полная гармония, и в ней зенит их красоты. Понять до конца И. П. Павлова может только тот, кто отдаст себя до конца во власть мысли, а понять также Краснова способен лишь возведший свое чувство, свой комплекс эмоций на ступень высочайшей напряженности.

Какая красочная жизнь прожита этим маленьким, прихрамывающим стариком! Честь, доблесть, подвиг, жертвенность для него не отвлеченные понятия, а действия, поведение, фиксация идеи в факте. Его любовь к России? Ведь она вся излита им в действии. Это не отвлеченный, сухой, книжный и бездушный патриотизм, не пропись, но активное, материальное проявление религиозного восприятия идеи, того, чего не посмел коснуться даже сам Павлов, сказавши об этом в лицо большевику Бухарину.

Какая гармония мысли, чувства и действия! Я говорю о его жизни, а не о литературной работе. Литература была для него лишь дополнением, одним из фрагментов...

Вот в этой-то одновременно внутренней и внешней гармоничности каждого из них в отдельности и кроется сходство их бесконечно далеких друг другу натур. Они оба части одного и того же, а это целое — Россия в ее идее и бытие. Но они только две ее части. Это далеко еще не всё. Должны быть и иные, столь же гармоничные и активные. Где они? Каковы они? Выражают ли они теперь себя творчески или пребывают в состоянии анабиоза? Или погибли, удушены?

Вместе с ген. Красновым, в качестве его ближайшего адъютанта, даже чего-то вроде приемного сына, поручик Давиденко прибыл в Северную Италию. Здесь весной 1945 г. в предгорьях Фриулийских Альп прозвучали последние аккорды недопетой им песни. Она оборвалась в Лиенце 1 июня 1945 г., одновременно с биением другого созвучного ей сердца, сердца «Рыцаря бедного» — Евгения Тарусского. «Полный чистою любовью, верный сладостной мечте» уронил тот свой щит с начертанным на нем именем его Дамы — России и молчаливо ушел из жизни: повесился на поясном ремне, выданный англичанами сталинским палачам. Немногим позже ушел из нее расстрелянный ими Давиденко, оставив в залог грядущему горячо любимую красавицу жену и первенца под ее сердцем...

Но эти последние два месяца жизни, проведенные им в «Казачьем стане», в Северной Италии, были не горением, а взрывом творческой силы Давиденко. Его деятельность развертывалась главным образом в плоскости идейного оформления недолгого по времени, но богатого событиями казачьего движения 1942—1945 годов. Вопреки попыткам немцев оторвать казаков от России, он стремился влить их поток в общерусское русло как одну из главных, наиболее чистых струй.

Защищая русскую идею от атак со стороны прогитлеровских самостийников, он был принужден не менее энергично бороться и на другом фланге против псевдонациональных, но маскированных под национализм вылазок неосоветистов. Они нередко появлялись в Толмеццо и пытались там взорвать традиционную казачью организацию сокращенным повторением пресловутого «приказа № 1». Против них

он вел свои последние бои и одерживал свои последние победы в конце апреля 1945 г.

Стержнем его работы в эти последние месяцы жизни было создание курсов пропагандистов, куда он вовлек лучшие слои интеллигенции в кадры лекторов и лучшую молодежь в число слушателей. Ученик академика И. П. Павлова, биолог и физиолог Н. С. Давиденко при помощи первых вкладывал в сознание вторых гены единого исторического и органического бытия России в ее прошлом, настоящем и грядущем.

Ярки и пламенны были его статьи в местной газете.

Он уехал на север вместе с ген. Красновым. С ним же он был в Лиенце. С ним совершил и последний путь до Москвы.

Отягощенная жизненным опытом старость и пламенная, порывистая юность вместе взошли на Голгофу, под общим крестом подвига жертвенности и любви к родине.

*
* *

Этот путь поручик Давиденко и писатель Тарусский видели и знали прежде, чем вступили на него. Знали и не сделали ни единой попытки от него уклониться. Они прошли по нему с полной ясностью неизбежного конца во имя идеи, которой служили, единой любви и единой ненависти.

За несколько дней до крушения итальянского фронта Германии мы — Давиденко, Тарусский и я — лежали на горном уступе под ярким весенним солнцем...

Кругом нежно зеленели горы. Подснежники и фиалки пробивались сквозь пелену палой прошлогодней хвои. Жизнь природы вступала в свои державные права. Каждый из нас думал о своем личном близком конце и вместе с тем не верил в неизбежность этого конца. Не мог поверить. Но для того, чтобы говорить именно о нем, мы и зашли в эту горную глушь.

— Власовцы оперируют иллюзией «третьей силы», — быстро и страстно, как всегда, говорил Давиденко, — нелепость, граничащая с провокацией. Вернее, то и другое вместе. Новая фаза просоветизма. Полторы дивизии РОА, без базы, без снабжения — «третья сила», могущая заинтересовать оценщиков торговли пушечным мясом. Дичь! Нелепость!

— Значит, конец? — тихо, зная ответ, спросил Тарусский.

— Нет еще. По крайней мере для нас, казаков. Есть единственный шанс заинтересовать генерала Александера собою, казаками, пользуясь его личной дружбой с Красновым... Заинтересовать использованием казаков в качестве дешевых колониальных войск.. Единственный...

— И столь же шаткий, — глухо отозвался Тарусский, — проще и честнее сказать, конец. Петля захлестнута. Это всё.. Да и пора... устал я... впереди пусто.

— Проклятая! — хлопнул по лиловому цветку цикламена Давиденко.

— Кого вы, Николай Сергеевич? Пчелу? Что она вам сделала?

— Ненавижу их!.. Вы не биолог и не знаете жизненного процесса пчел, этого страшного предупреждения, данного природой человеку. Предостережения, которого он не понял. Я расскажу вам вкратце. Обыкновенная пчела — это робот, искусственно созданный их безликим коллективом. Она кастрирована и ограничена в развитии еще будучи личинкой, заложенной в уменьшенную ячейку, на недостаточный корм.

«Каждого гения мы задушим в младенчестве...» Шигалевщина в творческом процессе природы.

Их «царица» — не вожак, не сильнейший и прекраснейший, как у волков или оленей. Нет, это тот же робот, но лишь приспособленный к продолжению рода. Она любит лишь раз в жизни и потом рождает сотни тысяч, беспрерывно, не зная материнства, не заботясь о своих детях. Родильная машина — и только!

Семьи нет. Мужчины истребляются по миновении в них надобности. Сокращение лишних ртов. Режим экономии!

Пчелы никогда не спят. Вся их жизнь — сплошной беспрерывный трудовой процесс. Но их труд чужд творческому устремлению. Они производят лишь стандарты.

Не смешивайте их с муравьями. Каждый муравей обладает инициативой. Нет двух одинаковых муравейников, но все соты во всем мире строятся в одной форме, в одних размерах ячеек. Каждый улей — прототип Соловков, прообраз всей прекраснейшей страны Советов, всего грядущего коммунистического царства.

Их труд направлен лишь на потребу желудка. Даже гнезд для себя, жилищ они строить уже не способны...

Святой труд, черт бы его побрал! Пчела — благостный символ!

Подмена! Дьявольский обман! Свят только творческий труд, ведущий к надежелудочным целям. Библия бесконечно мудра: «в поте лица ешь свой хлеб...» Труд во имя желудка — проклятие!

Труд прекрасен не сам по себе, но тем именем, ради которого он совершается. Соловецкие иноки трудились во имя Божие, ради высшей из доступных человеку идей. Они совершали подвиг. Ставшие на их место принудиловцы этой идеи не имели, и труд для них превратился в проклятие, жизнь — в смерть. Да концлагеря я не понимал этого. Осмыслил только там, где ужасающая ясность прогрессивно-нормированного рациона била в глаза. Понял и возненавидел.

— Ненависть не побеждает,— тихо отозвался Тарусский.

— Ненависть и любовь — две стороны одной и той же медали. Они неразрывны. Меж ними нет границы. Всмотритесь в живое: волк, олень, кабан — все наиболее яркие, прекраснейшие виды, прежде чем достигнуть победы в любви, ненавидят соперников, борются на смерть, выковывая, воспитывая, создавая себя в кровавых боях. Этот закон простирается и на человека. Через ненависть — к любви! Другого пути нет. Иначе даже не стадо, а вот этот гнусный, позорный коллектив роботов, рой пчел в природе, коммунизм — в человеческом обществе, всесоюзный концлагерь, всемирные Соловки!

— Мы боролись, и мы повержены... конец!

— Нет, не конец еще! Мы повержены потому, что мы мало любили и недостаточно ненавидели! Надо любить

...как враб в пустыне,
Что к воде припадает и пьет,
А не рыцарем на картине,
Что звезды считает и ждет.

Так же жадно надо и ненавидеть, а ваша любовь, «Рыцарь бедный», розовенькая, жиденькая, подсахаренная, вертеровская... Грош ей цена! Нет, как Отелло любить надо, с кинжалом, с веревкой в руке, с густой темной кровью в жилах... И густеет уже, темнеет уже эта кровавая любовь, вскипает, настаивается на ненависти...

— Где?

— Там! — указал Давиденко рукою в сторону, противоположную заходящему солнцу.— На всероссийской Соловецкой каторге... Только там! Оттуда — сквозь ненависть — к любви!

Глава 32
ЗВОН КИТЕЖА

От Соловков «до Венеции-града... верста было высечено юношей-царем на истертом, исколотом вьюжными норд-остами каменном столбе...

Он мечтал тогда о Венеции, о теплой голубизне южного моря, но до него не добрался. Ему — не пришлось.

Я смотрел на столб, читал надпись и не мечтал тогда о Венеции, о солнечном юге, не смел, не мог мечтать... и добрался. Мне — пришлось.

Белое море — Неаполитанский залив. Остров Соловки — остров Капри. Сумрачная, строгая скорбь соловецких елей — пышное ликование цветущих олеандров. Призрачные завесы радужного сполоха — жгучая радость палящего солнца Салерно, совсем близкого здесь к напоенной его вином стране.

Таков путь человека по земле, начертанный ему в Книге за семью печатями. С него не сойти. Он — жизнь.

* * *

Пагани — лучший из всех итальянских лагерей ИРО. Недавно еще, в последние годы войны, здесь был лазарет для американских солдат.

Аллеи олеандров, густая роща апельсинов, мандаринов, фиг, и в ней — ряды белых коттеджей.

Пасха в этом, третьем послевоенном году пришлась как раз в дни самого сильного цветения. Вся роща белая. Густой дурман торжествующей весны врывается в окна, в открытые двери тихой маленькой часовни, сливается там с запахом ладана и свечей, горящих у Плащаницы...

Я сижу на ступеньках церковки. Домой нельзя — жена выгнала: у нее предпасхальная уборка нашего картонного закутка, паравана, поломойка и всё такое прочее.. Пальцы у меня красные, желтые, зеленые: это мы с сыном яйца красили.. Русь — в роще маслин, фиг и лавров. С собой ее сюда принесли. В крови. В сердце.

Уже совсем темно. Кущи деревьев сливаются в сплошную завесу, на которой призрачно белеют пятна неразличимых в сумраке цветов. Эта завеса — кайма пышной мантии синего неба, блистающей переливами звездных алмазов.

Быть может, так же светились белым пламенем такие же южные пахучие цветы в ту ночь во тьме Гефсиманского сада? Быть может, их запах так же сливался с ароматом мирры и ладана, доносившимся из гробовой пещеры Иосифа Аримафейского?

Рядом со мною на ступеньки садится человек. Я не вижу его лица в темноте, не узнаю его даже при свете зажженной им спички.

— Не признаете?

— Сознаюсь — нет. Слабая у меня память на лица. В лагерях встречались?

— В лагерях... в этих, итальянских. И в других тоже... — снова бледный огонек спички у самого лица. На нем, на простом, обыкновенном, какие каждый день видишь, — улыбка. — Опять не признали?

— Нет... извините.

— Оно и понятно. Это я сам как-то недодумался. Я-то на вас не один раз смотрел, а вы на меня, пожалуй, ни разу.. Вы ведь в театре играли «там».

Много разных профессий было у меня в ломаной, ухабистой советской жизни, и сцена не раз выручала.

— Где «там»?

— Что же, опять не догадываетесь? Да на Соловках на тех же. Я и в одной партии с вами тогда прибыл, а выехал оттуда пораньше. Вы еще оставались.

В ИРОвских лагерях, да и в самой стране советов трудно встретить русского человека, не побывавшего в концлагере или тюрьме, но еще труднее встретить там, а здесь и подавно, своего «годка-первопризывника»... Мало таких осталось.

— Так вы еще Ногтева помните? — невольно оживляюсь я.

— А как же. И его, и Эйхманса, и Баринова, и Райву, что за бабниками гонялся. Всех. Тех лет не забудешь. Рассказывать о них не люблю, а вот с вами поговорить есть охота. Вспомнить совместное. Это дело другое.

— Вы где же работали там?

— Сначала в лесу, конечно, а потом в мехмастерской по специальности. Металлист я, слесарь из Луганска. С Ворошиловым на одном заводе служил, с ним же и на фронт пошел. В Первой Конной я был всю войну. Буденный мне самолично орден нацеплял.

— И на Соловки угораздили с орденом?

— От вас даже слышать смешно. Мало ли с орденами там было? Не таких, как я, а повыше малость.

— Верно, что так. Но на что же вас зацепили?

— Это рассказ долгий. Но коли время имеете, расскажу.

— До заутрени буду здесь сидеть. Часа два, а то и больше.

— Ну, и я тоже. Расскажу. Извольте.

Мой сосед извлек из кармана горсть окурков, вытряс из них табак, свернул флотскую. Помолчал, как полагается.

— Слесарь я. Металлист. На заводе в Луганске с 13 лет работал. А в революцию мне как раз девятнадцатый пошел... Однако сам я казачьих кровей...

23-1-14

1 р. 50 к.

ИНДЕКС 73274

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

В 1992 году вы прочтете в нашем журнале:

Виктор АСТАФЬЕВ. Новые произведения.

Василий БЕЛОВ. Рассказ, главы из новой книги.

Юрий БОНДАРЕВ. **Мгновения** (цикл художественных миниатюр); Размышления о русской и мировой литературе.

Олег ВОЛКОВ. **Воспоминания** (новое произведение тематически продолжает книгу "Погружение во тьму"; писатель рассказывает о тех нравах, которые царили в Московской писательской организации в 60–80-е годы, о том, как общественность боролась за спасение Байкала, русского леса, рек, за чистоту нашей природы).

Дмитрий ЖУКОВ. **Сны** (исторический роман о монархисте и мистике В. В. Шульгине, видевшего всех властителей за последние 100 лет – от Александра II до Брежнева, бывшего другом и врагом великого множества исторических фигур – персонажей книги; роман о размышлениях Шульгина, его пророчествах, испытаниях и загадочных встречах).

Владимир КРУПИН. **Прощай, Россия, встретимся в раю. Стариковские записки.** Повесть.

Станислав КУНЯЕВ. **Сергей Есенин.** Из серии "Жизнь замечательных людей".

Эдуард ЛИМОНОВ. Рассказы.

Владимир ЛИЧУТИН. Новые очерки из цикла **"Душа неизъяснимая"** (Размышления о русском народе).

М. О. МЕНЬШИКОВ. **Неопубликованные работы.**

Неизвестные материалы о друзьях и врагах Сергея Есенина.

Федор НЕСТЕРОВ. Наиболее интересные фрагменты из только что законченной книги **"Очерки по истории зарубежной русофобии".**

Валентин ПИКУЛЬ. **На задворках великой империи.** Главы из неоконченной третьей части романа.

Валентин РАСПУТИН. Новые произведения.

Дуглас РИД. **Спор о Сионе.** 2500 лет еврейского вопроса.

Нина РИМСКАЯ-КОРСАКОВА. **Побежденные.** Роман. (Это значительное по объему, многоплановости и глубине содержания произведение рассказывает о трагических судьбах русских аристократов, оставшихся на Родине и пытавшихся приспособиться к чудовищной действительности. Действие разыгрывается в 1931–1932 годах, когда органам ГПУ удалось нащупать следы этих людей, выявить их и уничтожить. Н. В. Римская-Корсакова – внучка великого русского композитора.)

Аркадий САВЕЛИЧЕВ. **Потоп.** Роман (трагическая история затопления старинных русских городов на Волге в предвоенные годы).

Владимир СОЛОУХИН. **Камешки на ладони.**

Княгиня Зинаида ШАХОВСКАЯ. Рассказы.

Подписная цена на год – 24 руб.
Розничная цена одного номера – 2 руб. 50 коп.

НАШ СОВРЕМЕННИК

НАШ СОВРЕМЕННИК

Журнал писателей России

— Как же вы из казаков в рабочее, пролетарское звание переключились? Такие переходы очень редки.

— Могу рассказать вам это дело. Случай мой действительно редкий в казачестве. Так это было. Когда еще первая революция пошла в 1905 году, батьку моего на усмирение мобилизовали, хотя он уже действительную отслужил и во второй очереди состоял. Попал он в Харьков и там охрану какого-то банка нес. Наскочили на тот банк грабители, аккурат когда батька на посту стоял, ну и бомбой его разорвало... а нас у матери пятеро, я старшеньким был. Забрала она нас всех и к станичному атаману пошла — насчет вспомоществования просить. Я это как сейчас помню. Ревет мать ревмя, а атаман ей разъясняет: «Не выть ты должна, а гордиться. Муж твой на своем казачьем посту жизни решился, честь и славу казачью соблюдая. Насчет же вспомоществования — положение общее. Что полагается, получишь. Особого же по своему многосемейному положению не жди. Такого закона нет. Однако я тебе присоветую в тот банк, где он голову сложил, казну его охраняя, написать. Должны помочь по человечеству. Денег у них невпроворот. Писарь тебе напишет».

Конечно, написали. На другой месяц вызывают опять мать к атаману, и я с ней побежал.

Доходим до писаря. Самого-то атамана не было. Вынимает писарь из ящика десять рублей и подает матери.

— Вот,— говорит,— тебе банк прислал на твою вдовью справу. Десять рублев!.. Может, обувку какую ребятишкам укупишь... Вот она, жизни казачьей цена! Так нас, значит, господа банкиры определяют...

Запало мне тогда в сердце это самое слово — банкиры. Кто они такие, я, конечно, по юности своей, понимать не мог, а так мне разумелось, что через них папаня жизни решился и все наши бедствия пошли.

А бедствовать пришлось. Вы, конечно, нашей казачьей жизни не знаете, а только скажу вам, что в станице женщине одной, особливо многодетной, прожить невозможно. Ну, и пошло все прахом. Коня папаниного продали... потом волов обе пары... За конем очень я тогда тосковал. Вороной был, во лбу белая отметина. Вспомню его, и сейчас про банкиров вспоминаю...

Когда продавать нечего стало, мать сестренку постарше в город в услужение отдала, а меня писарь в Луганск отвез и на завод определил.

«Учись,— говорит,— ремеслу. Слава наша казачья, а жизнь — собачья!»

Ну, на заводе, конечно, тоже салом не кормили. Однако жил до самой революции вполне обыкновенно. С революцией другая полоса пошла. Когда стали на собраниях программы там и партии объяснять, тут я и узнал, кто они есть — банкиры, ну и, конечно, практический вывод сделал: пошел в Красную армию.

— Тут и в Первую Конную попали?

— Угадали. Аккурат сам Ворошилов меня и записывал. В ней я душу свою отвел, злобу свою на банкиров реализировал.

— Ну, это дело обычное. Нового мне не расскажете. А на Соловки-то как же вас все-таки загребли?

— Случай такой вышел. Из-за инвалидов. Я, как демобилизовался, обратно на свой завод поступил. Однако к станку не стал, а в фабзавкоме комитетчиком определился. Орденоносцев тогда мало было. Почет! Я хотя и ранен два раза, но всё в целости, а по городу инвалиды ходят безрукие, два безногих, один припадочный, контуженный. Голодные, конечно. Пенсион им какой советская власть давала? Поменьше банкировой десятки. Ну и промышляла братва своими качествами: по учреждениям ходят, собирают... Надо правду сказать: безобразничали тоже много... Зайдут к директору какому, сейчас припадочный симулировать начинает, со стола у него все сшибет, орет, по полу катается... бывало, что и безногий костылями кого по кумполу хватит... Это все верно. Бывало. Жалобы на них пошли... Смотрим — не стало инвалидов. Определили их, что ли, куда? По городу, конечно, болтают. Забрали, говорят, в чеку и в расход вывели.

У меня же чекист приятелем был. В одном взводе совместно и кадетскую и польскую ломали. Как-то мы с ним выпили, я и спрашиваю:

— Куда инвалидов дели?

Он смеется:

— Не слыхал, что ли? В расход главных бузотеров вывели, а прочих отвезли куда-то... в Сибирь, что ли, или в Караганду...

— Как в расход,— говорю,— врешь ты, сукин сын, такого быть не может!..

— Дурак ты,— отвечает,— что с ними делать? Они люди всё равно никудышные, а безобразия от них много...

— Так ведь вместях же мы с ними против банкиров и офицеров боролись!

— Ну, что ж из того? Боролись. А теперь иная линия. Порядочных, и тех, когда надо, шлепаем, а с такими-то канителиться не будем!

Я его в морду — раз!

— Выходит,— кричу,— мы от банкиров хуже! Обманная она, советская власть!

Конечно, выпимши я был, осмелел. Да еще его раза два хватил... Ну, ясно-понятно, хотя и с орденом и с Буденным лично ручкался, а на Соловки отправили. Там-то у меня и поворот мыслей произошел.

— Вот это мне поинтересней будет, в инвалидных историй вроде вашей я и сам десяток знаю. Коли есть желание, про поворот ваш расскажите.

— «Утешительного попа» знавали?

— Как не знать, и сказки его слушал.

— Так вот, от этих сказок и окончательный поворот произошел, а начало ему даже при вашем личном участии получилось.

— При чем же я мог быть? Я и не знал вас тогда.

— Мало ли что не знали. А помните, пьеса у вас в театре шла... Название ее позабыл. Дело там было на Кавказе, когда еще Шамиля замиряли, при дедах наших. Полковник один, боевой такой, заслуженный, в летах, конечно, на молоденькой барышне оженился. А барышня-то до того с князьком одним любовь крутила...

— Ага! «Старый закал» пьеса называлась?

— В точности! «Закал». И как это я такое индустриальное слово забыл? Борин полковника играл, а вы — князька, полюбовника ейнова. Черкесочка у вас белая была и кубаночка белого же курпея...

— Ишь как вы всё помните! — засмеялся я.— Вот не думал, когда играл...

— Оно так и бывает. Не думаешь, а выходит. Все обдумаешь — ничего не получается. Так вот. Узнал этот полковник, что промеж них опять любовь зачинается, и не ее стал бить, как это полагалось бы по человечеству, а сам нарочно под чеченские пули пошел, чтобы ее, значит, ослободить от греха и жизнь ей с любовником устроить...

— Какое же это отношение к революции имеет?

— Обождите. Придем и к революции. От того представления, от конца его, когда полковник этот, уже раненный, другу своему все объяснял, думка у меня в голове началась про папаню моего и обратно же про банкиров.

— Ну, это что-то мне непонятно...

— Говорю, обождите. Всё ясно-понятно будет. Я себе так в голове планировал: хорошо, батька мой на посту жизни решился, сполняя свою казачью службу. Понятно. А к чему этот пост, служба эта? Стал бы он за эти десять рублев служить? Ни в жисть! Своего тогда нам вот как хватало. Чего душа хочет! Нет, он знамени своему, присяге, душе своей служил. Опять же инвалиды наши... они за что жизни решились? А сам я за что в Конную пошел? От одной лишь злобы? Конечно, злобы этой много во мне скипелось, за банкировы десять рублев, за маманины слезы. Это верно. Злобу эту я в крови топил. Тоже верно. А только и я не одной злобой в бой шел. Вот, как этот полковник... Он ведь на жену-то не озлобился, а ее счастья ради подвиг свой смертный совершил. Тут и есть центр удара...

Мой собеседник помолчал, оглянулся на двери церкви, откуда еле струился свет немногих бедных лампад, и продолжал...

— Есть еще время. Досказать вам успею. Так вот... засела во мне эта думка. Когда меня осудили, я так себе располагал: ладно, оно, может, и лишнего дали мне, а в корне правильно. Советскую власть я ругал? Ругал. Чекиста побил? Побил. Права советская власть. А вот когда я над полковником этим раздумался, всё по-другому стало. Выходит, я прав, что его по морде саданул. Не я контра,

а он — сволочь! По рассуждению одно, а по душе совсем наоборот. Так и ходил я промеж двух дорог, а по какой идти — не знаю!

— Все-таки я не понимаю вас, при чем же тут этот полковник кавказский?

— Как же вы понять этого не можете? Очень даже просто. Ведь по закону что он должен был произвести? Ну, там побить жену или в чулан ее запереть... не знаю, как у интеллигенции в таком случае полагается, а князька — откомандировать или, того вернее, его под верную пулю послать, да и дело с концом. Шито-крыто. А он сам на смерть пошел. Для спокоя души.

А в революции иное: тебя пнули — ты руби, тебя рубанули — стреляй! Изничтожай до корня! За одного — десять к стенке! Так и я за папанину обиду, за эти самые десять рублев, сколько порубал? А пришли тогда банкиры тысячу, может, совсем мне другой маршрут вышел? Даже обязательно другой. Значит, вся-то революция за десять рублев произошла? За дерьмо это? Да знаете, сколько у меня их на фронте было? Полная кобура! Сам навроде банкира...

Вот тут-то, в рассуждении этом, я и с отцом Никодимом познакомился. Дело это так было. Попал я на командировку, в самую что ни на есть дебрю нас загнали: один барак, лесорубов человек двадцать, туда же и отца Никодима определили. Вот, запрут нас вечером, он и начнет свои сказки рассказывать, а я, надо вам сказать, от малых лет всякое чтение очень уважал; какая книжка в руки попадет, обязательно всю прочту. Очень нам было всем занимательно отца Никодима слушать.

Раз начал он нам про Веру, Надежду, Любовь и Софию, мать их, рассказывать, как они, царя не побоявшись, на своей правде стояли и лютую казнь за нее приняли; вот тут-то и вышел главный поворот. Стой, думаю, да ведь это же опять полковник тот и батька мой на посту, да и я сам, когда от сердца чекиста по роже хватил... Вот ведь оно самое, только в другом обличье! А отец Никодим дальше рассказывает, как они, значит, в муках на небо смотрели и ангелов там видели.

— Извиняюсь,— говорю,— батюшка, ведь это им все представлялось так, конечно, как бы от мечтания...

— Почему же ты так рассуждаешь? — отвечает он мне,— что от мечтания? Видели, значит было!..

— Да откуда же эти ангелы возьмутся? Почему же мы их не видим?

— А очень даже просто это,— отвечает мне батюшка,— ты в яме сидишь, что видишь? Одним счетом — ничего! А поднялся из ямки — видней тебе стало! А на гору взошел — еще дальше видишь! На вершину стал — и все пути тебе оттуда открываются. И всех человеков, скотов и прочих творений Божьих в полном виде там себе представляешь... Сверху-то, значит. Вот она, гора-то эта, и есть жизнь человеческая. Трудна она, это, конечно, верно, а на то и дан нам подвиг. У каждого же человека своя гора. Одна повыше, другая пониже, а превыше всех гора Голгофа.

И зачал он нам тут опять про разбойника рассказывать, который со Христом на Голгофу взошел и там, через смертную муку, спасение принял. Вот на этом самом месте окончательный поворот и получился. Вижу: разбойник тот самый я есть. Должон я на ту гору взойтить. Так мне от рождения назначено. Поняли теперь, как поворот произошел?

Однако, будто и к заутрене близко. Надо еще в барак сбегать, разговенье свое принести. А нашу-то заутреню соловецкую помните?

Еще бы я не вспомнил ее, эту единственную разрешенную на Соловках заутреню в ветхой кладбищенской церкви. Помню и то, чего не знает мой случайный собеседник.

Я работал тогда уже не на плотах, а в театре, издательстве и музее. По этой последней работе и попал в самый клубок подготовки. Владыка Илларион добился от Эйхманса разрешения на службу для всех заключенных, а не только для церковников. Уговорил начальника лагеря дать на эту ночь древние хоругви, кресты и чаши из музея, но об облачениях забыл. Идти и просить второй раз было уже невозможно.

Но мы не пали духом. В музей был срочно вызван знаменитый взломщик, наш друг Володя Бедрут. Неистощимый в своих словесных фельетонах Глубоков-

ский отвлекал ими директора музея Ваську Иванова в дальней комнате, а в это время Бедрут оперировал с отмычками, добывая из сундуков и витрин древние драгоценные облачения, среди них — епитрахиль митрополита Филиппа Колычева. Утром всё было тем же порядком возвращено на место.

Эта заутреня неповторима. Десятки епископов возглавляли крестный ход. Невиданными цветами Святой ночи горели древние светильники, и в их сиянии блистали стяги с Ликом Спасителя и Пречистой Его Матери.

Благовеста не было: последний колокол, уцелевший от разорения монастыря в 1921 г., был снят в 1923 г. Но задолго до полуночи, вдоль сложенной из непомерных валунов кремлевской стены, мимо суровых заснеженных башен, потянулись к ветхой кладбищенской церкви нескончаемые вереницы серых теней. Попасть в самую церковь удалось немногим. Она не смогла вместить даже духовенство. Ведь его томилось тогда в заключении свыше 500 человек. Все кладбище было покрыто людьми, и часть молящихся стояла уже в соснах, почти вплотную к подступившему бору.

Тишина. Истомленные души жаждут блаженного покоя молитвы. Уши напряженно ловят доносящиеся из открытых врат церкви звуки священных песнопений, а по темному небу, радужно переливаясь всеми цветами, бродят столбы сполохов — северного сияния. Вот сомкнулись они в сплошную завесу, засветились огнистой лазурью и всплыли к зениту, ниспадая оттуда, как дивные ризы.

Грозным велением облеченного неземной силой Иерарха, могучего, повелевающего стихиями теурга-иерофанта прогремело заклятие-возглас владыки Иллариона:

— Да воскреснет Бог и да расточатся врази Его!

С ветвей ближних сосен упали хлопья снега, а на вершине звонницы вспыхнул ярким сиянием водруженный там нами в этот день символ Страдания и Воскресения — Святой Животворящий Крест.

Из широко распахнутых врат ветхой церкви, сверкая многоцветными огнями, выступил небывалый крестный ход. Семнадцать епископов в облачениях, окруженных светильниками и факелами, более двухсот иереев и столько же монахов, а далее нескончаемые волны тех, чьи сердца и помыслы неслись к Христу Спасителю в эту дивную, незабываемую ночь.

Торжественно выплыли из дверей храма блистающие хоругви, сотворенные еще мастерами Великого Новгорода, загорелись пышным многоцветием фонари-светильники — подарок Венецейского Дожа далекому монастырю — хозяину Гиперборейских морей, зацвели освобожденные из плена священные ризы и пелены, вышитые тонкими пальцами Московских великих княжен.

— Христос Воскресе!

Немногие услыхали прозвучавшие в церкви слова Благой Вести, но все почувствовали их сердцами, и гулкой волной пронеслось по снежному безмолвию:

— Воистину Воскресе!

— Воистину Воскресе! — прозвучало под торжественным огнистым куполом увенчанного сполохом неба.

— Воистину Воскресе! — отдалось в снежной тиши векового бора, перенеслось за нерушимые кремлевские стены, в тем, кто не смог выйти из них в эту Святую ночь, к тем, кто обессиленный страданием и болезнью простерт на больничной койке, кто томится в смрадном подземелье «Аввакумовой щели» — историческом соловецком карцере.

Крестным знамением осенили себя обреченные смерти в глухой тьме изолятора. Распухшие, побелевшие губы цынготных, кровоточа, прошептали слова обетованной Вечной Жизни...

С победным ликующим пением о попранной, побежденной смерти шли те, кому она грозила ежечасно, ежеминутно...

Пели все... Ликующий хор «сущих во гробех» славил в утверждал свое грядущее неизбежное, непреодолимое силами Зла Воскресение...

И рушились стены тюрьмы, воздвигнутой обагренными кровью руками. Кровь, пролитая во имя Любви, дарует жизнь вечную и радостную. Пусть тело томится в плену — Дух свободен и вечен. Нет в мире силы, властной к угашению Его! Ни-

тожны и бессильны вы, держащие нас в оковах! Духа не закуете, в воскреснет он в вечной жизни Добра и Света!

— Христос Воскресе из мертвых, смертию смерть поправ...— пели все, и старый еле передвигающий ноги генерал, и гигант-белорус, и те, кто забыл слова молитвы, и те, кто, быть может, поносил их... Великой силой вечной, неугасимой Истины звучали они в эту ночь...

...И сущим во гробех живот даровав!

Радость надежды вливалась в их истомленные сердца. Не вечны, а временны страдания и плен. Бесконечна жизнь Светлого Духа Христова. Умрем мы, но возродимся! Восстанет из пепла и великий монастырь — оплот Земли Русской. Воскреснет Русь, распятая за грехи мира, униженная и поруганная. Страданием очистится она, безмерная и в своем падении, очистится и воссияет светом Божьей правды. И недаром, не по воле случая, стеклись сюда гонимые, обездоленные, вычеркнутые из жизни со всех концов великой страны.

Не сюда ли, в Святой Ковчег русской души, веками нес русский народ свою скорбь и надежду? Не руками ли приходивших по обету в далекий северный монастырь «отработать свой грех», в прославление святых Зосимы и Савватия, воздвигнуты эти вековечные стены, не сюда ли, в поисках мира и покоя, устремлялись, познав тщету мира, мятежные новгородские ушкуйники...

— Приидите ко мне все труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы...

Они пришли и слились в едином устремлении в эту Святую ночь, слились в братском поцелуе. Рухнули стены, разделявшие в прошлом петербургского сановника и калужского мужика, князя-рюриковича и Ивана Безродного: в перетлевшем пепле человеческой суетности, лжи и слепоты вспыхнули искры Вечного и Пресвятого.

— Христос Воскресе!

Эта заутреня была единственной[8], отслуженной на Соловецкой каторге. Позже говорили, что ее разрешение было вызвано желанием ОГПУ блеснуть перед Западом «гуманностью и веротерпимостью».

Ее я не забуду никогда.

*
*   *

— Шел я тогда в крестном ходу этом,— шепотом, как великую тайну, рассказывает мне собеседник,— и чую, что вот на гору свою я взбираюсь, будто сила какая меня несет. А рядом со мною Тельнов. Помните его? В одной роте мы с ним на Соловках были. Часто мы с ним балакали о прежних наших жизнях; он у кадетов в Корниловском полку служил, а я, как вам известно, буденовец. Частенько наши части тогда в бою сталкивались... Может, и он по мне бил, может, и я по нем... Возможно, и я зубы ему прикладом вышиб... Разве упомнишь? Кровищи на нем не менее, как на мне, было. Сам рассказывал, как наших армейцев в нужнике стреялял. Спорились мы с ним раз, даже до злобы доходило: зачнет он про победы свои рассказывать, обзывает нас краснопузыми, а то и того хуже; мне, конечно, обидно станет. Лаялись, а тут идем рядом. Он оборотился ко мне и говорит:

— Христос Воскресе!

— Воистину,— отвечаю. Радостно мне стало. Смотрю на него и вижу: он тоже на свою горку лезет.

— Шлепнули его, Тельнова, при вас еще? Помните?

— Я аккурат в тот год на волю вышел, но это дело знаю. Выходит, он там еще до своей вершинки дошел, а мне далее идти приходится.

— И идете?

— Сказать точно не могу. Иной раз думаю — иду, а другой раз подниз качусь, по-разному выходит.

— И сюда из России на горку шли?

— Опять же вам на то не отвечу. Так это получилось. Генерал Книга, наш же действительный буденовец, зачал при открытии войны старых конников собирать в свою особую дивизию. Конечно, и меня к нему направили. Служу. За Донцом стоим. В это самое время наши Киев сдали. Бегут оттелева наши вояки и в одиночку, и бандочками собираются. Нам перенимать их приказано. Хорошо. Приказано — берем. Однако не злобствуем, как особисты, а по-хорошему, балакаем с ними. Все в один голос твердят: неправильная эта война есть. Супротив самих себя, своего народа нас гонят, и зря мы кровушку свою проливаем.

Конечно, и промеж нас разговор пошел. У каждого своя думка. Каждый свое повидал, кто в концлагере сам побывал или родичей имеет, кто в тридцать третьем году голоду хватил... Вот и сговорились мы пятеро подбиться так, чтобы всем разом в разведку идти, начальство, какое будет, ликвидировать и... айда! Взводным у нас тоже старый буденовец был, только не нашего полка. Его очень опасались, по прежнему времени таких шкурами звали. Спуску ни в чем не давая и с политруком дружбу вел. Партиец. Ну, пришлось, как мечтали. Вызвал он раз охотников в ночную облаву. Мы вызвались. Поседали на коней. Годок мой, еще по кадетской войне, веревку себе за пазуху сует:

— Я,— говорит мне,— втихую его арканом по калмыцкому способу спешу, а вы тогда помогните... чтобы без шуму...

Заехали в лес. В балочку небольшую спустились. Тут он взводного и заарканил. Очень ловко вышло, прямо наземь с седла, и сам навалился. Мы с коней и к нему... перекинули аркан на шею, затягивать стали, только тянем недружно... боязно всё же... свой. А он хрипит через силу:

— Дайте слово сказать...

Приспустили концы. Пусть скажет. Сел взводный на землю и нас матом:

— Малахольные вы, растак вашу мать, я же все думки ваши знал, потому и вызывать стал... Тут не более чем за километр речка, туда я вас и вел. Думаю, перейдем вброд, там и разъясню и через фронт вас поведу, куда и сам направление имею... А вы вот что надумали, мать вашу...

Посумневались мы, но всё же порешили меж собой его не кончать, а, связавши, с собою везти. Далее видно будет...

Перешли речку. Он нам указывает левей брать: направо застава особистская, с пулеметом. Выслали дозор — вышло правильно. Тогда мы смелее с ним пошли. Так и оказалось, что правильное его слово: провел нас, как по своему огороду.

Вот они, дела-то какие бывают: решаешь человека жизни, а он, выходит, твой родной есть брат...

— У немцев к фон-Панневицу в корпус попали?

— Нет, извиняюсь, я за Россию шел... Тоже горка она, Россия. Это понимать надо. Под немецкую команду я не становился. Да и они к тому казаков не неволили. Спервоначала я в полевой охранный отряд вступил. Под начало есаула Сотникова. Знали, может, или слыхали?

— Нет, не приходилось.

— Партизан мы ликвидировали. Правильное дело, потому в эту войну партизаны фальшивые были. Крестьянству и прочим жителям от них, кроме вреда и гибели, ничего не получалось. Тут и взводного нашего убили. А когда немцы с Днепра отходили, влились мы в третий полк казачьих формирований полковника Доменова и с ним в Италию пришли. Краснов генерал очень известный был, от него никакая измена быть не могла, нас под свою команду принял. Так оно и вышло...

— Дальше все знаю. Из Лиенца как выскочили?

— Не был там. 23-го апреля меня с подводой в Венецию из Толмеццо командировали, покупали там что-то. Там и остались мы с сотником Хмызом при капитуляции. Видно, другая Голгофа-горка мне назначена... А Краснов генерал и прочие в Лиенце на ихнюю горку вступили. Каждому — свой путь... И вам — тоже. Вот и батюшка идет. Значит — пока! Побегу, принесу свою паску...

Я тоже пошел за своим куличом. Мы возвратились в церковь снова вместе. Он положил на лавку рядом с выпеченным моей женой настоящим российским, даже с барашком наверху, куличом завернутый в бумажку кусок пайкового хлеба и выданное нам ИРО некрашеное яичко.

— Паска у меня слабоватая, по моему холостому положению. Семья ведь там осталась... Ну, да простит Господь, я так полагаю...

[8] По свидетельству Г. Андреева («Грани» № 8), прибывшего на Соловки в год моего отъезда оттуда, в дальнейшем заутрени и вообще службы для заключенных не разрешались.— Б. Ш.

Прозвучал первый удар нашего маленького железного, неизвестно откуда и кем добытого нерусского колокола.

Ответили ли ему била земляной церкви Преображения, воздвигнутой святителями соловецкими? Отозвались ли дивным звоном своим китежские колокола сокровенных озерных глубин?

Ответили. Мой случайный собеседник в ту ночь, простой, совсем обыкновенный человек, шаг за шагом взбиравшийся на свою горку Голгофу, их слышал...

Глава 33
СЕДЬМОЙ АНГЕЛ

Прошло двадцать три года, как колючая проволока Камского пересыльного пункта осталась позади меня.

Проверивший мои документы чекист пожал мне руку. Ему оставалось еще два года до срока.

— Прощай, не поминай лихом!

Не поминать лихом Соловецкую каторгу тогда я не мог. Она была для меня только страшной, зияющей ямой, полной крови, растерзанных тел, раздавленных сердец, разбрызганных мозгов... Стоны, вопли, бред, рыдания еще звучали в моих ушах. Над навсегда покинутым Святым островом смерть, только смерть простирала свои черные крылья...

Написать эту повесть я задумал еще на Соловках, на могилах безвестных страдальцев за древнее русское благочестие, на могиле новых мучеников, положивших жизнь свою за Русь...

Какую? Ушедшую или грядущую?

Ушедшую, величавую, безмерную, дивную в несказанной красоте своей...

Так думалось мне тогда в проникновенной тишине соловецкой дебри. Так думалось мне и после в раскаленных азиатских песках, в грохоте и сутолоке новостроек, в смраде пота, гниющей человечины и снова крови...

Я знал, что, может быть, есть один лишь жребий из тысячи, миллиона, дающий возможность рассказать эту повесть, писал ночами, наглухо заперев двери, а под утро рвал написанное или зарывал в сырую русскую землю, в сухой азиатский песок.

Я писал о слезах и крови, страданиях и смерти. Только о них. Образы моих братьев, падающих под пулей угасившего дух свой безумца или — еще страшнее — другие безумцы, рвущие плотничьими клещами золотые зубы изо рта неостывшего еще трупа своей жертвы, и, наконец, самое страшное — плотник, спокойно принимающий возвращенные ему клещи и без страха и содрогания вытирающий с них кровь своим фартуком... Эти бесконечно мучительные отблески пережитого теснили, давили, душили меня, заслоняя все остальное.

Годы шли. В грохоте войны, вихре смерти, новых потоках крови и слез мне выпал единственный из миллиона жребий: я смог рассказать о пережитом.

Я снова всмотрелся в ушедшее и теми же глазами увидел иное. Дивная, несказанная прелесть Преображенного Китежа засияла из-за рассеянной пелены кровавого, смрадного тумана. Обновленными золотыми ризами оделись обгорелые купола Соловецкого Преображенского собора, вознеслись в безмерную высь и запели повергнутые на землю колокола. Неземным светом Вечного Духа засияла поруганная, испепеленная, кровью и слезами омытая пустынь Русских Святителей, обитель Веры и Любви. Стоны родили звоны. Страдание — подвиг. Временное сменилось Вечным.

*

* *

Я не художник и не писатель. Мне не дано рождать образов в тайниках своего духа, сплетать слова в душистые цветистые венки.

Я умею только видеть, слышать и копить в памяти слышанное и виденное. Претворят это скопленное те, кто вступил в жизнь позже.

Люди, о которых я рассказал, прошли перед моими глазами, их слова запали мне в сознание. Большая часть этих людей уже ушла из жизни, иные еще в ней.

Ушедшие оставили след; одни — темный, смрадный и кровавый; другие — ясный, светлый, радужный, как крылья серафима.

По следу устремлялись другие и пробивали тропы. По тропам шли многие. Я видел и слышал.

Ломался след — тропа терялась и снова возникала. Тропы свивались, сплетались и вновь расходились. Извечная, неугасимая жизнь ткала свое нескончаемое полотно.

*

* *

Давно-давно над головами двенадцати галилейских рыбаков вспыхнули огоньки Духа. Они расторгли, преодолели тьму. Я не видел их.

Огонек лампады последнего на Руси схимника я видел. Он светился пламенем того же Духа. Вокруг тяготела тьма.

Пламя возгорается от пламени. Свет идет от света. Пламя и свет нераздельны, извечны, неугасимы.

Последний на Руси схимник умер, склоненный в земном поклоне перед своей лампадой на освященном страданием, подвигом и молитвой острове.

Его лампада не угасла.

Пламя от пламени, свет от света. Тихими тайными светильниками возгорелись иные лампады. Я их видел и сохранил в своей памяти.

Духа не угасить.

*

* *

Мне не дано рождать образов, но только видеть рожденное помимо меня.

...Во тьме жил человек и ей служил. Тьма ничем не грозила его телу, но он рассек тьму страданием и подвигом. Свет ничего не сулил его телу, но он пошел к свету.

Выход из тьмы грозил ему смертью, человек преодолел страх тела подвигом духа... Путь подвига — путь страдания. Человек избрал этот путь. Почему?

Кто толкнул и повлек его на преодоление плоти, ее власти и ее страха?

Я не создаю образов, но лишь храню в памяти виденное... Имя этого человека — легион.

Сквозь тьму — к свету. Через смерть — к жизни. Таков его путь. Почему он пошел по нему?

Когда в елей Неугасимой Лампады каплет кровь, ее пламя вздымается ввысь, блистая и сияя всеми переливами небесной радуги — знака обета Вечной Жизни. Оно, как крыло серафима. Терновый венец сплетается с ветвями Неопалимой Купины и ее свет с пламенем горящей в лампаде крови.

Подвиг торжествует над страхом. Вечная жизнь Духа побеждает временную плоть. Безмерное высится над мерным, смертию смерть поправ.

Так было на Голгофе Иерусалимской. Так было на Голгофе Соловецкой, на острове — храме Преображения, вместившем Голгофу и Фавор, слившем их воедино. Так было на многих иных Голгофах иных стран и земель, по которым легли Китежские тропы, страдные крестные пути к благостной святыне Преображенного града.

Путь к Голгофе и Фавору един.

Жертва кладет предел страху плоти. Страх умирает на жертвеннике, ибо он — плоть. Дух не ведает страха.

Платтен, Дахау, Римини, Лиенц... еще и еще сотни, тысячи, десятки тысяч безымянных Голгоф... От Камчатки до Пиренеев, от Колымы до Ла-Рошели... На эти Голгофы всходили те, кто нес в себе искру пламени Духа, всходили отвергшие Тьму, победившие ее в своем сердце.

Меня эта чаша миновала. Два раза неведомая мне сила, помимо моей воли, моего разума, сломала и повернула мой путь по земле. Первый раз он лежал в Лиенц, второй — в Римини. Теперь это называют случаем. Прежде называли чудом.

Я умею рассказывать только то, что видел сам. В Лиенце я не был. Я не прошел крестного пути к нему. Я не стоял на его Голгофе. Пусть расскажет о ней видевший.

* * *

Страшная «Тирольская обедня» была совершена 1 июня 1945 года. Только две таких литургии знает христианский мир: первую совершали двадцать тысяч мучеников, в Никодимии сожженных; память их са. Церковь установила 28 декабря старого стиля. Вторая литургия совершена тоже двадцатью тысячами мучеников Казачьего Христолюбивого Воинства... Память их будет установлена впоследствии первого июня нового стиля.

Служили эту литургию восемнадцать священников; из восемнадцати Чаш причащались на смерть казаки... Танки репатриационных отрядов раздавили церковный помост и разрезали войско на отдельные островки, в которых закипела насильственная посадка на автомашины: люди бросались под колеса машин, под гусеницы танков, стреляли в своих жен, детей и в себя. Над войском стоял сплошной стон, вслушиваясь в который можно было различить слова: «Христос! Христос!».

Отец Николай в ризах, с чашей, стоял среди волнующегося моря на каком-то высоком столбе — остатке церковного помоста — и был виден всем. Высоким, звенящим тенором, охваченный экстазом мученичества, запел он гибнущему войску песнь брачного веселия: «Святии мученицы, добре страдальчествовавшии и венчавшиеся, молитеся ко Господу...» Голоса сотен казаков и казачек-певчих подхватили брачный гимн... Войско обручалось со своим Небесным Женихом. Цокали машины, работали приклады, лилась кровь... А над всем этим плыл торжественный напев верной до гроба невесты-Церкви, оплакивавшей чад своих...

«Доколе, Господи, не мстишь за кровь и слезы?» — спрашивали омывшиеся кровью пролитой за Господа» [4].

Эта повесть о людях живших записана среди людей живущих, в лагерях, в скоплениях вырвавшихся из тьмы.

Кто они? Мы не в состоянии определить, взвесить их ни по одному из общепринятых измерений. Мы не можем установить ни удельного веса различных социальных групп, ни ступеней культуры, ни религиозных верований, ни даже национальностей российских людей, ушедших от потерявшей свое имя России. Мы вправе утверждать лишь одно: подавляющее большинство этих разноликих, разнородных, разноязычных, разномыслящих, разноверующих людей прошли сквозь колючую проволоку социалистического концлагеря или близко соприкоснулись с нею через своих родственников, друзей, единомышленников. За колючей проволокой, в разросшихся вглубь и вширь Соловках — страдание, кровь, смерть. Муки тела и томление духа. В этой муке и в этом томлении — пламя лампады последнего схимника. Свет во тьме.

Если нужны имена людей из костей и мяса, людей, живущих среди нас, с нами в одной жизни,— их легко услышать, прочесть, найти...

Имя им — легион, и число их множится с каждым днем, с каждым часом.

Они идут разными тропами, они говорят различными словами, они по-разному видят, слышат, претворяют виденное, мыслят, веруют... Но в каждом из них теплится, то ярко вспыхивая, то почти угасая, частица пламени Неугасимой Лампады Духа.

Не будь этого света, они не шли бы и мы не знали бы их. Мы их не видели бы.

Множатся светильники, рассекая тьму. Их видят уже многие. Множится и число видящих. Теперь...

...тогда была тьма. Немногие видели в этой тьме догоравшее, как казалось, бледное, задушенное тьмою пламя, пламя лампады последнего русского схимника.

Я видел его. Поэтому пронес в своем сердце эту повесть о живших людях, пронес через кровь и огонь, через тьму, через жизнь и смерть.

---

[4] В. Захаров. «Отец Сейминут», газета «Русская мысль» № 262, 28/VII-1950 г.— Б. Ш.

* * *

Преображение требует искупления. Искупление — жертвы. Соловки и все рожденные ими, покрывшие Русь Голгофы были жертвенниками искупления, на которые лилась и льется кровь, на которых сияли и сияют многие лампады. Тогда, в непроглядной тьме, была лишь одна.

Чтобы воскреснуть духом, надо умереть плотью, надо лечь в гроб. Этим гробом были Соловки. И тогда, в ту жуткую ночь на каторжном кладбище, у разверзнутой свалки-могилы мы, Глубоковский и я, видели только гроб, ощущали только смрад, тление тела.

Не мы одни. Многие, многие видели только то же и видят и теперь, не услышав Керженских звонов из тайных глубин Святого озера сущей святой Руси.

* * *

«Проказа сошла с него, и стал он чист»,— писал евангелист, видевший первый крест на первой Голгофе.

«Страданием очистишься»,— повторил другой евангелист, позже пришедший в мир, чтобы узреть очами своего духа грядущие Голгофы, грядущие жертвы, грядущее искупление, грядущее Преображение.

Безмерно пленительны и безмерно страшны слова пророков. Они просекают тьму грозным огненным мечом Архистратига-Провозвестника и сияют в ней радугой обетования...

Они рождаются в пепле сгоревших сердец, в каплях-морях пролитой крови. Из смрадных греховных болот, из темных, зияющих провалищ они вливаются в ясную глубь непорочных святых озер. От тьмы и страха керженской сечи — к благостному свету преображенного Китежа. Так указал пророк, не означивший своего имени, ибо имя ему — легион.

Сотни лет по глухим лесным тропам шли многие к водам Святого озера, приходили к нему и слушали звоны из его глубин. В тех звонах было обетование. Но когда меч рассек тьму, обуглились души и полилась кровь,— пришел страх, и многие пали пред ним, «уверовали в злодейство и поклонились ему». Но звонили в глубинах колокола обетованного Града и вставали павшие, каялись поклонившиеся.

«И приходили к Нему отовсюду...»

* * *

Поэт, пророк и евангелист, живший в глубине веков на подобном Соловецкому пустынном острове, видел там ангела. Лицо ангела было, как солнце, и над головой сияла радуга. Он сходил с небес, облаченный в облачные ризы.

Став ногами на землю и море, ангел воскликнул голосом, подобным рыканию льва. И семь пророков вторили ему своими голосами. Речь их была тайной.

Ангел поднял руку к небу и клялся Живущим во веки веков, Сотворившим небо и всё, что на нем, землю и всё, что на ней, море и всё, что в нем...

Он клялся, что придет день, когда возгласит, вострубит Седьмой ангел, и тогда свершится тайна Божия, о которой Он благовествовал устами рабов Его — пророков.

Тайне Преображения...

* * *

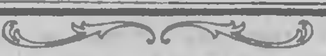
Но перед приходом Седьмого ангела над миром пронесутся шесть иных. На их крыльях будет страдание и смерть.

Через Смерть к Жизни — тайна Преображения.

Крылья какого из ангелов раскинуты днесь над нами?

Соловки 1925 — Капри 1950.

ПОЭЗИЯ



МИХАИЛ ГАВРЮШИН

ПРЕД ТВОИМ ПРЕСТОЛОМ

Грядущая быль

Уж тягу земную
ты чувствуешь ропщущим сердцем,
то вервии жил
натянулись до первого звона...
Не то запоешь,
коли в спину ругнут иноверцем,
юродивым псом,
заблудившимся возле амвона.
И если от боли высокой
душа отвыкает,
земного суда
постигая слепые уроки,
и сам не заметишь,
как время твое истекает
и скручены в узел
распутья твои и дороги.
Земного суда
постижимы слепые уроки,
но вот наважденье —
земному суду неподвластны
весны пробужденье
и смерти бесстрастные сроки,
ты в небо глядишь,
а зеницы небес беспристрастны.
Теперь оглянись,
как сукровица пашен сочится,
но лемех не сыщет,
ни света, ни броду не зная...
И сердце в пределы родные
наотмашь стучится,
то туго, как память,
натянута тяга земная.
Она не обманет
и выведет через руины
порушенных храмов
и остовы ржавых комбайнов,
сама проведет
через гиблую топь и рутину
Иди же за нею,
хребет становой разгибая.
Ты чувствуешь тягу
под ворохом затхлых декретов,
в затопленных селах —
узнаешь по вздувшимся льдинам.
Она в твоей памяти
глубже казенных секретов.
Ее ты постигнешь
не плугом, но духом единым...
Не стынь на ветру
посреди гегемоньего гула,
колен не сгибай
перед всяким высоким забором...
Пусть тень от Кремля
осеняет тебя Святогором,
но в ярь горизонта
за плугом восходит Микула!

День ангела

И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за народа твоего; и наступит время тяжкое, какого не бывало...

Книга пророка Даниила. 12.1

Уж в судоргах смиряется природа.
Нет прежней силы
в солнечном накале.
Снег у подножья хмурого народа
от бархатных Карпат
до Забайкалья.
Крылом в сугробы угодил архангел,
мир оглашая горестным преданьем
о брошенной избе, чумной яранге
и падающем в пропасть
мирозданье...
И невдомек: ну что ему за дело?!
Как над страной
судьба распорядится,
чтоб, выйдя в запредельные
пределы,
да в ризы покаянные рядиться?!
Но он возник,
как горний светоч светел
(в ту ночь до звезд
собачий лай донесся)
и всякого идущего приветил
как первого Христова шлемоносца.
Он прорицал, не поднимая вежды,
и проложил идущим в назиданье
тропу земную, веру и надежду,
что ж до любви,
так выцвело преданье —
иль стаяло, что легкая пороша...
Под пристальным, как смерть,
тунгусским взором
он оступился, полтайги взъероша,
неузнанный творцом
и рыбнадзором...
Святая Русь,
он пред твоим престолом
загаженным, в берестяных
доспехах,

ГАВРЮШИН Михаил Радомирович родился в 1957 году в Донбассе. По окончании школы работал на шахте, служил в армии, окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Автор книг стихотворений «Узы» и «Грядущая быль». Член СП СССР. Живет в Москве.

покинутый всем воинством
Христовым,
реляции о горестных успехах
доводит...
Он, твой доблестный архангел,
не без присмотра НАТО
или НАСА,
то бэтээры вывел
на Саланге,
то в пекло Чернобылья
окунался.
Смотри же, как, разглаживая
шрамы,
такое не приснится, не примнится,
все выжившие воины
и храмы
восславят это
тезоименитство!

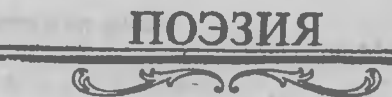
* * *

Владиславу Артемову

В этих сумерках серых просветом обязан снимку.
Вот плывут облака, чуть коснувшись за наши плечи.
Над обрывом Оки мы с тобою стоим в обнимку.
Только ветер шумит, и памятны нам его речи.
И такой восторг лучился над целым светом,
над обрывом тем мы упали, раскинув руки,
и глядели ввысь, но медлил господь с ответом...
Будто думал с улыбкой, ну что ж, отдохните, други.
А виски твои шелкова мурава ласкала,
и запел ты, брате, аж грудь ходуном ходила.
Может, есть и лучше поют в Большом ли, в Ла Скала,
но как ты — ни в жисть, будто вслед за песней —
могила.
Эко люб ты, брате, когда слезливый иль вздорный,
но такой родимый, с такой душою светлой,
как ты пел тогда,
что кружит, дескать, ворон черный...
Так и я подхватил
эту песнь с тоской беззаветной.
И бескрайний простор нам студил горячие груди.
За Окой вдали колосилась златая нива.
Позабыв себя, нас слушали русские люди,
и шофер, и парторг, и бухгалтер из кооператива.
Это Русь сама нас с тобой держала в ладони
и глядела с любовью, на миг затаив дыханье.
И, быть может, ты думал тогда
о сыне, о доме.
И светло нам было, будто от покаянья.

* * *

Мой околоток, на медвежьих лапах
еще ты дремлешь у былых ворот,
меж тем,
как невидимки из-под шапок
жуют глазами утренний народ.
В твоем доисторическом убранстве
заключена нездешняя печаль.
Как будто время
замерло в пространстве...
Полощет ветер каменную шаль,
седым векам упавшую на плечи,
в глазницах окон загнанная мгла.
Мой крестный путь,
ты славой не отмечен,
мой Вспольный переулок до угла.
Мы все свои проблемы перекурим,
сгрудившись у артельного плеча.
Пусть экипажи в деловом аллюре
летят встречь солнцу
из-под «кирпича».



ВЕЧЕСЛАВ КАЗАКЕВИЧ

ОБЛАКА ЛЕЖАТ ВОЗЛЕ ТЫНА

На родине

Вот трехэтажная школа кирпичная.
В воздухе галочьи страсти.
На постаменте фигура привычная.
Где же тут счастье?
Там, где ему находиться положено,
вижу в отчаянье
почту облезлую, сквер огороженный,
синюю чайную.

Воля

Скоро выйдет нам воля
ветру на удивление!
С ходу кинется в поле
городов население.

И над божьей коровкой,
из-за тучи подосланной,
забормочут неловко
ребятишки и взрослые:

«Божья коровка, полети на небо!
Принеси нам хлеба!
Дай молочка!
Дай табачка!..»

Праздничная открытка

Когда-то, брат,
когда-то, брат, когда-то
меня любая радовала дата,
что краскою пожарною заката
в календарях была отмечена.
С утра уже веселые родители
под марши бодрые ботинки чистили,
летел вороной запах гуталина,
пирог с малиной закалялся в печке.

КАЗАКЕВИЧ Вечеслав Степанович родился и вырос в белорусском поселке Валынячи. Окончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова. Известен по многочисленным публикациям в периодике и книгам стихотворений «Праздник в провинции», «Кто назовет меня братом?». Член СП СССР. Живет в Москве.

В колоннах люди шли
миролюбивые,
никто не гнулся
под плакатов ношею.
И на портретах были все красивые!
А на трибуне были все хорошие!

Но с ноябрями новыми и маями
красавцы оказались негодяями,

и ныне над домами и сараями
не всходит счастье
в праздничный денек.

Лишь Дед Мороз на вате и на пакле
пока еще при блестках, не в опале,
волочит по сугробам в наши дали
с грядущими раздорами мешок.

✦✦✦

Иностранцы

По России в хмарь ее и глубь
чужестранный странный
караван бредет.
Тычась бампером в ослиный круп,
черное авто гостей блюдет.

Что за люди? Скачут бубенцы.
Наплывают избы, города, закат...
Осаждают караван дельцы,
за валюту чудеса сулят.

Поднося верблюдам хлеб да соль,
слезно просят депутации кредит.
И девчонок суматошный сонм
белый воздух юбками мутит.

Но заманчивые господа
зорко пялятся поверх голов любых:

чудная ходячая звезда
увлекает за собою их.

Где-то здесь родился и растет
русский царь, который всех спасет,
и везут в задрипанную тьму
смирну, ладан, золото ему.

Отчего ж не светится никто
из встречающихся по пути?
Отчего в насупленном авто
рация все время шелестит?

Едут иностранцы за звездой,
С картами срастается маршрут.
Сумрак над селеньями густой.
Дети малолетние орут.

✦✦✦

Надежда

Облака лежат возле тына,
будто белая парусина.
Мать стоит у небесных ворот,
ожидая пропащего сына.

Он хвастун, пьянчуга, гультай,
у него грехов через край.
Но недавно привратник буркнул:
«Так и быть! Пущу его в рай!».

Ежедневно который год
мать к воротам синим идет,
перед этим из райских яблок
в холодочек ставит компот.

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ

(«КРУГЛЫЙ СТОЛ» В САРОВЕ И МОСКВЕ)

АЛЕКСАНДР КАЗИНЦЕВ

За право иметь дом на земле

Прежде чем говорить об оружии, произнесем другое слово, более внятное каждому сердцу,—Родина. Если мы и обсуждаем сегодня проблемы вооружений, то лишь потому, что они необходимы для защиты страны.

В бесчисленных речах нынешних советских лидеров бесполезно искать фразы о родной земле. Придется цитировать одного из ведущих политиков Запада, в недавнем прошлом премьер-министра Франции, Мишеля Рокара. Вот как он говорит о своем Отечестве: «...Я ношу Францию в сердце, я горжусь ею и желаю своей стране будущего, достойного ее прошлого».

Это высказывание Рокара, взятое мною из книги «Трудиться с душой», соседствует с другим: «Мы не можем стоять в стороне ни от столкновения интересов, ни от столкновения цивилизаций. Единственное, что в наши дни может оградить нас от таких столкновений, уважение, которое мы внушаем. Легкую добычу быстро проглатывают».

Дорожа своею землей, французский политик не может не думать о защите ее. Естественная связь любви и заботы, предопределяющая поведение государственных деятелей в Европе и Азии, в Африке и Америке. Всюду, но только не в сегодняшней Москве.

Едва ли не каждую неделю советские официозы — «Известия», «Комсомольская правда» и подобные издания выступают с резкими нападками на армию и на так называемый военно-промышленный комплекс. Читая эти материалы, можно подумать, что речь о чужой армии, о силах противника, чуть ли не об оккупационных войсках. Но нет — о чужих те же газеты говорят в ином тоне. Мажорном, благожелательном, порою, просто восторженном. Вся сила ненависти концентрируется на «своих», на защитниках нашего Отечества.

Пресса — лишь одно звено мощной иерархической сети. В вопросе вооружений газеты действуют в трогательном союзе с властями. Сам по себе подобный союз для СССР традиционен. Беспрецедентны цели.

Назовите еще одного министра иностранных дел, который бы — безо всяких ответных уступок другой стороны! — лишил державу военного контроля над половиной континента. Этакий увесистый подарок Североатлантическому союзу, кокетливо перевязанный голубой ленточкой мира! Какой еще политик не только допустил, но и поддержал падение дружественных режимов в приграничных государствах и возникновение новых, без конца предъявляющих нам экономические, идеологические и территориальные счета? Кому бы еще пришло в голову приветствовать крупнейшую за послевоенную историю милитаристскую акцию, осуществленную вблизи наших границ и подорвавшую наши экономические и политические интересы? А ведь осенью прошлого года, когда американская армада сгрудилась у берегов Ирака, речь шла не только о велеречивых приветствиях — о возможности участия советских войск во вторжении!

Любой иностранец скажет: такого министра вообще быть не может. А если появится, его снимут в 24 часа, чтобы правительство не потеряло доверие народа. И тем не менее советскую внешнюю политику направлял именно такой че-

ловек. И его не уволили с позором — он сам ушел, с треском хлопнув кремлевской дверью, и хозяин Кремля публично ломал руки по этому поводу!

Говорят о пацифизме Шеварднадзе. Нет, это безразличие (если не сказать больше) к нуждам и судьбе страны. Никакими пацифистскими убеждениями не объяснить еще один по-восточному щедрый жест министра — решение подарить Соединенным Штатам нефтеносный шельф у берегов Камчатки.

Дела вчерашнего дня? Во-первых, за эти дела расплачиваться не только нам, но и нашим внукам. Во-вторых, в июне этого года президент СССР громогласно поддержал Шеварднадзе. И тут же экс-министр сделал следующий ход: от своего имени выдвинул запущенную американцами идею использования войск ООН для «охраны» (или проще говоря — оккупации) советских ядерных объектов в случае усиления нестабильности. Интересно, поддержит ли и на этот раз М. Горбачев своего давнего друга?

Я вспоминаю, как несколько лет назад лидер одной из мелких оппозиционных партий в датском парламенте заявил — вместо того чтобы тратить деньги на оборону, проще было бы опустить монетку в телефонный автомат, позвонить в Москву и сказать: мы сдаемся. Самый дешевый способ обеспечить безопасность страны...

Думаю, депутат-циник стремился не к дешевой безопасности, а к дешевой популярности. Однако его ждало презрение не только маленькой Дании — всего мира. Сегодня крупнейшей державе предлагают обеспечить свою безопасность телефонным звонком в Нью-Йорк: пришлите «голубые каски».

Впрочем, кого сегодня обеспокоит присутствие американских солдат хоть в Кремле, хоть на советских ракетных площадках? Изо дня в день нам внушают: идеологическое противостояние закончено. Теперь у нас и у Америки общие идеалы, устремления, задачи. Мы союзники.

Нам задурили голову идеологией! Начали давно и до сих пор используют обветшалые стереотипы, правда, с иными целями. Раньше повторяли: напряженность в мире обусловлена борьбой между силами реакции и прогресса, между капитализмом и социализмом. Сейчас вдалбливают: с окончанием идеологического соперничества наступает всеобщий мир.

А между тем история показывает — страны борются друг с другом не за торжество теоретических установок. За обладание территориями и ресурсами. В последние годы ресурсами прежде всего. Гигантские факелы, пылающие над Персидским заливом, с новой силой высветили эту истину. Весь мир был приведен в движение, были нагромождены горы трупов, когда встал вопрос о контроле всего-то над несколькими процентами арабской нефти!

Какое значение в этих условиях имеет освобождение СССР от идеологических догм? Ровно никакого. Нефть некоммунистической России не меньший соблазн для Запада, чем нефть «социалистического» Союза.

А ведь кроме нефти у нас есть газ, уголь, железо, редчайшие «стратегические» металлы — фетиши индустриального общества конца второго тысячелетия. Эпохи катастрофического оскудения ресурсов. Эти сырьевые сокровища впору хранить не в земле, а в толщах бронированных сейфов! Так кем же надо быть, чтобы убеждать легковерных: оставьте ваши богатства на оживленном мировом перекрестке — отныне охрана не нужна.

Если и вправду не нужна, если идеологическая разрядка — предвестие вечного мира, то почему Соединенные Штаты не отказались ни от одной из своих суперсовременных (и сверхдорогих) военных программ? Неужто безрассудно сорят деньгами — при западном-то прагматизме? Доля военных разработок в общем объеме государственных ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в США возросла с 50% в 1980 году до почти 70% в 1991. В СССР в 1991 году на 15% (по сравнению с 1988 годом) сокращены расходы на те же нужды! Между тем, уже сегодня из 18 базовых технологий для производства вооружений США имеет преимущество перед СССР в 12 и равенство в 6...

Конечно, нелегко оправдывать высокие военные ассигнования в нищающей стране. Но подумайте — разве иракцы стали богаче после поражения, нанесенного им Соединенными Штатами? Разве благосостояние простых людей увеличилось теперь, когда Ирак вынужден просить разрешение продать свою нефть? Побежденный платит дважды — за себя и за победителя.

«...За дом надобно было драться. Драться за право иметь дом на земле!» — эти слова замечательного исторического писателя Дмитрия Балашова о времени становления русского государства в борьбе с Ордою пронзительно современны. Новый передел мира (а именно к этому сводится в конце концов «новый мировой порядок») поставил перед народами, не принадлежащими к международной элите, вопрос о выживании.

Политики лгут, когда говорят, что у нас есть выбор между сытой жизнью за счет оборонных расходов и нынешней вооруженной бедностью. Просчеты политиков вчерашнего и сегодняшнего дня привели к тому, что богатая жизнь в ближайшем будущем нам не светит. Нам оставили выбор между бедностью на своей земле и попрошайничеством на территориях резерваций под охраной сил «мирового сообщества».

Знание и решимость, концепция, основанная на знании и решимости, — вот условия выживания. Общество должно иметь всю полноту информации о политической и военной ситуации. Оно должно запретить навязывать ему удобные политикам стереотипы, вырваться из плена современной мифологии.

Посмотрите, с какой готовностью США применяют вооруженную силу. 250 раз за каких-нибудь 36 лет — с 1946 по 1982 год. При этом общество Америки торжествовало даже гренадскую победу, несмотря на аморализм вооруженного противоборства гиганта с карибским карликом. Американцы готовы были морально санкционировать применение атомной бомбы в Ираке.

Я не считаю это общество достойным подражания. Да русские и не смогут вести себя так. Но я знаю, что Америка обладает иммунитетом, необходимым для выживания.

Наше общество должно выработать свой иммунитет. Нужна концепция национальной безопасности. Основывающаяся не на мифологии, а на реалиях сегодняшнего мира. Честно и четко сформулированная правительством и последовательно проводимая им в жизнь. Понятная народу. Способная дать людям уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня у нас нет такой концепции, и ясно, что правительство не намерено ее разрабатывать. Задача общества — заставить правительство сделать это. Необходимо широкое общественное движение за разработку концепции национальной безопасности.

Мы надеемся, что «круглый стол» журнала «Наш современник» станет одним из импульсов, способствующих зарождению такого движения. Мы не пригласили политиков и военных, стремясь быть предельно независимыми от государственных структур, чтобы свободнее и настойчивее вести диалог с ними. В редакцию пришли ученые — политологи и физики-ядерщики, люди, знающие об оружии все и способные всесторонне обсудить эту проблему.

Мне особо хотелось бы отметить участие физиков-ядерщиков из знаменитого Сарова. Еще несколько лет назад трудно было говорить об их активном сотрудничестве с патриотической прессой. Позицию этой элиты советской науки многие годы выражал академик Андрей Сахаров, чья карьера была связана с ядерным центром в Сарове. И вот сегодня мы присутствуем при событии немалой общественной значимости — коллеги академика, среди которых выдающиеся ученые с мировой репутацией пришли в журнал, чтобы вместе с его сотрудниками обсудить вопросы национальной безопасности.

И в этом единении людей разных профессий, различных общественных взглядов, в совместной попытке отстоять то, что выше всяческих различий, что равно близко сердцу каждого человека, я вижу залог успеха нашей инициативы.

В. С. НЕФЕДОВ,

кандидат физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник
Всесоюзного НИИ экспериментальной физики

Ядерное оружие и стабильность мира

Позиция СССР по отношению к ядерному оружию с момента его появления выражается в следующем. Ядерное оружие есть зло. Мы его разрабатываем по необходимости. Ядерное оружие следует безусловно уничтожить. СССР стремится к этому, но Запад против. Борьба за уничтожение ядерного оружия есть борьба за мир. Наиболее полно эта линия выражена в предложении М. С. Горбачева об уничтожении ядерного оружия к 2000 году. Иные точки зрения не обсуждались.

Потому странной казалась для народа позиция М. Тэтчер. Напротив, понятной и благородной видится борьба О. Сулейменова и др. с советским ядерным оружием. Вызывают сочувствие бурные дебаты в Верховных Советах СССР и РСФСР по поводу единственного и вынужденного (почти год штольня стояла забитой) нашего испытания в 1990 году. Нет протестов против статьи проекта Союзного договора о ядерном разоружении СССР. Между тем исходное положение о том, что уничтожение ядерного оружия есть благо, далеко не бесспорно. Прежде чем разоружаться, следовало бы ответить на два вопроса: 1) что даст ядерное разоружение Союзу?; 2) что оно даст человечеству? Порассуждаем на эту тему. Возможны три сценария разоружения: 1) все отказываются от ядерного оружия; 2) его сохраняет одна страна; 3) ядерное оружие сохраняют несколько стран (но не СССР).

В первом случае мы возвращаемся к ситуации, худшей, чем в тридцатые годы. Неизмеримо опаснее стали средства ведения войны: приближающиеся по разрушительной мощи к ядерным зарядам вакуумные бомбы; высокоточные ракеты дальнего действия; атомные подводные лод-

ки; более опасное химическое оружие и т. д. Появились атомные электростанции и другие опасные объекты, которые могут быть разрушены во время боевых действий. Последствия этого, вероятно, будут более страшными, чем последствия ядерной войны (вспомним Чернобыль). С другой стороны в ряде стран достигнут высокий уровень жизни, причем, в немалой степени за счет других, который нужно поддерживать и защищать. Ясно, что для этого необходимо осуществлять контроль над мировыми ресурсами, ограниченность которых уже ощущается. Да еще грозит перенаселение (реально оно уже есть, если все достигнут уровня США). Так что предстоит борьба за ресурсы, которая будет порождать постоянные вооруженные конфликты. Фактически она уже идет. Трудно представить, чтобы в тридцатые годы посылалась военная армада за тридевять земель потому лишь, что одна арабская страна напала на другую.

Что ждет СССР? Россия и раньше была лакомым куском для ближних и дальних соседей, а СССР в нынешнем его состоянии — тем более. Якутские алмазы хороши и тюменская нефть, Ферганская долина и украинский чернозем. Кому-то приглянутся Курилы, Молдова. И уже приглядываются. Апеллируя к истории, разумеется! Дай Бог, если Союз останется в целости и сохранит свое могущество. А то ведь не устоять по одиночке. Отсутствие сдерживающего фактора в виде ядерного оружия опасно не только для Советского Союза, но и для всего мирового сообщества,так как развяжет руки мелким и крупным агрессорам, ввергнет мир в пучину бесчисленных кровавых столкновений. Думается, именно наличие этого оружия у нескольких стран удержало уже мир от ряда крупных потрясений: конфликт СССР с КНР, Ближневосточные войны, Карибский кризис. Второй сценарий подразумевает возникновение монопольного владельца ядерного оружия. Фактически появится «мировая сила», разговоры о которой уже ведутся (статья И. Менухина в «Известиях» от 17.11.90). Эта мировая сила будет управляться «на практике людьми с безупречной репутацией». Кто будет монополистом — секрета не составляет. Нет и сомнений, что среди «людей с безупречной репутацией» места представителям СССР не найдется. Геополитической целью США было и остается устранение основного конкурента — Российской империи и ее наследника СССР. Защищать свои интересы в такой ситуации народы СССР не смогут — один взрыв мегатонного заряда над Москвой (Киевом, Ташкентом...) снимет все возражения.

Итак, под эгидой мирового правительства, СССР (или, что из него сделают) будет играть только предначертенную ему свыше роль. А для руководителей «высокоразвитых», «избранных» народов (о самих народах не говорю) СССР интересен лишь как территория, обладающая огромными сырьевыми ресурсами и дешевой, достаточно квалифицированной рабочей силой. Как сырьевая колония. Это и будет определять условия жизни у нас. Жить мы будем отнюдь не как в США (зачем с нами делиться?), если уж в суверенной стране наши вожди, распродавая сырье (может, именно потому), не могут наладить сносную жизнь. А мировым правительством будут назначены угодные ему, но не народам СССР, руководители. И тут нет никакого преувеличения. В условиях сырьевого кризиса и перенаселенности правители мира будут вынуждены в первую очередь обеспечить наиболее ценные (это будут определять они же) для цивилизации народы. Ясно, что славяне, о чем писали еще Маркс и Энгельс, и другие народы СССР (за очень малым исключением) к таковым не относятся. Третий сценарий для нашей страны ничего существенно не меняет по сравнению со вторым. Добавляется только возможность раздела на зоны влияния между ядерными державами. Роль же сырьевой колонии остается. Между ядерными державами после ухода СССР развернется борьба за лидерство. Сейчас ее исход предсказать нетрудно. Победителем окажется единственная супердержава — США. Но сейчас! На роль второй претендует, похоже, Китай, где поняли ситуацию и после длительного одностороннего моратория возобновили испытания.

Можно возразить, что высказанные прогнозы слишком мрачны. Мир стал более гуманным, приобрели вес общечеловеческие ценности, новое мышление и пр. Хотел бы с этим согласиться. Но как быть с тем, что средства ведения войны, о которых говорилось выше, уже все применялись. Даже ядерные заряды. Как объяснить возросшим гуманизмом бомбардировку Триполи, войну во Вьетнаме, экспедиции к Фолклендам и в Персидский залив — за тысячи миль от своих берегов? Какое мышление привело к захвату Гренады и Панамы? Какие ценности защищались во время бойни палестинцев в чужой стране и расстрелов их же десятками в своей? Воля к чему проявилась при нападении Ирака на Кувейт? Таким образом, ядерное разоружение во всех вариантах сейчас не сулит ничего хорошего ни СССР, ни человечеству в целом. Но наиболее опасным представляется возникновение монополии на ядерное оружие. Опасным равно как для развивающихся, так и для высокоразвитых стран — для всех. Берлин, Токио, как объекты бомбардировки, ведь не отличаются ничем от Москвы. Верховные правители, приобретая неограниченную власть, ни с чьей стороны не потерпят конкуренции.

Но люди — не боги. Даже если властелины мира будут исходить из наилучших побуждений, оделяя все народы одинаково (что весьма сомнительно — не для того устанавливается господство), они будут навязывать свой образ жизни, свои представления о добре и зле, свое видение целей человечества и путей их достижения. Это неизбежно приведет к уничтожению многообразия и многоцветности национальных форм жизни. Монополия на ядерное оружие явится завершением того процесса всеобщего «уравнения», «разложения в однородности», прозорливо увиденного К. Леонтьевым и ужасавшего его. В итоге всюду восторжествует напористый западный прагматизм, культ потребления. Но это есть вырождение, своего рода социальная энтропийная смерть. За сим не замедлит последовать и физическая гибель человечества в экологической катастрофе.

Думается, высший смысл ядерного оружия, как это ни парадоксально звучит, именно в том и заключается, что оно позволяет сохранить равновесие в мире, дает человечеству шанс и время осмыслить свое положение и выбрать верный путь. А равновесие может быть сохранено лишь в том случае, если ракетно-ядерные вооружения позволяют нанести ответный удар в любых условиях, пробить любую оборону. Только обладая таким оружием, мы можем сохранить свою независимость и решить свою национальную задачу — наладить наконец достойную жизнь в стране, сохранить и по мере сил улучшить среду обитания для своих будущих поколений. Давно пора нам заняться обустройством своей страны, прекратить ее разорение во имя торжества марксизма, интернационализма, капитализма и пр. Хватит жить чужими идеями с повернутой на сторону головой. Нужно вернуться к своим ценностям, к обычному здравому смыслу. Вот для того, чтобы заняться этим строительством, чтобы не сбивали Россию постоянно с пути, и нужно ей ядерное оружие. Разоружение, а тем более одностороннее, есть предательство интересов своего народа.

И. Д. СОФРОНОВ,

доктор физико-математических наук

Сохранить интеллектуальное богатство

Разработка ядерного оружия явилась очень мощным стимулом развития новых для того времени направлений науки — вычислительной математики и вычислительной техники. И это не случайно. Во многих традиционных отраслях науки и техники, например, в авиации, созданию опытного образца предшествует обстоятельное лабораторное моделирование. В атомной отрасли возможности лабораторных испытаний сильно ограничены, натуральные же испытания трудоемки, дороги и, к сожалению, малоинформативны. По ним можно судить о некоторых интегральных характеристиках: они играют роль зачетных испытаний перед запуском конструкции в серийное производство. Этап лабораторных испытаний в атомной отрасли заменяет математический расчет, он стал основным, а иногда и просто единственным способом получения информации о деталях протекающих процессов, он стал основным средством оптимизации параметров будущей конструкции.

В атомной промышленности у конструкторов нет возможности увидеть, как работают отдельные устройства, что с ними происходит в процессе работы; от них не остается ничего, кроме испаренного материала, таковы физические условия, в которых протекает работа новой конструкции. Математический расчет при разработке ядерного оружия играет неизмеримо более существенную роль, чем в других областях человеческой деятельности.

Во всех странах математические коллективы, связанные с атомной наукой, всегда оснащались самыми совершенными, самыми быстродействующими электронно-вычислительными машинами. Как в США, так и у нас считалось престижным для электронных фирм продать свои разработки разработчикам атомного оружия. Здесь их машины использовались наиболее эффективно, здесь к ним предъявлялись самые строгие требования. Однако, справедливости ради, требуется сказать, что наши электронно-вычислительные машины по многим параметрам уступают американским. Имеется весьма ощутимый разрыв в их производительности, который приходится ликвидировать математикам. Наши математики вынуждены придумывать более эффективные методы расчета, более тщательно проводить сами расчеты, тратить больше интеллекта в процессе расчета, наконец, вынуждены просто напряженнее работать, чтобы на худших машинах получать, если не лучшие, то уж, во всяком случае, не худшие результаты.

В области разработки ядерного оружия до последних лет наблюдался признаваемый паритет. Здесь мы были на мировом уровне, в отличие от многих других отраслей. Работы в области ядерного оружия все ядерные государства держат в секрете не только друг от друга, но и очень ревниво следят за тем, чтобы не облегчить разработку собственного ядерного оружия неядерным державам. В области ядерного оружия мы создали все сами, без иностранной помощи. В частности, математикам пришлось создать свои методы расчета, свои программы для ЭВМ, и все эти работы выполняются своевременно и на хорошем уровне. За прошедшие десятилетия сложились сильные математические коллективы. Автор этих строк много

лет проработал в одном из таких коллективов. Он лично знает многих сотрудников, которые создавали все необходимое математическое обеспечение сети ЭВМ, позволяющих проводить расчеты всего стоящего на вооружении ядерного и термоядерного оружия, и может утверждать, что это специалисты высочайшего класса.

В последние годы у руководства страны появилось много более животрепещущих, сиюминутных забот и вопросы совершенствования ядерного оружия ему стали не интересны. Среди наших высоких руководителей и законодателей укрепилось мнение, что об институтах — разработчиках ядерного оружия — можно не беспокоиться, можно предоставить им самим возможность плавать в бурном море рыночных отношений. Это плавание, очевидно, не может быть благополучным, и этому есть ряд серьезных причин. В первую очередь следует сказать, что эти институты лишены возможности продавать главные результаты своего труда — есть договор о нераспространении ядерного оружия. Этот договор запрещает продавать не только само ядерное оружие, но также материалы и технологию, которые могут помочь неядерным странам в разработке собственного ядерного оружия. Другими словами, эти институты не могут продавать результаты своего труда.

Что же тогда продавать? Нам советуют совершить энергично конверсию и зарабатывать средства на производстве продукции мирного назначения. Однако конверсия должна быть такой, чтобы при необходимости можно было еще более энергично совершить реконверсию. А есть ли у этой задачи решение? Этого еще никто не доказал. Для разработки современного ядерного оружия нужны суперкомпьютеры. Найдется ли у нас хотя бы один заказчик, кроме, может быть, правительства, который в состоянии заказать коллективу математиков работу, на прибыль от которой можно было бы купить суперкомпьютер? В самых что ни на есть рыночных странах все научные лаборатории приобретают суперкомпьютеры при очень серьезной финансовой поддержке государственных органов. Американские лаборатории атомного оружия имеют статус национальных лабораторий и существуют на средства, выделяемые правительством. При этом правительство заботится о том, чтобы работа в этих лабораториях имела более высокий престиж, чем работа в частных или акционерных компаниях. Мы же хотим разработку ядерного оружия перевести на рыночные отношения. Одно из двух: либо мы допускаем ошибку, либо в США рыночные отношения еще не полностью сформировались, и мы надеемся их в этом отношении значительно опередить.

Если говорить серьезно, то разработчики оружия все время занимались решением наиболее сложных задач, которые лежат за пределами ширпотребовского уровня технологии. Им же предлагают заняться другим делом — создавать конкурентоспособный ширпотреб. Это другая задача, она требует другой, может быть, очень высокой, но другой квалификации. Поэтому романтическое слово «конверсия» для разработчиков ядерного оружия просто означает потерю своей квалификации. Это означает, что государство, желает оно того или нет, лишается своего ядерного оружия.

Ни один серьезный человек ни на минуту не допускает, что великое государство сейчас может обойтись без такого стабилизирующего фактора, как ядерное оружие. Не только великое государство, но любое государство, у которого есть достаточное количество природных ресурсов, должно быть готово и должно уметь защищать свою территорию и свой народ. Если отбросить красивую политическую аргументацию, то у нас на глазах американцы в Ираке защитили свои национальные интересы — нефть, которая скорее всего из оккупированного Ираком Кувейта не потекла бы в США. Численность населения на Земном шаре растет, у всех народов есть желание обеспечить себе высокий уровень жизни, но для этого нужны природные ресурсы, которые в своей большей части не возобновляются совсем или возобновляются медленно. Следовательно, пока живо человечество, каждый народ должен уметь себя защищать, если он не желает уйти в небытие. Ядерное оружие, как это ни странно на первый взгляд, является очень дешевым и эффективным оружием защиты своей территории и будет верхом легкомыслия от него отказываться односторонним образом.

А. Н. АНИСИМОВ,
кандидат экономических наук

Синдром политического иммунодефицита

Неверно, что чуть ли не с начала века Россия — СССР страдала от избытка вооруженности. Она страдала как раз от недостатка способности защитить себя, следствием чего были нападения на нашу страну в 1904 г. Японии (при пособничестве Англии и США), в 1914 г. Германии, в 1941 г. опять-таки Германии. За исключением очень небольших промежутков времени Советское руководство вело откровенно пассивную политику и не представляло ни для кого угрозы. Соседи же, опять-таки за исключением незначительных промежутков времени, вели в отношении России — СССР активную политику, стремясь к расчленению нашего государства. Неверно, что нам ничего не угрожает. Парадоксально слышать это сегодня, когда открыто действуют мощные силы, стремясь развалить государство, когда те же США открыто вмешиваются в наши внутренние дела (и даже Исландия!), поддерживают центробежные силы и проводят курс на уничтожение СССР как более или менее единого и сильного государственного образования.

Дело дошло до того, что это вызывает беспокойство в Китае, где в связи с этим выдвигается идея заселения Советского Дальнего Востока 80 миллионами китайцев («Экономика и жизнь», 1990 г., № 37).

А мы считаем, что нам никто и ничто не угрожает.

Реальное положение таково, что наш народ, облученный враждебной ему пропагандой, страдает синдромом политического иммунодефицита, и очень может быть, что СССР все же исчезнет с лица Планеты, а за ним и Россия.

Когда я наблюдаю за многолетними переговорами по разоружению, единственное реальное следствие которых — сначала ослабление СССР, а затем в условиях потери СССР всех союзников огромный рост военно-стратегического перевеса США над СССР, — то не могу отделаться от ощущения, что это с самого начала были переговоры о том, как бы незаметно ликвидировать СССР в качестве конкурирующего с США военно-стратегического фактора, а вовсе не о разоружении в глобальных масштабах.

В самом деле, можно ли интерпретировать эти переговоры как переговоры о глобальном разоружении, когда в них не участвует Китай? Хотелось бы напомнить, что в этой стране проживает более чем миллиард человек. Именно поэтому ее потенциал, как это было ясно и 20 лет назад, намного выше, чем потенциал СССР или США. Между тем всякое крупномасштабное соглашение о разоружении определяет структуру мировых сил на времени упреждения в 30—40 лет. Уже поэтому, по крайней мере с момента смерти Мао Цзэдуна, Китай нужно было привлекать к переговорам о разоружении. Этого не делалось. И тем самым создавалась база для радикального нарушения равновесия мировых сил, в первую очередь за счет СССР и вопреки государственным интересам СССР и нашего народа.

Мы являемся свидетелями серии чудес. Одно чудо следует за другим. То хотят разоружить мир, не трогая китайских вооружений, то не замечают Договора о стратегической координации, заключенного между США и КНР в начале 80-х годов. Между тем, действуя в соответствии с духом и буквой этого договора и требованиями китайской стороны, гласно заявленными, США навязали СССР в ходе переговоров о сокращении ракет малой-средней дальности пункт об уничтожении соответствующих классов ракет не только на территории европейской, но и азиатской части СССР.

В результате уже сейчас советские стратегические силы — структурно неполноценны сравнительно с китайскими.

В обосновании линии на игнорирование Китая как великой военной державы утверждается, что Китай слаб. Это неверно. Единственным основанием для подобной точки зрения являются: 1) распространение рядом западных изданий явно дезинформационных оценок китайского валового национального продукта (равного якобы нескольким стам миллиардам долларов, примерно в 10 раз меньшего американского); 2) невозможность зафиксировать средствами воздушно-космического наблюдения сколько-нибудь значительную часть китайских стратегических ракет («философию» «не сфотографировано — значит не существует» высмеивал еще бывший Главком НАТО А. Хейг).

Сначала посмотрим, как обстоит дело с китайским ВНП. Картина здесь прояснилась лишь после того, как за дело взялась ООН. Так вот, согласно подсчетам, осуществленным в ходе реализации (под эгидой ООН) Проекта международных сопоставлений, выяснилось, что соотношение валового внутреннего продукта (ВВП) в млрд. «международных долларов» в ценах 1987 г. «великих мира» сего таково:*

	1970	1980	1987
США	1940	2597	3196
СССР	1086	1494	1832
КНР	853	1647	3102

В 1987 г. КНР уже почти догнала США по размерам ВВП, а сейчас она на первом месте!

Разговоры о слабости КНР напоминают охи и ахи некой тетушки в одной из повестей Лескова на тему о том, что ее племянничек «мал и слаб», тогда как всему городу было известно, что он может убить ударом кулака быка.

Но могут сказать (у нас все возможно!), что Китай в отличие от СССР не желает тратить деньги на вооружение, а желает он, чтобы международный мир «охранял» его дорогой союзничек США. И это неверно. Это в Москве могут не помнить, а в Пекине прекрасно помнят, что только из-за американской позиции Тайвань до сих пор не воссоединен с Китаем и что придвинутая к берегам Китая система американских баз в Японии, Корее, на Филиппинах — прямая угроза КНР. Договорец о стратегической координации лишь подсластил пилюлю — нежелание США уходить со своих баз в Восточной Азии.

Реальное положение таково, что в Пекине к вопросу поддержания обороноспособности страны на должном уровне относятся серьезно.

В 1978 г., по прямым китайским данным, в военной промышленности КНР имелось 270 тыс. металлорежущих станков (Структура экономики Китая. Перев. с кит. М., «Прогресс», 1983, с. 245). Немного? Однако это в полтора раза больше, чем в США.

---

* Экономическое положение капиталистических и развивающихся стран. Обзор за 1988 г. и начало 1989 г. М., «Правда», 1989. с. 158.

И при этом коэффициент сменности в машиностроении КНР в 2 раза выше, чем в США, а загрузка военного машиностроения производством продукции гражданского назначения в 1978 г. была незначительной, тогда как в США на ее долю приходилось около половины общего выпуска продукции этой отрасли.

Могут сказать: «Зато после 70-х годов в условиях реформы Китай понизил военную нагрузку экономики». И это неверно. С 1979 г. началась ударная кампания «модернизации НОАК». Она подробно освещалась китайской прессой, в том числе и предназначенной для зарубежного читателя. За 5—6 лет НОАК была полностью перевооружена. В разгар кампании модернизации в НИИ и КБ военной промышленности было занято в 2 раза больше ученых и инженеров, чем во всей гражданской промышленности («Жэньминь жибао», 26.08.1983).

Могут сказать — это дело прошлое. Зато теперь Китай усвоил идеи «нового мышления».

Правильно, однако, сказать, что он испугался идей «нового мышления», которые в КНР интерпретируют как готовность СССР стать младшим партнером США, проще сказать — плясать под американскую дудку.

Поэтому не позднее 1987 г., когда обозначилась тенденция СССР идти по пути неограниченных уступок США, в КНР составили грандиозную программу наращивания военной мощи. Причем если до 1988 г. в КНР публиковались исключительно данные о так называемых прямых госбюджетных военных расходах, то тут опубликовали данные о полных военных расходах... на 2000 г. По данным, приведенным в изданном в 1988 г. «Китайским экономическим издательством» труде «Основы теории изучения экономики военного дела в Китае» (Чжунго цзюньши цзицзи сюэ гайлун) в 2000 г. Китай будет тратить на военные цели 715—895 млрд. юаней (с. 89).

Если пересчитать по реальной покупательной силе, то это больше 1000 млрд. долл. То есть в три с лишним раза больше, чем расходуют на военные цели США. ВВП Китая в 2000 г. будет едвое больше нынешнего американского, так что почему бы Китаю не расходовать в 2000 г. на военные нужды в три раза больше, чем сегодня расходуют США? Тем более что у США появился новый друг — СССР.

Кстати, Китай называют Китаем за пределами этой страны, создавая иллюзию, что это — всего лишь производитель чая. Сами китайцы свою страну именуют (и так во всех официальных названиях) не Китай, а «Срединное государство» (Чжунго). Ну а «Срединному государству» по чину, так сказать, положены соответствующие военные расходы.

Опять-таки могут сказать, что все-таки на ракеты и ядерное оружие Китай тратиться не желает. Ведь сверху, мол, ничего не видно.

Здесь, однако, уместно напомнить, что из 200 с лишним иракских установок для запуска ракет класса «земля—земля» средства воздушно-космической разведки США к началу войны в Заливе установили наличие только 35. Умудрились не заметить даже несколько десятков подземных аэродромов. Можно себе представить, что они в состоянии увидеть в Китае.

Между тем еще в середине 80-х годов в руководящих кругах КНР, видимо, возникло известное беспокойство в связи с тенденцией огромной недооценки китайских ракетно-ядерных возможностей «международным сообществом». В результате в конце июля 1986 г. появились разъяснения (сначала в популярном еженедельнике «Ляован», затем в изданиях агентства Синьхуа), что позиции стратегических ракет и даже (в ряде случаев) аэродромы маскируются в КНР так надежно, что их нельзя обнаружить средствами «разведки, осуществляемой с помощью видимого света, инфракрасной и радарной аппаратуры»*. Разумеется, принимаются меры и к маскировке испытательных ядерных взрывов, благо возможности здесь богатые.

Еще в начале периода модернизации НОАК, в 1981 г. в КНР были введены в строй мощности, обеспечивающие производство 675 тонн бериллия в год (бюллетень агентства Синьхуа на англ. яз. от 6.9.1981). Это примерно в 2 раза больше, чем потребляется бериллия в США, на которые приходится около 90% мирового потребления бериллия за вычетом КНР и СССР. В США 70% бериллия потребляется авиаракетной промышленностью, 20% — ядерной промышленностью («Металл уик», 1971, 8, 13—14). Вывод: объем производства в промышленности ядерных боеприпасов в КНР в 80-е годы шел в два раза выше американского.

Одна из основных причин катастрофы в виде 2-й мировой войны — это то, что в роковые 30-е годы руководящие круги Англии и Франции оказались парализованными сторонниками разоружения любой ценой и не могли даже при наличии желания должным образом реагировать на гитлеровские вооружения. Например, как известно всякому читавшему изданные у нас мемуары известного английского политического деятеля Л. Эмери, Германия уже обогнала Англию в области авиации, а руководящие английские круги упорно отрицали наличие у Германии крупной авиации. Их не смутило сделанное в конце концов Гитлером признание: да, обогнали Англию. Мол, фюрер блефует. А он конечно, не блефовал. К сожалению, ввиду наличия подобных прецедентов приходится серьезно брать в расчет то, что, руководствуясь конъюнктурными соображениями (это совершенно очевидно), сторонники разоружения могут у нас подвести всех нас «под монастырь». Если уже не подвели. Могут разоружаться и при явной нелепости разоружения.

Положение осложняется еще и тем, что в нашей стране общегосударственный патриотизм чрезвычайно слаб. Особенно в руководящих сферах. Русский же патриотизм — почти что вне закона. В то же время — пруд пруди американских даже не

* Инф. бюлл. агентства Синьхуа (на русс. яз.). 29.7.1986.

патриотов, а обожателей, которые, чтобы сделать США приятное, могут заключить любые соглашения.

Это — ситуация, не имеющая, пожалуй, прецедента в мировой истории. Она не благоприятствует реализму в вопросах обороны государства и соглашений о разоружении.

Последние практически все для нас были невыгодны. Наши союзники по ОВД видели, что мы, собственно, не хотим себя защищать, и потому ОВД распалась.

Даже если не касаться договора РСД—РМД, явно подорвавшего советский международный кредит, резонно спросить, что выиграли мы и что выиграл мир от соглашений, блокировавших развитие ПРО, в наземном, не дестабилизирующем варианте, но зато позволивших без конца наращивать американцам потенциал первого удара, создавать силы, по своей структуре рассчитанные исключительно на ведение войны способом нанесения первого удара?

Правильным было бы разрешить наращивание систем ПРО в наземном варианте и блокировать развитие способности первого удара. В частности, в договорном порядке убрать с орбиты все системы спутникового шпионажа, предназначенные как раз для обеспечения способности первоударной ядерной войны.

Вопрос так даже не ставился. А зря.

Теперь о военной нагрузке экономики. Если брать зарубежные и внутренние публикации (вооруженные силы «переживают трудный час»), то ясно, что военные расходы после 1985 г. в реальном исчислении в огромной степени упали. Ну и как — сколько от этого дополнительных товаров появилось в магазинах? Наоборот, они исчезли.

Если довести военные расходы до нуля, то в наших условиях положение, видимо, лишь ухудшится.

Механизм этого явления прост — высвободившиеся ресурсы дефицитного сырья по бросовым ценам гонят на Запад. Рабочая же сила либо простаивает, либо увольняется. В машиностроении после 1985 г. уволен чуть ли не миллион человек («Народное хозяйство СССР в 1989 г.»).

Если у нас сократят военные расходы до нуля, то соответственно увеличат внешнеторговые поставки титана, легированных металлов и т. п. и уволят 2—3 миллиона рабочих, и все. Такова «конверсия» по-советски.

Военная промышленность требует высокого профессионализма в руководстве. И такой профессионализм там до недавнего времени обеспечивался. Гражданская же экономика была отдана на откуп малограмотным политиканам (по крайней мере, с момента отставки Косыгина) и разлагалась. Естественно, что у этих политиканов военно-промышленный комплекс (ВПК) — бельмо на глазу. Вот потому-то ВПК и хотят ликвидировать. Такова правда о корнях нашей социологической заинтересованности в ликвидации «бремени вооружения».

Критики ВПК помалкивают, что он поглощает лишь очень небольшую часть первичных ресурсов. В США — 4—7%. Сопоставимый процент и у нас. Затраты на экономическое строительство и у нас и в США идут на уровне в 3—5 раз больше затрат на военные нужды.

Вплоть до последнего момента экономика СССР была перегружена не военными расходами, а инвестициями. Об этом молчат.

Возьмем, скажем, производство машин и оборудования. Оно у нас по весу — более 50 млн. т также и за вычетом военной техники (небольшая часть). Китайцам же, чтобы произвести больше, чем у нас, в 2—3 раза товаров длительного пользования, включая радиоприемники, телевизоры, магнитофоны и т. д., и всякого рода изделий бытового назначения, потребовалось в 1987 г. лишь 4 млн. т проката, около 200 тыс. станков и 1—1,2 млн. человек*. Между тем у нас в машиностроении и металлообработке занято свыше 15 млн. человек. Очевидно, мы шутя можем повторить китайскую программу производства товаров длительного пользования, раз и навсегда решив проблему их дефицита (кроме легковых автомобилей).

Еще около 1 млн. человек потребовалось бы, чтобы наладить производство 6—8 млн. легковых автомашин в год.

Таким образом, потребительское счастье близко.

А вместо этого мы имеем товарный кризис.

И причина этого явления не в том, что у нас велики военные расходы. А в том, что большая часть наших политических деятелей, включая почти всех парламентариев, «не в курсе», сколь грандиозны — в буквальном смысле слова — производственные возможности нашей экономики и как легко (за 1—2 года) перестроить ее на производство необходимой нам потребительской продукции, разумеется, за вычетом той, для которой необходимо сельскохозяйственное сырье. А не в курсе они в основном потому, что принятый характер освещения положения дел в экономике СССР, когда публикуется в десятки раз меньше информации, чем, например, в США, крайне затрудняет процесс разбирательства в наших проблемах.

Поэтому хотелось бы сделать такое предложение. Прежде чем разрушать ВПК, давайте откроем статистику, доведем объем и структуру статистических публикаций до американского уровня. Нельзя жить в информационных потемках, порождающих мифы, способные разрушить общество и государство, и в том числе миф о военной перегрузке нашей экономики.

И еще второе предложение. Пока еще СССР существует, почему бы Верховному Совету СССР не создать комиссию исключительно по оценке последствий уже заключенных соглашений о разоружении для международного веса СССР и его внутренней устойчивости.

* Данные «Китайского статистического ежегодника» (Чжунго тунцзи няньцзянь). Бэйцзин. 1988, с. 319, 389, 424, 433, 448.

И. И. ШАНИН,
кандидат технических наук

«Троянский конь» мирового правительства

Бог... в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями...
(Деяния, гл. 14. ст. 16).

„ЯДЕРНЫЙ щит и национальная идея» — тема нашего «круглого стола». Но чтобы правильно понять роль ядерного оружия в истории второй половины XX века, нельзя забывать, что атомная бомба была создана в США как оружие наднациональное, космополитическое учеными-эмигрантами для борьбы с крайними выражениями национальной идеи — немецким фашизмом и японским милитаризмом.

Победа антигитлеровской коалиции во второй мировой войне и появление атомного оружия создали уникальные условия для реализации американской идеи мирового господства.

Эта идея существует в Америке, по крайней мере, с середины XIX века. Для доказательства можно было бы обратиться к фон Эггерту или Нилусу. Но я думаю, что для современного читателя более авторитетным источником будет книга признанного «архитектора» перестройки и нового политического мышления А. Н. Яковлева «От Трумэна до Рейгана. Доктрины и реальности ядерного века». (Издательство «Молодая гвардия», 1985). Александр Николаевич на стр. 276 приводит выдержку из газеты Нового Орлеана за 1850 год: «Орел республики будет гордо возвышаться над полем Ватерлоо, после того, как он пролетит над ущельями Гималайских гор или Урала и наследник Вашингтона взойдет на трон мировой империи», и далее вполне обоснованно утверждает, что «как в прошлом, так и сейчас (1985 год!) интервенционистская политика правящих сил США диктовалась интересами большого бизнеса, получившими название «национальных интересов».

Жажда наживы толкала монополистическую буржуазию к захватам, войнам, подрывным акциям, военным переворотам, насаждению хунт, подкупу партий и целых правительств».

В 1945 г. Германия и Япония были разгромлены. Европа лежала в руинах. С созданием ООН и Совета Безопасности ООН идея мирового правительства начала материализовываться.

Но решающая роль СССР в победе над Германией и Японией дала мощные предпосылки для национального возрождения России, обеспечения ее экономической и политической независимости, росте влияния СССР в мире.

СССР превращался в основное препятствие для США в достижении мирового господства. Атомное и биологическое оружие рассматриваются США как основной инструмент «для эффективного обуздания Советского Союза» (А. Н. Яковлев «От Трумэна до Рейгана», стр. 306).

В этой же книге А. Н. Яковлева мы можем познакомиться с выдержками из меморандума Совета национальной безопасности № 7 (март 1948 г.) и из директивы СНБ 20/1 от 18 августа 1948 г. Меморандум формулировал цели американской внешней и военной политики следующим образом: «...резгром сил мирового коммунизма, руководимого Советами, имеет жизненно важное значение для безопасности Соединенных Штатов. Этой цели невозможно достичь с помощью оборонительной политики. Поэтому США должны взять на себя руководящую роль в организации всемирного контрнаступления» (А. Н. Яковлев, стр. 307).

А вот что говорится в директиве СНБ 20/1 «Цели США в отношении России»:

«Правительство вынуждено... наметить определенные военные цели в отношении России уже теперь, в мирное время...»;

«Наши основные цели в России:

а) свести мощь и влияние Москвы до пределов, в которых она не будет более представлять угрозу миру и стабильности международных отношений;

б) в корне изменить теорию и практику международных отношений, которых придерживается правительство, стоящее у власти в России»;

«Речь идет прежде всего о том, чтобы Советский Союз был слабым в политическом, военном и психологическом отношениях по сравнению с внешними силами, находящимися вне пределов его контроля»;

«В худшем случае, то есть при сохранении Советской власти на всей или почти всей нынешней советской территории, мы должны потребовать:

а) выполнения чисто военных условий (сдача вооружения, эвакуация ключевых районов и т. д.) с тем, чтобы надолго обеспечить военную беспомощность*;

б) выполнения условий с целью обеспечить значительную экономическую зависимость от внешнего мира**... Все эти условия должны быть подчеркнуто тяжелыми и унизительными для коммунистического режима»;

«Мы должны принять меры безопасности, которые автоматически обеспечивали бы такое положение, что даже некоммунистический и дружественно настроенный по отношению к нам режим:

а) не имел бы сильного военного потенциала;

б) экономически в значительной степени зависел бы от внешнего мира».

---

* Как тут не вспомнить Парижский договор об обычных вооружениях в Европе, проекты Договора о 50-процентном сокращении СНВ + евакуацию войск СССР из Восточной Европы?!

** А это — Парижская хартия.

(А. Н. Яковлев, «От Трумэна до Рейгана», стр. 308, 309).

Не правда ли, дорогой читатель, «бодрит»? И особенно «бодрит», когда читаешь это в книге А. Н. Яковлева

Мы-то все сокрушаемся, что у нашего руководства нет программы Программа давно есть, она очень хорошо усвоена А. Н. Яковлевым (может быть, в Колумбийском университете?) и почти выполнена им и теми, кому он советует.

Обратим взгляд в прошлое.

Ценой колоссальных усилий всего народа СССР создает свою ядерную бомбу. В это время в США разрабатываются планы ядерного нападения на СССР. Так, по плану «Тройан», датой начала войны было установлено 1 января 1950 года. Предполагалось в течение 3 месяцев на СССР сбросить 300 атомных бомб и 20 тысяч тонн обычных бомб на объекты в 100 советских городах, для чего требовалось бы 6 тысяч самолето-вылетов (см.: Н. Н. Яковлев, «ЦРУ против СССР». Изд-во «Правда», 1983 г., стр. 52—53).

Однако детальная проработка этого плана и других («Чариотер», «Конгвилл», «Ганпаудер», «Дропшот») показывала: большую войну американцам у СССР не выиграть. Основная ударная сила, стратегическая авиация США, оказывалась из-за больших потерь без самолетов, баз, системы обслуживания и обеспечения, а советские армии выходили на берега Атлантического и Индийского океанов. «Аксиомой американского планирования войны против СССР была утрата в первые месяцы войны Европы, Ближнего и Дальнего Востока» (Н. Н. Яковлев, «ЦРУ против СССР», стр. 54).

После создания в СССР водородной бомбы (первое термоядерное устройство в СССР взорвано в августе 1953 г., а первая термоядерная бомба, сброшенная с самолета, — 23 ноября 1955 г.) и создания межконтинентальных баллистических ракет (запуск первого искусственного спутника Земли — 4 октября 1957 г.) возможность чисто военной победы над СССР была окончательно потеряна. Ставка делается на подрыв СССР изнутри — прежде всего через размытие и разрушение государственной идеологии. Кстати, цели и методы деидеологизации советского общества были уже достаточно ясно сформулированы в директиве СНБ-68, представленной президенту Трумэну 7 апреля 1950 года. В ней, в частности, говорилось: «Нам нужно вести открытую психологическую войну с целью вызвать массовое предательство в отношении Советов... Сеять семена разрушения внутри советской системы, с тем чтобы заставить Кремль... изменить его политику... Усилить позитивные и своевременные меры и операции тайными средствами в области экономической, политической и психологической войны с целью вызвать и поддержать волнения и восстания в стратегически важных странах-сателлитах... Мы должны руководить строительством... политической и экономической системы свободного мира... Но помимо утверждения наших ценностей, наша политика и действия должны быть таковы, чтобы вызвать коренные изменения в характере советской системы... Совершенно очевидно, это обойдется дешевле, но более эффективно, если эти изменения явятся в максимальной степени результатом действия внутренних сил советского общества» (Н. Н. Яковлев, «ЦРУ против СССР», стр. 64—65)

Пытаясь сдержать рост советского влияния, США раздувают страх перед ядерной войной. Удивительна выборочность пропаганды. Все знают о трагедии Хиросимы и Нагасаки, но многие ли знают о трагедии Токио, в котором в ночь с 9 на 10 марта 1945 г. после ковровой американской бомбардировки за 6 часов погибло 100 000 человек, миллион человек было ранено, из них 41 000 — серьезно, без крова остался миллион человек? И этот акт геноцида Ричард Роудс, автор книги «История создания ядерного оружия», откуда взяты сведения, рассматривает как справедливое возмездие! Какой же морально надо обладать, чтобы потом на страницах той же книги рассуждать о необходимости создания наднационального мирового правительства?! И какие «справедливые» наказания ждут народы земли за непослушание?

Пропаганда внушает мысль, что война между СССР и США может быть только всеобщей, ядерной. Появляется доктрина массированного ядерного возмездия (директива СНБ-162/2, директива НАТО НС 14/2, 1956 г.). Хотя локальные конфликты (Корея, Ближний Восток, Куба, Вьетнам) показывают, что в реальной ситуации политики предпочитали сдержанность...

Нагнетание ядерной истерии, сопровождающееся гонкой вооружений, начинает приносить свои плоды. После снятия «железного занавеса» в СССР формируется космополитизированная научно-политическая элита, получающая реальные личные выгоды от сотрудничества с Западом. Она начинает воздействовать на советских граждан своего рода бинарным идеологическим оружием.

С одной стороны внушается ужас от последствий конфронтации с Западом (пример — уже цитировавшиеся книги А. Н. Яковлева и Н. Н. Яковлева), с другой стороны рассказывается о преимуществах Запада и Японии (Цветов, Осипов, Овчинников и т. д.).

Постепенно формируется общественное мнение, что ядерное оружие требует строгого международного контроля, зреет идея конвергенции на условиях Запада, оправдываемая постоянно нагнетаемым страхом перед всеобщей ядерной войной. Начинают заключаться договоры в области ядерных вооружений. Сейчас со всей определенностью можно сказать, что только один договор 1963 г. о запрещении ядерных испытаний в трех средах имел положительное практическое значение. Он предотвращал радиоактивное загрязнение окружающей среды. Остальные создавали американцам условия для военного, технического и экономического контроля над СССР и переводили гонку вооружений в опасное русло разработки средств первого обезоруживающего удара. Так, если в

1970 г., до подписания договора ОСВ-1 и договора об ограничении ПРО, у США было 4000 стратегических ядерных боеголовок, а у СССР — 1800, то в 1975 г. у США стало 8500 таких боеголовок, а у СССР — 2800. И это через 3 года после заключения договора по ПРО, который до сих пор преподносится нашей пропагендой как величайшее достижение в области ограничения стратегических ядерных вооружений! Необходимость ограничения систем ПРО обосновывалась тогда и до сих пор обосновывается тем, что развертывание ПРО вызовет резкий рост наступательных вооружений. Ну что же, по всей видимости, мы до сих пор не усвоили сказку про голого короля, если рост ядерных боеголовок за три года более чем в два раза позволяем выдавать за ограничение вооружений. А ведь для уничтожения такого государства, как США, требуется около 100 ядерных взрывов мощностью по одной мегатонне каждый. Об этом писал Г. Киссинджер в уже упоминаемой книге «Ядерное оружие и внешняя политика», выпущенной еще в 1957 году!

Еще один пример — договор 1974 г. об ограничении мощности подземных ядерных взрывов величиной в 150 килотонн. Его «строгое выполнение» привело к тому, что в США к 80-м годам были созданы такие крайне опасные высокоточные средства первого удара, как «Трайдент-2», «МХ», крылатые ракеты.

Один из главных мифов периода разрядки гласит: ядерную войну нельзя выиграть. Но история с ракетами средней дальности этот миф опровергла! Прочитайте еще раз выдержки из директивы СНБ-20/1, утвержденной в 1948 г., в которой сформулированы цели третьей мировой войны. И теперь оглянитесь вокруг — прочитайте газеты, посмотрите программу «Время». Выиграла Америка третью мировую войну, выиграла! А началось с размещения «Першингов-2» и крылатых ракет в Европе. Стала умело рекламироваться исключительность этого оружия, внушаться мысль, что «Першинги» и крылатые ракеты разворачиваются в ответ на развертывание советских ракет СС-20. Хотя для СССР как сухопутной державы ракеты средней дальности есть необходимый элемент оборонительного оружия. Возможную их сферу применения можно увидеть хотя бы на примере войны в Персидском заливе: это предотвращение концентрации крупных наступательных группировок, авианосных соединений и высадки десанта» (применение для аналогичных целей МБР может вызвать несоизмеримый ответ противника).

Для американцев же «Першинги» и крылатые ракеты, с военной точки зрения, не давали ничего нового. Все задачи, приписываемые этим системам, и сейчас с успехом могут быть выполнены крылатыми ракетами морского и воздушного базирования и БРПЛ «Трайдент-2».

Но сработало «рефлексивное управление». Сначала Советский Союз начал совершенно бессмысленное развертывание ракет меньшей дальности в странах Восточной Европы и отказался от «нулевого варианта» Рейгана, предусматривавшего ликвидацию РСД только в Европе. (На это еще можно было согласиться без ущерба для обороны.)

Таким образом, в странах Восточной Европы был спровоцирован рост антисоветских настроений.

Затем следует безоговорочное согласие на уничтожение ракет средней и меньшей дальности на территории всего СССР. Такие действия очень многих убеждают, что Советский Союз действительно перевооружен, если вот так просто можно уничтожить около полутора тысяч ракет (по договору предусматривалось уничтожить 1440 советских ракет средней дальности). Хотя если на вооружении есть полторы тысячи ракет, это вовсе не значит, что они все будут применены. Их количество определяется, помимо всего прочего, и возможностями управления, и выживаемостью по отношению к средствам нападения противника, и возможными вариантами конфликтов, и возможностью их применить в реальных условиях.

Каков же результат? Советские войска не только эвакуируются с большими материальными потерями из «ключевых пунктов» (см. СНБ-20/1), но уже и в Закавказье, и в Прибалтике, и в Молдавии объявляются оккупантами!

Военные объекты внутри России оказываются под постоянным контролем армии США (например, завод в г. Воткинске). А жизненно важные объекты СССР как находились под угрозой со стороны БРПЛ «Трайдент-2» и крылатых ракет, так и находятся. Причем способность поражать стратегические цели у «Трейдент-2» не меньше (если не больше), чем у «Першингов-2», подлетное время примерно такое же...

Не только причастность к «ядерной» пропаганде дает возможность эффективно влиять на внешнюю и внутреннюю политику. Эту возможность дает и причастность к ядерной физике. Велихов превращает в «проходной двор» советский ядерный полигон, а Гольданский заявляет, что может научить американцев делать ядерные бомбы без испытаний, забыв, правда, научить этому советских специалистов... В результате испытания дезорганизованы, и ратифицирован договор об ограничении и контроле за испытаниями, ставящий в невыгодное положение СССР, но практически не влияющий на американские ядерные программы...

Последней точкой во всей этой истории, по всей вероятности, должен стать Договор о 50-процентном сокращении стратегических наступательных вооружений.

СССР будет поставлен под жесткий контроль США. И если Кувейт — это охраняемая нефтяная скважина, то СССР превратится в охраняемую кладовую межнациональных монополий. Но на кувейтцев работают иностранные рабочие: палестинцы, египтяне, индусы и т. п., мы же в нашей «кладовой» будем работать сами и охранять ее тоже будем за счет собственных ресурсов теми силами, которые нам позволят иметь американцы.

Наиболее грустное во всей этой истории с ядерными вооружениями то, что как безопасность СССР, так и безопасность США могла бы быть обеспечена одной-двумя тысячами (а не 6000, как предусмотрено в проекте Договора) стратегических ядерных зарядов. Но для этого нужен принципиально другой подход как к формированию вооружений, так и взаимоотношениям между СССР и США.

Ричард Роудс свою «Историю создания ядерного оружия» заканчивает следующими словами:

«Основным межнациональным сообществом в нашей культуре является наука. Открытие в первой половине нашего века ядерной энергии показало, какой вызов бросает всеобщее процветание силе национального государства. Это процветание продолжается и влечет за собой определенный моральный риск, но, по крайней мере, обещает благополучие в отдаленном будущем...»

Прервем цитату и зададим вопрос: «а может ли быть процветание всеобщим, если процветание американцев, составляющих 5 процентов населения Земли, обеспечивается сорока процентами потребляемой в мире энергии и дает 70% мировых загрязнений окружающей среды?

«История никого и ничему не учит», — говоря это, имеют в виду обычно политиков или военных. К сожалению, мы видим, что история плохо учит и ученых. Поразительно! Все ученые-атомщики — Бор, Оппенгеймер, Бете, Тэллер — были свидетелями и участниками двух величайших катастроф мировой истории, связанных с попыткой установить всеобщий, наднациональный мировой порядок. Большевики хотели это сделать с помощью мировой революции, немцы и японцы — с помощью завоевания жизненного пространства. У одних залогом справедливости была принадлежность к классу, у других — к нации.

И вот еще не одержана победа над очередными переустроителями мира, а уже предлагается новый признак, дающий право властвовать над миром и определять что благо, а что нет, — принадлежность к профессиональной группе, к ученым.

Но гордыня не родная ли сестра алчности? Господь Бог создал многообразие жизни на Земле. И мы, выполняя его волю, должны смирить свою гордыню и отказаться от идеи установления единого порядка для всего мира.

Мы объявили ядерное оружие абсолютным злом. Но победить зло в нашем мире не в силах человека. Не следует ли из этого бесплодность и опасность попыток уничтожить ядерное оружие как зло? Ядерное оружие — воплощение грехов, накопленных человечеством за свою историю. Человечество, по всей видимости, должно нести этот крест, если хочет продлить свое существование и спасти себя. Сбросить крест — не значит ли это отказаться от спасения?

ЮРИЙ КАТАСОНОВ,
кандидат экономических наук

Разгром без сражений

Катастрофическое развитие обстановки в стране у нас принято связывать с негативными внутренними процессами. И далеко не все в полной мере представляют, насколько тесно эти процессы связаны с деятельностью внешних враждебных нашей стране сил. Разрушительные якобы «стихийные» и «объективно обусловленные» события, развертывающиеся в последние годы на нашей земле, длительное время целенаправленно готовились из-за рубежа. Сегодня они направляются и подталкиваются оттуда же. Это, конечно, относится и к области обороны и безопасности.

«ПЯТАЯ КОЛОННА»

Когда сегодня говорят о «пятой колонне», действующей в нашей стране, то имеют в виду необязательно тех, кто состоит на платной службе в ЦРУ. Разбираться в последнем — дело и обязанность компетентных органов. Для массы же наших соотечественников «пятая колонна» — это прежде всего те, известные всем, близкие к политическим верхам лица, которые явно, на виду всего народа, действуют в интересах иностранных государств и в ущерб своему Отечеству.

На взаимосвязь между разрушительными процессами в нашей стране и активностью внешних, враждебных ей сил, действующих через «пятую колонну», обращают внимание соотечественники — патриоты, принадлежащие к самым разным социальным и профессиональным группам, различной политической ориентации. Всех их прежде всего беспокоит эта связь в делах, связанных с подрывом нашей национальной безопасности.

КАТАСОНОВ Юрий Вячеславович. Родился в 1924 году в селе Новотырышкино Алтайского края. В 1950 году окончил Военный институт иностранных языков, а в 1969-м — адъюнктуру Военно-политической академии. Автор книг «США: военная политика и бюджет» (1985), «США: военное программирование» (1972) и других. Полковник в отставке. Живет в Москве.

Об этом, в частности, говорили российские писатели на своем VII съезде в декабре 1990 г.

«Возникшая внутри страны... «пятая колонна» Запада, — заявил Валерий Рогов, — уже многого достигла. Мы уже так далеко отступили от своих национальных и социальных идеалов, что положение, пожалуй, можно сравнить лишь с 41-м» *.

Дмитрий Жуков назвал поименно лидеров этой антинародной группы: «А. Яковлев, Ф. Бурлацкий, Г. Арбатов, Е. Примаков — имя им легион... По сути — это американские гауляйтеры». Писатель-волжанин А. Наумов с горечью воскликнул: «Каким же фарисейством надо обладать, чтобы выдавать победы Соединенных Штатов над нами за наши победы? Чьи это — «наши»? Хмуроватого космополита Яковлева, лучезарного министра Шеварднадзе, горе-академика Арбатова и иже с ними? Если это так, то похоже на правду, поскольку все эти «иже с ними» — это разрушители нашего Отечества, это те люди, которые стараются разоружить нас, разрушить нашу Армию».

А вот слова человека совсем другого склада и профессии — Н. С. Леонова, произнесенные на II съезде Движения «Союз» в апреле 1991 г.: «Я проработал более четверти века в разведке... Поверьте слову старого солдата, у нашей страны будет много врагов не только из числа доморощенных удельных князьков, но и зарубежных стратегов... Соединенным Штатам не нужна никакая великая держава на территории нынешнего Советского Союза — ни социалистическая по характеру, ни капиталистическая, ни демократическая, ни монархическая... Они любят препарировать слабых и ослабевших. Теперь наступила наша очередь».

Эта истина подтверждается фактами. Так, к расчленению нашей страны каждодневно призывают — и дают практические советы, как это делать, — и радиостанция «Свобода», и политологи-советологи типа бывшего помощника президента США по национальной безопасности З. Бжезинского, и официальные представители американской администрации и конгресса.

Госсекретарь Джеймс Бейкер во время посещения Москвы в апреле 1991 г. недвусмысленно дал понять нашим руководителям, что США признают СССР в границах 33-го года (когда были установлены дипломатические отношения с нами). Это, по существу, выдвижение Вашингтоном программы широкой ревизии советских границ, в том числе возникших в результате второй мировой войны, и расчленения СССР. В случае ее реализации были бы изменены границы с Финляндией, границы на западе Украины и Белоруссии, границы с Румынией, отданы половина Сахалина и Курильские острова.

На Западе уже идут разговоры и о том, что при распаде Советского Союза может возникнуть необходимость установить международный контроль над его ядерным оружием и ядерными объектами. А это значит, что нам угрожают прямой оккупацией нашей страны.

Как мы дошли до жизни такой? Как допустили хозяйничанье в стране «пятой колонны», ее открытое покушение на безопасность и само существование нашего Отечества? Многое пока остается неясным. Но немало и вполне очевидно. Как это ни парадоксально (а, может быть, закономерно?), но «командиры» этой колонны — выходцы главным образом из среды партийных функционеров и высших партийно-государственных советников с академическими и иными учеными званиями. Эта колонна начала формироваться уже давно — лет 25—30 назад. Долгие годы она подбиралась к узловым звеньям власти. С провозглашением же перестройки ее представители вышли на авансцену политической жизни, объявили себя «авангардом», «архитекторами», «прорабами» и «цепными псами» перестройки. Суть же их деятельности составляет развал страны ради ее разграбления и порабощения Западом.

Особенно пагубна роль «пятой колонны» в разработке концепций перестройки, которая, судя по ее ходу и результатам, оказалась, по существу, реализацией американской стратегии «сдерживания», изложенной в директиве СНБ-68. Прав д. э. н. проф. В. К. Долгов, который, выступая на Пленуме ЦК КП РСФСР, сказал: «Представляется неверным еще бытующее мнение, будто, приступив к перестройке, ее организаторы не имели концепции проводимых перемен. Последовательность событий показывает их четкую логику и завидную целеустремленность претендентов на «новое» мышление. Другое дело, что эта концепция, а то и четкий план не были, конечно, обнародованы. Естественно, что разработаны они были за спиной партии». Не говоря, конечно, о народе.

Однако элементы одной перестроечной концепции — «нового политического мышления», ставшей основой для «перестройки» внешней и военной политики, — хотя и в пропагандистском варианте, все же были опубликованы. Эта концепция вынесена и в название книги М. С. Горбачева «Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира», с восторгом встреченной на Западе. Уже из этой книги видно, что в «новом мышлении» заложены идейные и политические истоки разрушения нашей обороны и внешней безопасности.

Как и большинство наших «эпохальных» начинаний, программ и планов в прошлом, широко разрекламированное «новое политическое мышление» представлено, по существу, анонимно (не один же Горбачев его сочинял!). Но в нем без труда обнаруживаются следы «творчества» тех наших «тайных советников вождей», которые десятилетиями кормились интеллектуальными отходами западной, преимущественно американской, политологической кухни. Основная же ее продукция поставлялась солидным заказчикам — Пентагону, ЦРУ и могущественным «фондам» (типа Фонда наследия), финансируемым истинными хозяевами Америки.

Американские политологи, которым вся эта кухня и ее клиенты знакомы, конечно же, лучше, чем нам, среди тех, кто причастен к появлению, проталкиванию и практической реализации «нового мышления», называют все ту же обойму: А. Яковлева и Э. Шеварднадзе, Е. Примакова и Г. Арбатова, Ф. Бурлацкого и Г. Шахназарова, замов Арбатова по Институту США и Канады АН СССР В. Журкина (ныне уже директор Института Европы АН СССР) и А. Кокошина и других. Все они, занимая высокие посты в прошлом, на волне рекламирования, толкования и развития «нового мышления» еще больше продвинулись в иерархии политического руководства, заняли в ней посты высших советников, получили академические звания. За какие заслуги?

Горбачев, Шеварднадзе, а вслед за ними официозные пропагандисты и «демократическая» печать упорно именуют «новое мышление» «философией». Боги ты мой, какая же это философия?! Философия — это наука, научная теория, по крайней мере, нечто мудрое. А в «новом мышлении» наукой и мудростью и не пахнет. Для любого профессионала видно, что это — «глубокая философия на мелком месте», набор, по меньшей мере, сомнительных, примитивно аргументированных, а порой просто нелепых, не соответствующих действительности и научным представлениям утверждений. Это — наукообразное рагу, составленное из случайных (в научном смысле), логически слабо между собой связанных, а то и взаимно исключающих положений. Это не «философия» и не научная концепция и потому, что в таком качестве она нигде не публиковалась, не обсуждалась, не апробировалась каким-то иным способом. Будучи же провозглашенной руководителем страны, «философия» нового мышления сразу же была возведена в ранг официальной внешнеполитической доктрины. Причем доктрины, которая жестко ограждалась от какой-либо критики, ей только пелись дифирамбы. «Новое мышление» длительное время олицетворяло собой абсолютный монополизм в области внешнеполитической мысли и взглядов на проблемы безопасности страны. Все это подтверждается и зарубежными исследователями.

Так, американский политолог А. Линч — ведущий сотрудник Института изучения проблем безопасности Восток—Запад, скрупулезно исследовавший феномен появления «нового мышления» (кстати, на средства фонда Форда), точно отмечает, что это никакая не «философия», не наука, а чистейшая политика: «Новое политическое мышление — это прежде всего политический, а не интеллектуальный или концептуальный акт. Он отражает заранее установленные политические приоритеты горбачевского руководства — некоторые действительно новые, но многие — разработанные специалистами еще в брежневский период, которые соответствуют его ближайшим и долгосрочным целям». Иначе говоря, «новое мышление» — это типичное для нас «научное обоснование» уже принятых руководством целей и решений. Но сами эти цели и приоритеты тоже были вложены в головы руководителей «специалистами», которые их, в свою очередь, получили на вооружение из арсенала американской политологии и политики.

«Нынешний советский подход к внешнеполитическим проблемам, — говорит Линч по поводу «нового мышления», — может трактоваться, как подтверждение правильности западной политики «сдерживания» (той самой, что сформулирована в директиве СНБ-68. — Ю. К.), основанной на том, чтобы при достижении цели — поощрять советское руководство к более реалистическому приспособлению к международной обстановке — сочетать использование военной силы и политической гибкости». Линч отмечает, что в «новом мышлении» учтены подходы к такому «приспособлению», уже давно подсказываемые Соединенными Штатами. «Многие нынешние советские заявления, — напоминает он, — о «взаимной безопасности», «взаимозависимости», «глобальных проблемах», трудностях развития третьего мира — все это — отзвуки западных взглядов, превалировавших еще в начале 70-х годов».

Итак, круг замкнулся: «новое политическое мышление» — это, по существу, политическая декларация о капитуляции нашей страны на американских условиях, предъявленных нам еще 40 лет назад (с последующими уточнениями). Вот почему «новое мышление» с таким ликованием было принято на Западе — ведь о таком повороте в политике СССР там не могли и мечтать. В навязывании же руководству страны идеи о необходимости такой капитуляции, в формулировании «нового мышления» и его осуществлении ведущую роль и сыграла «пятая колонна».

---

* Трагический парадокс истории состоит в том, что сегодня цели Гитлера в отношении нашей страны намного ближе к достижению, чем в любой момент осуществления плана «Барбаросса». Вот что говорил фюрер незадолго до 22 июня 1941 года: «Наши задачи в отношении России — разгромить ее вооруженные силы, уничтожить государство... Учитывая размеры ее пространств..., всю территорию России нужно разделить на ряд государств, с собственными правительствами, готовыми заключить с нами мирные договоры... Мы должны создать свободные от коммунизма республики... Прибалтийские государства со своим самоуправлением отойдут к нам... Кавказ позже будет отдан Турции (при условии его использования нами)... В Великороссии необходимо применить жесточайший террор... Русский народ после ликвидации активистов расслоится...»

СТРАТЕГИЯ КАПИТУЛЯЦИИ

Для чего национальный позор и унижение преподносились стране в благопристойной упаковке новой внешнеполитической «философии»? По вполне понятной причине: чтобы обмануть собственный народ, который, если бы понял, куда его толкают, вряд бы с этим согласился. Поэтому-то цели одностороннего разоружения, разрушения Советской Армии и оборонного потенциала, военно-политической капитуляции перед США и НАТО, вытекавшие из «нового мышления», тщательно маскировались общими («философскими») рассуждениями о необходимости мира и опасности ядерной войны. Но эта доктрина преследовала и первоочередные конкретные политические цели. Некоторые из них точно подметил тот же Линч. «Самое главное, — заключает он, — «новое политическое мышление» представляет собой принятый советским руководством курс на пересмотр характера угроз, с которыми СССР, как считается, сталкивается — или с которыми он действительно сталкивается — в окружающем мире, и в ходе этого пересмотра монополизировать внутри страны обсуждение проблем будущего советского государства в военной, экономической и политической областях».

Правильная оценка характера внешних угроз, как известно, — ключевая, исходная проблема обеспечения национальной безопасности. Достаточно вспомнить о пагубных последствиях ошибочной оценки советским руководством действий и намерений гитлеровской Германии накануне нападения на нашу страну. А как же подошли к переоценке внешней угрозы Советскому Союзу авторы «нового мышления»? Они предлагали единым махом и, по существу, без каких-либо оснований перестать считать наших традиционных и явных недругов таковыми; игнорировать их усилия по достижению военного превосходства над нашей страной и по подготовке к ядерной и обычным войнам против нее; признать сами войны изжившим себя явлением, поскольку это-де очень нехорошая вещь. И все это провозглашалось как истина в последней инстанции, тиражировалось в средствах информации как нечто, не требующее доказательств.

Результаты «переоценки», преподнесенные в «новом мышлении» и тут же запущенные в политический оборот, послужили исходным пунктом для развертывания в стране кампании по «разрушению образа врага». Вчерашние противники, продолжающие считать нас противниками и сегодня, и действующие соответственно, запросто объявлялись друзьями, наши военные секреты выставлялись на обозрение всему миру, наше оружие и военное производство объявлялись лишними...

Одновременно, под оглушительный трезвон по поводу расцвета гласности и плюрализма мнений, жестко закручивались гайки монополизма, когда дело касалось обсуждения проблем внешней политики и разоружения, которое загонялось исключительно в русло «нового мышления». Любое же отклонение от этого русла квалифицировалось не иначе, как политическая ересь консервативного толка, происки врагов перестройки.

О сути и «аргументации» «нового мышления» дает представление такое, например, обоснование подхода к проблемам военной политики, содержащееся в книге М. С. Горбачева: «Основной, исходный принцип нового политического мышления прост: ядерная война не может быть средством достижения политических, экономических, идеологических, каких бы то ни было целей... Ядерная война — бессмысленна, иррациональна... Впрочем, развитие военной техники приобрело такой характер, что теперь и неядерная война по своим глобальным последствиям становится сопоставимой с ядерной войной. Поэтому и к этому «варианту» вооруженного столкновения крупных держав правомерно отнести оценки... войны ядерной». Это было сказано всего за три года до военного удара США и их союзников по Ираку. За эту войну проголосовала и наша страна, по-видимому, уже не считая ее «иррациональной». А в США обсуждался вопрос о возможности применения там и ядерного оружия — также по соображениям целесообразности... Уже эти ближайшие события и их последствия полностью перечеркнули «новое мышление» и основанную на нем внешнюю политику как утопические и крайне опасные для безопасности нашей страны.

А вот как обосновывается в «новом мышлении» необходимость полного отказа стран, прежде всего нашей, от оружия. «Бывшая для своего времени классической формула Клаузевица, что война есть продолжение политики, только другими средствами, — безнадежно устарела. Ей место в библиотеках... Безопасность не может быть ныне обеспечена военными средствами — ни применением оружия, ни устрашением, ни постоянным совершенствованием «меча» и «щита». Кажутся смешными и нелепыми (?!) новые попытки добиться военного превосходства. Теперь — через космос... Единственный путь к безопасности — это путь политических решений, путь разоружения».

Эти строки — не просто пропагандистские высказывания (как они воспринимались в момент их обнародования), а политическая установка, которая быстро стала реализовываться в одностороннем порядке (!). И это в то время как США продолжают прибегать к оружию и форсировать свои «смешные и нелепые» военные программы (среди них — СОИ).

Посредством провозглашения «нового мышления» была осуществлена и такая фундаментальная идеологическая и политическая диверсия против народов нашей страны, особенно русского, далеко выходящая по последствиям за рамки внешней и военной политики, как выдвижение идеи о деидеологизации международных отношений. Это не более чем фарисейство и умышленный обман, поскольку ошибкой и невежеством быть не может — слишком об элементарных вещах идет речь. Во-первых, уже давным-давно человечеству известно, что не может быть политики вне идеологии: вопрос может стоять лишь о замене одной идеологической основы политики другой. Во-вторых, в «новом мышлении» фактически и была осуществлена такая замена, когда прежняя официальная идеология — классовая по своему характеру — была заменена «общечеловеческой», в основе которой — признание приоритета (по выражению А. Н. Яковлева, — «безусловного приоритета») общечеловеческих ценностей. В-третьих, авторы «нового мышления» скрывали цель и суть такой замены, которая состояла в замене одной наднациональной идеологии (и соответственно — политики) — интернациональной, — другой, еще более наднациональной и космополитической. Если первая нанесла большой ущерб национальным интересам нашего государства и народов нашей страны, особенно русского, то признание приоритета общечеловеческих ценностей означает, по существу, полный отказ нашего государства от признания важности собственных национальных интересов в пользу удовлетворения интересов других государств и народов. Это особенно пагубно для безопасности нашей страны, поскольку все другие государства строят свою безопасность исключительно на основе критериев эффективной защиты национальных интересов и достижения национальных целей. Выдвигая на первый план общечеловеческие ценности и интересы, мы тем самым наносим ущерб нашим национальным интересам, и прежде всего главным из них и жизненно важным — интересам национальной безопасности.

Еще один аспект диверсии состоит в том, что в качестве императива для признания приоритета общечеловеческих ценностей признавалась угроза гибели человечества в результате глобальной ядерной войны. Горбачев так об этом и говорит: «Ядром нового мышления является признание приоритета общечеловеческих ценностей и еще точнее — выживания человечества». Итак, приоритет — выживание человечества. Эта цель как практическая проблема международного сотрудничества, а не политико-идеологический принцип, имеет безусловно важное значение. А во что превратилась формула о приоритете общечеловеческих ценностей в реальной политике нашей страны? Об угрозе ядерной войны сегодня уже почти не говорят, хотя она вряд ли уменьшилась, а, скорее, даже увеличилась в силу нарушения глобальной стратегической стабильности и ускоряющегося роста военного превосходства США над СССР.

В то же время принцип приоритета общечеловеческих ценностей нашел весьма широкое политическое применение совсем в других областях и по другим поводам, нежели там, где он был изначально провозглашен. Такой областью его применения стали прежде всего «права человека» в западной их трактовке. Тут снова проявилось крайнее фарисейство апологетов «нового мышления». Ведь «права человека», о которых они толкуют и которые стремятся насаждать, — это права на углубление социального неравенства — неправедное обогащение одних и обнищание подавляющего большинства народа, это право на безработицу, на разграбление национальных богатств, на хозяйничанье в стране чужеземных пришельцев, наконец, и на то, чтобы в угоду политическим авантюристам и их зарубежным «спонсорам» в мирное время (мирное ли оно?) лилась кровь и сотни тысяч людей изгонялись из своих домов, превращаясь в беженцев. Все это самым непосредственным образом ослабляет и подрывает и безопасность страны.

«Новое политическое мышление» оказало решающее влияние и непосредственно на «перестройку» Советских Вооруженных Сил и всей системы обороны страны — оно послужило основой для пересмотра советской военной доктрины. «Новое политическое мышление столь же категорично диктует характер военных доктрин», — говорится в книге Горбачева. Пересмотр военной доктрины стал одним из первых практических применений «нового мышления». Новая военная доктрина была официально объявлена в мае 1987 г., но фактически ее положения были провозглашены уже в феврале 1986 г. на XXVI съезде КПСС. Ее ключевыми элементами стали принципы «разумной достаточности» и «ненаступательной обороны». «Разумная достаточность» стала основанием для резкого одностороннего сокращения вооруженных сил, вооружений, военной промышленности и военно-научного потенциала. Такое сокращение зачастую было отнюдь не разумным, хотя бы потому, что осуществлялось непродуманно, без надлежащего обоснования, в большой спешке, в ряде случаев — явно ниже уровня, который можно считать достаточным. Что касается «ненаступательной обороны», то она стала основой для ломки организационных структур, системы вооружения и боевой подготовки Советской Армии — приспособления их — также в одностороннем порядке — исключительно или преимущественно к ведению оборонительных боевых действий и отказу от наступательных. В военном отношении это равносильно тому, что армия заведомо обрекалась на поражение.

А могло ли быть иное? Ведь новая военная доктрина разрабатывалась при активном — и, возможно, ведущем — участии тех, кого сегодня в нашей стране называют «пятой колонной». Более того, при прямом участии их американских друзей и единомышленников — руководящих деятелей (хотя и отставных) Пентагона, ЦРУ и госдепартамента! Уже в 1985 г., сразу же после прихода к руководству страной Горбачева,

по инициативе директора Института США и Канады АН СССР, советника всех советских руководителей, начиная с Брежнева, Г. Арбатова был создан совместный советско-американский проект по разработке проблем стабильности в отношениях двух стран. Его соруководителями стали Арбатов и бывший зам. директора ЦРУ А. Кокс, а участниками: с советской стороны — директор Института Европы АН СССР В. Журкин (бывший зам. Арбатова по ИСКАН), политолог, недавний главный редактор «Литературной газеты» Ф. Бурлацкий (бывший сослуживец Арбатова по аппарату ЦК КПСС), будущий секретарь ЦК КПСС В. М. Фалин (защитивший две диссертации у Арбатова), ряд сотрудников ИСКАН; с американской — быв. директор ЦРУ У. Колби, быв. зам. министра ВВС Т. Хупс, быв. зам госсекретаря Д. Болл, другие столь же колоритные фигуры. Этой компанией и была предложена концепция «разумной достаточности» (термин взят напрокат из лексикона американской политологии), которую руководству СССР и США рекомендовалось использовать в качестве основы для параллельного сокращения Вооруженных Сил двух стран. Фактически, однако, она была принята в качестве одного из главных элементов военной доктрины лишь нашей страной и стала использоваться совсем в других целях — для одностороннего сокращения вооруженных сил и других компонентов военного потенциала. США же принимать эту концепцию и проводить в соответствии с ней какие-либо сокращения даже не собирались.

Характерно, что в этот период в США стали раздаваться голоса с предложениями о том, что Арбатов заслуживает Нобелевской премии мира за то, что он стремился преуменьшить американскую военную угрозу для нашей страны, разрушал советскую военную доктрину, способствовал прекращению роста советских вооружений.

История с появлением советской военной доктрины 1987 года ставит и такой вопрос: а где были наши маршалы, генералы и адмиралы — руководители Вооруженных Сил, Генерального штаба и Министерства обороны? Ведь разработка новой военной доктрины не прошла мимо них. Разве они не знали, кто и что им подсовывает? Разве они не понимали и не понимают, что то, что было принято в качестве военной доктрины, — это руководство к разрушению Вооруженных Сил и обороны страны.

В конце 1990 г. Министерство обороны СССР опубликовало в специальном выпуске журнала «Военная мысль» проект документа «О военной доктрине СССР». В нем вновь повторяются и развиваются те же положения доктрины 1987 г., свидетельствующие о ее утопичности, оторванности от реальности, а потому — пагубности для дела обороны страны. Вот некоторые формулировки этого документа.

«Война как средство достижения политических целей в современных условиях себя полностью (?) изжила». Разве авторы проекта, готовя его, не читали газет, не включали телевизоров и радиоприемников? Из последних новостей они бы узнали, что именно в это время концентрировались американские войска на границах Ирака и готовилась война для достижения вполне определенных политических целей. За что в Совете Безопасности проголосовала и наша страна.

В проекте даются предельно парализующие армию установки типа: «С началом агрессии главным видом военных действий является оборона». Хочется сказать: товарищи из Министерства обороны! Приведите хоть один пример из прошлой войны, когда какое-то государство успешно противостояло бы гитлеровской агрессии, используя в качестве главного вида военных действий оборону. А сегодня? Ведь ваша установка означает, что любой агрессор может безнаказанно атаковать нас столько, сколько ему вздумается и потребуется для достижения цели, не опасаясь возмездия в виде нашего ответного удара.

«Нанесение первого упреждающего удара Советскими Вооруженными Силами полностью исключается». Даже если противник изготовится для явного нападения, как это сделали американо-союзнические войска у границ Ирака, мы должны терпеливо ждать, когда он нанесет удар? Что ж, если хотим получить такой же результат, как в Ираке, тогда конечно...

ЧТО ВПЕРЕДИ?

Коварная особенность нынешней войны, которая ведется против нашей армии и государства, состоит в том, что мы даже не осознали, что рубеж ее начала уже давно позади. Мы не заметили того дня, когда по армии стали наноситься удары, цель которых — разрушение и уничтожение. Сейчас уже ясно, что это было не 9 апреля 1989 г. — день трагических событий в Тбилиси, после которых мутный поток клеветы на армию стал неудержимым, — и даже не день, когда от пули бандита погиб первый солдат из тех, кто был брошен в пекло межнациональных конфликтов. Не был это и день подписания унизительно неравноправного для нас Договора о ракетах средней и меньшей дальности или день обескураживающего заявления руководителя нашей страны о жизненно важном для народа деле — полумиллионном одностороннем сокращении вооруженных сил, — с которым он обратился не к народу, а к «мировому сообществу». (Мы тогда по своей темноте и косности еще не усвоили смысл формулы о приоритете общечеловеческих ценностей и считали, что дело нашей обороны и безопасности касается прежде всего нас).

Теперь-то мы уже можем сказать, что зерна этой войны были посеяны намного раньше — когда в чьей-то голове родилась идея осуществить все то, что было затем публично преподнесено как «новое политическое мышление». А проросли эти зерна и расцвели пышным цветом, когда «новое мышление» стало превращаться в политику и действия: односторонние сокращения, неравноправные договора, шельмование армии, притеснения офицеров и их семей, надругательство над памятью Великой Отечественной войны, оскорбления ее ветеранов. Нам долго не был понятен смысл происходящего, особенно в сопоставлении со словами руководителей, которые звучали красиво и вдохновляюще. Это теперь мы знаем, что не могли распознать войну, потому что она была «ползучей», ее операции проводились вкрадчиво-постепенно, шаг за шагом (хотя весьма целеустремленно и последовательно). А главное — они окутывались густым, часто непроницаемым туманом лжи и лицемерия, дезинформации и дезориентации. Что это значит, хорошо объясняет французский специалист в области психологической войны П. Нор — автор книги с точным названием «Дезинформация — абсолютное оружие». Для того, чтобы ориентировать политику и действия противника в желательном для себя направлении, подчеркивает автор, надо «сделать его сначала слепым, а затем парализованным». А его американский коллега М. Чукас добавляет, что с помощью дезинформации и дезориентации человека «можно сделать беспомощным как грудного ребенка: он будет не в состоянии применить свои силы». Что и было успешно проделано как с нашей армией, так и со всем народом.

Но сейчас, обозревая наши поражения и подсчитывая утраты, выстраивая в ряд операции, проведенные против нашей армии, и проявляя их внутреннюю взаимосвязь, мы можем уже четко видеть и с уверенностью утверждать, что все они — составные части единой стратегии — той, которая десятилетиями разрабатывалась и осуществлялась из Вашингтона.

Сегодня там уже не считают нужным это скрывать, а, наоборот, с удовлетворением подчеркивают, что происходящее в нашей стране и странах Восточной Европы — это результат правильности, последовательности и целеустремленности политики, сформулированной еще 40 лет назад.

Особое значение для триумфа Америки имела война в зоне Персидского залива — как говорится, если бы она не случилась, ее пришлось бы придумать (а, может быть, так оно и произошло?). Победа американского оружия над иракской армией была воспринята в Вашингтоне, да и по всей Америке, как нечто гораздо большее — как олицетворение победы в длительном противоборстве с Советским Союзом. В этом региональном конфликте глобального значения наша страна — прежняя сверхдержава и постоянный соперник США — впервые, поступившись своими интересами и достоинством, отказавшись от своих международных принципов и покинув друзей, покорно следовала в фарватере американской политики, словно заурядное нефтяное княжество, правитель которого держит свои нефтедоллары в американских банках. Весь мир единодушно признает, что война против Ирака стала возможной потому, что политика СССР перестала быть самостоятельной и стала проамериканской. США же, убедившись в этом, стремятся всячески демонстрировать свою победу, в том числе и изменением своего отношения к СССР, все больше обращаясь с ним как с второразрядным, зависимым от них государством.

Наиболее значительное изменение в политике Америки в последнее время — выдвижение идеи создания «нового мирового порядка» — современной разновидности Pax Americana — как практической задачи ближайшего будущего. Суть этого «новшества» — замена мира, где на равных существовали и соперничали две сверхдержавы, миром, в котором будут диктовать одни США. «До сих пор мир, который мы знали, был разделенным миром, миром... конфликта и «холодной войны»,— провозгласил президент Буш. — Сейчас мы видим, как вырисовываются очертания нового мира... существует реальная перспектива создания нового мирового порядка. ...И мы это сделаем. Мы — американцы». А министр обороны Р. Чейни после войны в Персидском заливе заявил: «Из всех этих событий США выходят как единственная подлинная сверхдержава в мире». Западная печать высказывается по поводу американских замыслов еще более откровенно. Так, английская газета «Санди таймс» писала: «Соединенные Штаты теперь представляются мировой державой, не имеющей себе равных. Ее превосходство в политико-военной мощи над Советским Союзом бросается в глаза. Это единственная страна в мире, которая способна вести широкомасштабную высокотехнологическую войну... Больше нет двух сверхдержав. Есть одна гипердержава, а все остальные следуют далеко за ней».

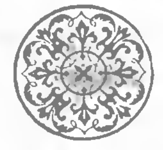
Что из этого следует? Может быть, нам, взамен на хорошее отношение США, придется всего лишь поступиться своими державными амбициями? Далеко не так. Нам просто собираются указывать, как жить при «новом мировом порядке». А если попробуем ослушаться, попытаемся делать по-своему, то в распоряжении Америки — весь арсенал испытанных средств и методов воздействия на непокорных — ее «большая» стратегия. В том числе и превосходящая военная сила. Если в районе Персидского залива была успешно проведена операция «Щит пустыни», быстро превратившаяся в еще более эффектную «Бурю пустыни», то ведь подобное может быть повторено и в другом месте под иным названием, в том числе и против СССР... Именно о такой возможности поведал американский журнал «Тайм» в марте 1991 г. в статье «Степной щит?». Под предлогом поддержания стабильности в Европе США заявляют о своем праве вмешательства во внутренние дела СССР, в том числе и военное. «В кори-

дорах Пентагона и ЦРУ, — говорится в статье, — этот вопрос ни в коем случае не отметается: можно предвидеть обстоятельства, в которых этой дилеммой придется заниматься». О чем идет речь, без труда можем предвидеть и мы — о развитии нашей страны по пути, не совпадающем с американскими интересами и желаниями. И прежде всего с возможности ее возрождения как Русского многонационального государства, каким оно было более тысячи лет. Поэтому делается все возможное, чтобы этого не произошло.

Единственный наш институт, где еще сильны исторические и национальные традиции русской государственности, — армия. В этом, может быть, главная причина того, почему нашу армию стремятся уничтожить. Но без армии любой власти не обойтись. Вот и навязывают взамен традиционной народной армии наемную, которая будет основываться не на долге служения Отечеству, а на чистогане. Это и немудрено: ведь и назначение ей готовится совершенно иное — быть под началом у американских генералов и служить интересам космополитического капитала. «Пятая колонна» вовсю старается: то «наследный принц» — сын академика Арбатова (доктор наук чуть ли не с детсадовского возраста, состоит в Институте мировой экономики и международных отношений АН СССР, где он быстро рос под ласковой опекой его директоров А. Яковлева и Е. Примакова) призывает в «Московских новостях» послать наши войска на подмогу американцам защищать принципы «нового политического мышления» в нефтеносной Аравийской пустыне, то уже арбатовский Институт США и Канады дает официальные рекомендации Верховному Совету СССР послать наших ребят воевать против Саддама Хусейна. И вот уже один из ближайших соратников Яковлева и Примакова по ИМЭМО (да и сейчас с ними активно сотрудничает) выступает с совсем свежим предложением: с осуществлением идей «нового мышления» о всеобщем мире, оказывается, придется повременить, а надо вплотную заняться подготовкой наших вооруженных сил к прямому военному сотрудничеству с Западом. В первую очередь следует создавать мобильные силы по образцу американских «сил быстрого реагирования», которые могут очень потребоваться для тех же нужд, что и в районе Персидского залива. Так что все идет вполне логично и по плану: политика «сдерживания» породила «новое политическое мышление», из «нового мышления» проклюнулись реальности «нового мирового порядка». Одним словом, как в Вашингтоне и предопределяли более 40 лет назад, самая дешевая стратегия оказывается и самой эффективной.

Чтобы довести дело до конца, все удовольствие обойдется для Америки вместе с союзниками в каких-то не то 100, не то 250 млрд. долларов — в такую сумму оценивают там «план Маршалла для СССР». Даже с учетом расходов на премии, почетные звания, 100-тысячные и миллионные гонорары нашим радетелям «нового политического мышления», а также на содержание в Америке и Европе их детей и внуков, это — мизерная сумма — менее одного годового бюджета Пентагона. А приз — Великая Россия, гибель Государства Российского. И они постараются не упустить момента, пойдут на расходы. Ведь если не сейчас, то, кто знает, во сколько это обойдется им позже, а главное — получится ли у них вообще.

Но мы должны помнить и то, о чем предупреждал первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей Митрополит Виталий в письме молодым людям России: «Будут брошены все силы, миллиарды золота, лишь бы погасить пламя Русского Возрождения. Вот перед чем стоит сейчас Россия. Это почище Наполеона и Гитлера». Что ж, и это мы начинаем понимать. А это — уже немало.



СЕРГЕЙ КНЯЗЕВ

ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ — ВОПРОС ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Средства массовой информации стараются приглушить дебаты, которые ведутся депутатами РСФСР по важнейшему вопросу жизни народа — собственности на землю. Историки, которые будут изучать эти дни, поразятся ловкости политиков, упрятавших такой вопрос в суете мелочей. А доверчивость и апатия населения будут совсем непонятны. Все спишут на загадочность русской души.

Для меня еще большей загадкой является тот факт, что ни депутаты, ни зрители не обращают внимания на почти очевидный факт: выступления сторонников приватизации земли строятся на системе обмана. Я не буду говорить о самой их идее — важно изменить сам тип дебатов. Тот тип, который сложился в парламенте, может привести к «продавливанию» того или иного решения, но даже правильное решение будет при этом принято в худшем варианте с возникновением «механизма торможения».

Пропаганда приватизации земли использует пять линий обмана.

1. Проблема представляется как чисто экономическая.

Это — хорошо известный в логике тип обмана путем подмены обсуждаемой проблемы. Вместо комплексной, целостной проблемы подсовывается ее часть. Но дело в том, что эта часть без целого не существует, и «остаток» целого просто выводится из обсуждения, становится невидимой частью айсберга. Если такой обман удается в решение внедряется в практику, невидимая часть вылезает наружу и приводит к совершенно неожиданным эффектам. В деле с землей среди таких эффектов будет и кровопролитие.

Совершенно очевидно, что приватизация земли — проблема целостная. Появление землевладельцев, рантье, батраков и сезонных рабочих меняет социальный порядок и политический спектр общества. И это скрывать от обсуждения недопустимо. Речь на съезде идет об аграрной политике, а не экономике. И надо прямо объяснить, почему стало возможным и желательным отказаться от той политики, которую в момент революции выдвинули сами крестьяне. Думаю, найдутся серьезные аргументы, но их надо назвать. Сведение всей проблемы к заклинанию «надо накормить народ» вызывает лишь смешанное чувство жалости к парламенту.

Приватизация земли — вопрос прежде всего политический. Но еще глубже и еще важнее другой слой проблемы — культурный. Его часто по ошибке называли идеологическим. Речь же идет о мировоззрении. Земля — это не только средство производства товарной продукции. В каждой культуре она по-своему определяет принадлежность человека к миру и к своему народу. В русском языке слово «земля» ассоциируется со словом «мать». И это — вовсе не сантименты. Земля — это тело, образующее с этносом единый организм. Для Льва Толстого была невыносима мысль о том, что кто-то, богатый или бедный, царь или крестьянин, может иметь землю в частном владении, — он приравнивал это к рабству. А ведь Толстой был выразителем философии крестьянства. Точно так же индейцы Южной Америки, считавшие землю общечеловеческим достоянием, не могли понять европейцев, которые начали расхватывать землю и называть ее своей собственностью. Дело в мировоззрении, присущем «дорыночным» цивилизациям. Таким общинным мировоззрением обладало и русское крестьянство, считавшее, что «земля — Божья». Ломка мировоззрения силой закона неизбежно ведет к страданиям и крови. Каковы сейчас мировоззренческие установки населения СССР в отношении

земли? Изжиты уже культурные устои аграрной цивилизации, реакционные с точки зрения наших «рыночников»? Тогда можно начинать приватизацию. Но ведь этот вопрос и не поднимался! А все попытки хоть мельком заикнуться на эту тему пресекались как «идеология».

Этот обман путем подмены проблемы говорит об очень опасной политической тенденции, которая сразу проявилась в нашем неопытном парламентаризме. Это — тенденция перескочить политический порядок демократического государства и сразу перейти к «государству принятия решений». Нынешние идеологи скрывают различие между этими двумя типами политического устройства, а оно огромно. Демократия — это представительство населения людьми из всех его слоев — людьми, обладающими обыденным сознанием и здравым смыслом. При этом типе сознания человек рассматривает проблему в целом, привлекая интуицию и чувство. Это — ленинская кухарка. В «государстве принятия решений» проблема рассматривается в комиссии профессиональных экспертов с научным типом мышления. Этот тип мышления основан на создании модели проблемы, очищенной ее от всего «второстепенного». Так, вместо проблемы приватизации земли рассматривается ее экономическая модель. Такое мышление рационально и отбрасывает всякие там чувства и «идеологию». Рационально принятое экспертами «оптимальное решение» докладывается депутатам другими профессионалами — экспертами по убеждению. Методология убеждения тоже научно разработана.

Технократическое «государство принятия решений» — страшная вещь, и постоянная борьба с ним стала основной из функций левых сил на Западе. И это — даже в стабильном состоянии. В условиях же кризиса такой политический порядок неизбежно ведет к гибельным последствиям.

2. Приватизация земли представляется как проблема, касающаяся исключительно крестьян.

Это — обман путем подмены социального субъекта противоречия. Ведь речь идет прежде всего не о наделении правом собственности крестьян, а сначала о лишении такого права коллективного собственника в 280 млн. человек. Метафоры типа «сейчас земля ничья» смехотворны. Можно говорить о том, что эти 280 миллионов были плохим хозяином, держали нерадивого управляющего — государство. Ну и что? Это еще не основание, чтобы взять и отнять эту собственность. Что бы ни говорили журналисты и экономисты, люди чувствовали себя каждый частичным хозяином земли. Потому-то и низкие цены на продукты питания принимались как должное. Я ел продукты с моей земли. И если ее у меня отбирают и, очевидно, взвинтят цены на картошку и молоко, то пусть мне выплатят стоимость моего пая. Разве это не логичное рассуждение? Почему же вся эта тема целиком отброшена в дебатах?

В нашей стране сведение приватизации земли к проблеме нынешних крестьян вообще неправомерно, потому что все мы вышли из крестьян. Мы горожане лишь во втором-третьем поколении, и связь даже нынешних пятидесятилетних с землей очень сильна. Да и многие молодые горожане будут вовлечены в земельные отношения. Сын — студент, а отец получает в деревне землю в частную собственность. И сын — уже наследник большой ценности, и по отношению к его приятелю по общежитию его социальное положение резко меняется. А вчера они были совладельцы одинакового состояния. И это — не нюансы. Приватизация национального достояния без компенсации является ограблением большей части нации.

У этого обмана есть и другой важный, хотя и скрытый аспект. Земля — это не только средство производства, это и жизненное пространство. Причем всего народа. Почему же это пространство передается в частную собственность лишь одной социальной группе нынешнего поколения? Как утверждает «Демократическая Россия», частная собственность без права купли-продажи это абракадабра. И это так. Более того, собственник будет продавать землю тому, кто больше заплатит. Это естественно, и никакие бюрократические препоны этого не устранят. И иностранцам можно будет продавать — не сейчас, так чуть позже. Теперь посмотрим, что делается в мире. Уже давно свободные капиталы (нефте- и наркодоллары) вкладываются прежде всего в покупку земли везде, где только можно. И не для того, чтобы возделывать пшеницу. Иногда огромные латифундии с плакатом «Частное владение. Въезд воспрещен!» зарастают кустарником и лишь иногда служат охотничьими угодьями. В других случаях их застраивают дешевыми коттеджами или бараками, куда вывозят социальные отходы цивилизованного общества — стариков и безработную молодежь (этими двумя категориями немцев заселена часть испанской земли). Особая отрасль теневой экономики — фирмы по нелегальному захоронению ядовитых отходов на своих расположенных в глубинке обширных участках. Да мало ли для чего пригодится земля!

В результате вывертов нашей трагической истории в данный момент даже в центре России почти не заселены крестьянами огромные территории. Представим, что эти земли приватизированы. Устоят ли новые землевладельцы перед посулами нефтяных шейхов или баронов наркомафии? Да они квартиру в городе и подержанный «мерседес» предложат просто ради знакомства, в придачу к пачке долларов. Ведь мы цены земле не знаем! И студент-наследник, стремясь в «общечеловеческую цивилизацию», будет дрожать от нетерпения.

Превращение земли в частную собственность отдельных людей, деформированным образом размещенных на нашей территории, неизбежно приведет к передаче очень больших пространств иностранным владельцам. И уже сейчас можно предложить разные вполне законные сценарии этого процесса.

3. Утверждается, что противники приватизации «не хотят отдать землю крестьянам».

Это — самый примитивный обман путем подмены тезиса противника. Ведь речь идет о том, что в нашей реальной обстановке право купли-продажи земли как неотъемлемый атрибут частной собственности приведет именно к изъятию земли у крестьянина и переползанию ее во владение к денежным тузам. Когда речь идет о купле-продаже, побеждает более толстый кошелек, и не может быть иначе. Ну ведь не нынешние колхозники и работники совхозов победят на явных или тайных аукционах. Пусть не сразу и не без коррупции работников каких угодно «земельных банков», но стянутся наделы к нашим подпольным (вчера) миллионерам. Отмоют они на нашей земле свои грязные деньги. Хорошо еще, если поставят на земле современные фермы (благо что предложений с Запада о компаньонстве много) и возьмут бывших колхозников в батраки. Но в целом поведение таких землевладельцев прогнозировать нелегко, такой социальный тип нам неизвестен, да и в мире еще плохо изучен.

Тот, кто перевирает сейчас тезис противников приватизации, сознательно замалчивает и экономическую основу требований крестьян о национализации земли в 1917 г. Казалось бы, почему бы крестьянам сразу тогда не потребовать землю в частную собственность? А потому, что знали они: перейдет при этом земля не в их руки. Что же изменилось сейчас? Да ничего. Опять крестьяне на рынке земли будут неконкурентоспособными. Потому и предлагают противники приватизации не делать землю объектом купли — продажи, а передавать ее желающим работать на ней людям в вечное пользование бесплатно. А если решил оставить земледелие — верни землю и получи компенсацию за капиталовложения в ее улучшение (или заплати штраф за ухудшение).

4. Обман путем апелляции к истории даже не имеет логического характера. Это простое искажение фактов. Говорится, что надо «вернуть долг крестьянам» и восстановить лозунг революции 1917 г. («Землю — крестьянам!»), который и побудил крестьян поддержать большевиков. И обещание выполнялось якобы несколько лет, до коллективизации.

В действительности лозунг «земля — крестьянам!» в 1917 году не означал «землю — в частную собственность!». Совершенно наоборот, он означал национализацию земли с передачей ее в бесплатное пользование крестьянам. Тот факт, что историкам сейчас не дают трибуны, чтобы разъяснить истину, — на совести у нынешних политиков.

И «несколько лет после революции» крестьяне земли в частной собственности не имели; утверждать так — значит заведомо обманывать депутатов. Крестьяне пользовались землей. И если бы не было коллективизации, никто бы сейчас и не заикнулся о приватизации. Поэтому, как ни неприятно это говорить, сталинская коллективизация и нынешняя приватизация — это просто два этапа единой программы денационализации земли российских народов. Для нынешних демократических «рыночников» Сталин лишь выполнил грязную, кровавую часть работы — отобрал у крестьян данную революцией землю. Подготовил ее к приватизации. Как говорят нынешние «свободные от догм» интеллигенты, «из каждого свинства можно вырезать кусок ветчины». А может быть, ради этой ветчины и задумывалось свинство?

5. Обман путем апелляции к «мировому опыту» также относится к элементарному искажению фактов. Что приватизация земли — верное средство «накормить народ» — сказочка. В Польше 80 процентов земли было у фермеров. Люди это были трудолюбивые, имели и технику, и удобрения. А продовольствие приходилось импортировать (о нынешнем состоянии с «кормлением» и говорить не будем). В ГДР же, хотя и меньше земли было на человека и вся она была в госхозах и кооперативах, имелись излишки продовольствия на экспорт. Значит, характер собственности на землю — лишь один из многих факторов, и далеко не решающий.

Говорилось на съезде о том, что частная собственность на землю за рубежом давно превратилась в разновидность коллективной (кооперативной или акционерной). Это — тоже миф. Частная собственность есть частная собственность. Кооперативы создаются в основном для переработки продукции. Если же в уме держать идею создания акционерных корпораций — землевладельцев (как, например, «Юнайтед Фрут»), то надо сказать об этом честно. Лозунг «земля — крестьянам!» здесь ни при чем, и надо обсуждать не лишенную смысла идею создания в СССР крупных капиталистических ферм с сельскохозяйственными рабочими. Надо же называть вещи своими именами.

Далее утверждалось, будто за рубежом найдены эффективные способы контролировать куплю-продажу земли, и скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем мафиози ухитрится купить надел. Такие утверждения проходят лишь потому, что те, кто жил за рубежом и знает реальность, в большинстве своем превратились в сторонников приватизации и помалкивают. А остальные вникнуть в зарубежную реальность возможности не имели. А она такова, что именно спекуляция землей — главный способ «полузаконного» обогащения. И имеется довольно широкий набор способов такой спекуляции, преодолевающих изощренные правовые барьеры. Чтобы такие барьеры создать, нам надо еще несколько

поколений юристов и инспекторов вырастить. А уж о коррупции бюрократов и говорить нечего. На Западе ее меньше, но там в неделю не проходит без политического скандала, и почти в каждом из них фигурирует участие в сомнительной купле-продаже земельных участков. Попробуйте экстраполировать этот зарубежный опыт на нашу действительность!

Дебаты в парламенте оставляют тяжелое чувство от той безответственности, с которой стараются протолкнуть закон, меняющий судьбу страны. Тем нежеланием вскрыть для обозрения народа все достоинства и недостатки всех альтернатив, которое проявляют спорщики. Отсутствием спокойных докладов, излагающих суть проблемы и альтернативы, которые можно понять и по которым можно сделать выбор. Мы видим митинг, где создается эмоциональная напряженность ради достижения сиюминутной политической цели.

«ВПЕРЕД, К КАПИТАЛИЗМУ»?..*

Мы стоим на распутье и, выбрав ту или иную дорогу, вряд ли сможем потом вернуться назад и сделать другую попытку. В этот момент выбора мы поэтому несем ответственность не только перед детьми, которые не имеют права голоса, но и перед внуками.

Видимо, наибольшей популярностью пользуется сейчас лозунг «Вперед, к капитализму». Две силы работают в его пользу: отрицание «социалистического» прошлого с его преступлениями, коррупцией и невыносимой скукой и обещание капиталистического благоденствия, которое мы видим на Западе. Правда, видим в основном глазами наших журналистов и новых идеологов. Они не только выступают как очевидцы, но и тщательно отбирают для нас поступающую с Запада информацию. «Надоело равенство в бедности,— говорят они,— надоели эти фальшивые христианские идеалы. Человек должен бороться на рынке труда, и пусть сильнейший будет богат и счастлив». Предположим, что это говорится искренне и что богатство приносит счастье. Но давайте будем хладнокровны в серьезных решениях и на минутку перейдем от поэзии богатства к прозе бедности. Ведь очевидно, что, уйдя от «равенства в бедности», мы лишь изменим ее тип и распределение в обществе. Предположим даже, что каким-то чудом мы, отказавшись от поиска социализма, сразу попадем в разряд стран благоденствующего капитализма. Чем отличается их бедность от нашей? Выскажу свою точку зрения как человек, получивший возможность пожить в Испании нормальной жизнью среднего испанского жителя.

Сразу поставлю точки над «i» относительно нашего прошлого. По многим причинам нам достался социализм искалеченный и изуродованный, гибрид высоких чувств доброты и справедливости с тоталитарным, временами кровавым режимом. Во многом виновен этот режим и в нашей бедности, будучи неспособным управиться разумно со сложным хозяйством. И все же, все же... Не будем забывать о второй половине этого гибрида — люди с их «нерыночной» психологией помогли друг другу выжить. Что нам дала эта психология, без которой невозможен никакой социализм?

Мы распределили бедность среди всех (не будем сейчас говорить о той коррумпированной части, которая давно ведет буржуазный образ жизни и хочет сейчас его узаконить и даже опоэтизировать). Капитализм, даже при большом национальном богатстве, концентрирует бедность в малой части населения. Отверженные — необходимый компонент этого общества. Вид их страданий нужен не только, чтобы подстегнуть работников, но и чтобы сплотить всех благополучных круговой порукой. И демократия здесь очень кстати, такой порядок всегда подкрепляется волей большинства.

Наша уравнительная психология разными путями привела к тому, что у нас бедный человек имел доступ к основным жизненным ресурсам: самые необходимые вещи у нас дешевы, а при увеличении в них элемента «роскоши» они начинают дорожать с ускорением. На Западе эта пирамида перевернута: автомобиль безумно дешев по сравнению с хлебом и жильем. Я купил вполне приличную машину за сумму меньшую чем двухмесячная плата за мою квартиру (в Москве за эти же деньги я примерно такую же квартиру купил в ЖСК). Поэтому бедность на Западе быстро становится абсолютной. И очень для многих этот процесс необратим.

За последние годы у нас создано и распространено много мифов о счастливой жизни бедняков на Западе (о безработном, приезжающем за пособием на собственном автомобиле, и т. д.). Вот для начала некоторые официальные данные. В Европейском Сообществе около 40 млн. бедняков, из них 8 млн. в Испании. В январе прошлого года опубликован доклад социологов о ситуации бедняков в Мадриде. В этом городе 700 тыс. живут ниже уровня бедности, из них 160 тыс. имеют доход менее 8 тыс. песет в месяц. Это 266 песет в день. На эти деньги можно один раз проехать на метро (100 песет), купить пакет молока (80 песет), небольшую булку (40 песет) и бутылку питьевой воды. Конечно, бедняк не пьет эту чистую воду или молоко, не ездит в метро, не покупает сливочное масло (1200 песет килограмм). Он экономит на ночлежку. Я привел эти цифры только для того, чтобы каждый, кто хочет, понял что нас или наших детей ждет в капиталистическом рае совсем иная бедность, чем та, которой мы возмущаемся у себя дома. Мне пришлось в свое время, будучи аспирантом, жить полтора года вчетвером на 160 руб. в месяц. Это было тяжело, но я имел крышу над головой, не было и речи о голоде и всегда можно было занять у товарища. Мало кто и знал о моем положении. В этой ситуации на Западе я бы просто исчез из общества.

Нас сейчас призывают к безработице и чуть ли не удивляются отсутствию энтузиазма: живи как король на пособие, а экономике стимул. Но, во-первых, эти пособия вырваны рабочим классом после длительной борьбы с помощью сильных профсоюзов. Наш рабочий класс еще долго будет беспомощным перед боевыми советскими капиталистами и пособие получит не скоро. Во-вторых, имеются десятки способов, иные весьма оригинальные, чтобы лишить безработного пособия. Сейчас Испания, пожалуй, самая либеральная страна, экономика ее на подъеме, у власти уже восемь лет социалисты. Недаром на первом Съезде народных депутатов СССР Чингиз Айтматов даже призвал нас учиться у Испании как у страны с «реальным рабочим социализмом» (чем, кстати, потряс одного из принимавших его в Испании деятелей культуры, которому я перевел это выступление). И тем не менее здесь более половины безработных не получают никакого пособия. Почему бы нашим газетам не попросить испанские профсоюзы поделиться опытом? Ведь нам безработица предлагается как нормальное явление.

И дело далеко не только в деньгах. Человека, который осознал себя безработным, сразу отличишь по особой тоске в глазах. Она отпугивает и делает каждую новую попытку устроиться все более трудной, особенно для специалистов. Агенты по найму крупных компаний, проводя интервью с претендентом на место, стараются вывести его из себя, проверяя его «управляемость». Безработный с его постоянным стрессом такие тесты выдерживает очень плохо.

Кстати, бедность интеллигентов на Западе — это особое явление. Лишения тяжелы для всех, но у специалиста они сопровождаются крахом иллюзий, которых не имел мальчик, рожденный в бедности. Одна из самых тяжелых картин, какие я видел,— это просящие в Мехико подаяние выпускники консерватории: он и она очень красивые, в хороших костюмах и с хорошими инструментами, но с таким горестным взглядом, что прохожие стараются их обойти подальше. Обеднение части среднего класса сейчас вызывает все большую тревогу. В Мадриде обследование ночлежек показало, что все большую долю среди их обитателей составляют адвокаты, преподаватели и люди других интеллигентных профессий. Большую роль в этом играет, видимо, быстрое дорожание жилья. В США за 1984—1986 гг. число квартиросъемщиков с доходом менее пяти тысяч долларов в год возросло на 30 процентов, а число дешевых квартир снизилось более чем на 1 миллион.

Мы делаем большую ошибку, когда прикладываем наши понятия к явлениям иного мира и наоборот. Мы говорим: «и у нас есть проституция», имея в виду особ с развитой «рыночной» психологией и высокими доходами. И совсем другое дело увидеть, как дрожит зимой в своей мини-юбке девочка без всяких порочных наклонностей и без надежды сорвать крупный куш. Это — не миф, созданный итальянскими фильмами. В феврале проститутки Мадрида попытались создать свою ассоциацию, чтобы бороться против вымогателей, за социальное страхование, пенсии. ТВ несколько раз обращалось к этой теме, выступали делегатки, их адвокаты, полицейские. Кто же ищет профсоюзной защиты? В основном это многодетные вдовы, изможденные женщины, чья клиентура — не английские туристы и коммивояжеры, а те, кто принадлежит к «неудачливой» трети населения страны. Готовы мы к этому? Ведь все блага придется принимать «в одном пакете».

Пропагандисты рыночной экономики утверждают, что капитализм преодолевает свои слабости. Но жестокая бедность — это не слабость, а оружие капитализма. Средств, чтобы ликвидировать бедность, более чем достаточно, однако выгоднее повышать производительность и интенсивность труда одних и выгонять из достойной жизни других. Так же, как выгоднее выливать на землю «лишнее» молоко. Тенденции в динамике бедности в развитых странах неблагоприятны. Существенно увеличилось в США число детей, живущих за чертой «крайней бедности». Растет разрыв в образовательном уровне, а неподготовленному человеку будет все труднее найти место в современном производстве. Неожиданную помощь в обосновании социальной дискриминации предоставила наука: генная инженерия дала властям хорошую технологию для определения «генетического профиля» человека. Предполагалось использовать ее в криминалистике вместо ненадежного метода отпечатков пальцев. Но ею быстро заинтересовались страховые компании, повышая плату с клиентов с якобы повышенным риском заболеваний или ранней смерти. А теперь и органы народного образования торопятся внедрить эти методы диагностики, чтобы не тратить средства на обучение детей, «генетически предрасположенных» к неуспеваемости. Как говорят американские социологи, речь идет о создании «биологического класса» угнетенных. На деле же это вполне традиционный метод научного оправдания социального угнетения.

Трудно сказать, почему наши международные журналисты, которые, судя по

* Все данные взяты из центральной испанской прессы со ссылками на официальные источники.

всему, поддерживают идею построения в СССР процветающего капиталистического общества, не расскажут нам поподробнее о том типе жизни, который нам при этом придется освоить. Не думаю, чтобы политический интерес настолько пересилил профессиональную этику. Дело скорее в том, что бедность прячется сама и ее стараются спрятать власти. А вспоминать о ней в хорошем обществе вообще неприлично. Есть кварталы бедности, куда стараются не заходить. Есть заброшенные сельские дома, где живут сезонники. Современный тип одежды скрывает различия. А сейчас еще начаты особые «социальные программы» — вывоз безработной молодежи на далекие теплые пляжи (разновидность вывоза ядовитых отходов производства в страны Третьего мира). На Канарских островах таким образом «складирует» своих безработных ФРГ. Их пособий хватает на то, чтобы ночевать под теплым небом и жевать дешевые бананы. И контролировать их легко.

Но для наших бедняков перспектива пожевать эти бананы не слишком вероятна. Мы говорили о бедности в богатых странах Запада, которые получили неограниченный доступ к ресурсам Третьего мира. Этим во многом объясняется, почему за последние 10 лет в 37 беднейших странах мира расходы на здравоохранение на одного человека снизились более чем вдвое, а расходы на образование — более чем на четверть. Зато боливийское олово «первый мир» покупает сейчас по цене на 60 процентов дешевле, чем десять лет назад, а из Латинской Америки только как проценты на долг вывезли за год 30 млрд. долларов. Мы к этому пирогу допущены не будем, мы сами будем пирогом. В этом-то вряд ли у кого-нибудь есть серьезные сомнения. И на дружескую помощь «товарищей миллиардеров» рассчитывать не приходится. На эту помощь могли бы рассчитывать Польша и Венгрия, но вот президент Буш представил в конгресс проект бюджета на 1991 год. Помощь Венгрии и Польше составит по 650 млн. долларов (для сравнения: Израилю 4 млрд., Египту 2,9 млрд. долларов).

Какова же бедность в тех странах, с которыми нам предстоит стать в один ряд. Не будем говорить о бедности Бангладеш, о том, как тайваньские девочки работают по 12 часов в день почти даром на сборке японских компьютеров. Возьмем наиболее богатые и развитые страны Латинской Америки.

В 1989 г. инфляция в странах этого континента составила в среднем 1000 процентов (в Аргентине 4000, в Бразилии 1500). Можно представить, что это значит для простого человека. В Аргентине, одной из основных стран-производителей мяса и пшеницы, голодающие громят магазины, в Венесуэле расстреливают демонстрации голодных. В обеих этих странах с рыночной экономикой и богатыми ресурсами в 1989 г. валового национального продукта на душу населения произведено на 20 процентов меньше, чем в 1980 г. Какие же у нас будут преимущества перед этими странами в случае перехода к свободному предпринимательству? Никаких. Напротив, по очень многим параметрам их положение в рыночной экономике гораздо лучше нашего.

Быть может, нам удастся пойти по пути Колумбии. Этот вариант вероятен, если учесть роль преступных структур в экономике обеих наших стран. Колумбия — одна из немногих стран Латинской Америки, у которой в 1989 г. национальный продукт на душу населения повысился по сравнению с 1980 г. Но при этом огромная доля населения выброшена на дно. Из 12 миллионов детей в возрасте до пятнадцати лет, которые насчитывает страна, пять с половиной миллионов — беспризорники, живущие на улице подаянием, воровством или проституцией. Почти половина. Здесь нет столь ненавистного нашим либералам «равенства в бедности».

Мы видим, что многие десятилетия при отсутствии демократии вызвали у нас своего рода «синдром политического иммунодефицита». Мы принимаем без всякой внутренней борьбы политические лозунги, не прося не только обоснований, но даже минимальных разъяснений. Нам обещают переход к рыночной экономике, не говоря, каким образом мы переживем этот переходный период, сколько он будет длиться и каковы ресурсы оказания социальной помощи. Ведь у нас перед глазами два примера такого перехода: Польша и Китай. В Польше за несколько дней цены взвились до небес, и впечатление такое, будто по стране прошла война. Инфляция в 1989 г. составила 900 процентов. Уже в этом году, 1 января, повысили цены на уголь в 6 раз, на электричество в 4 и на газ в три раза. Молодые поляки наводнили Гамбург. А доедут ли до Гамбурга, скажем, жители Коканда? По сообщениям китайской прессы, безработица в стране выросла до 150 млн. человек, в некоторых провинциях без работы осталось 40 процентов рабочей силы. Это — результат закрытия «нерентабельных» предприятий, оздоровления экономики.

Не перескажешь всего, что видишь, живя за границей не в отеле, а хоть немного погружаясь в реальность. Но попытаюсь сформулировать впечатления.

Когда говорят, что мы сможем перейти к экономике свободного предпринимательства и одновременно ликвидировать бедность — нас обманывают. Бедность — неотъемлемая часть этой экономики, и у нас она проявится более жестоким образом, чем в ФРГ или Испании.

Когда нам говорят, что искусственное создание рынка со свободным предпринимательством и перераспределением ресурсов от тех, кто потребляет, к тем, кто станет предпринимателями, приведет к бурному росту производительных сил, то или нас обманывают, или искренне заблуждаются. Подобные программы, финансируемые международными банками и фондами в Третьем мире, провалились: искусственно взращенная буржуазия направляла средства не на создание производительных сил, а на собственное потребление и импорт предметов роскоши. Разве не видим мы той же тенденции у нашей новой элиты?

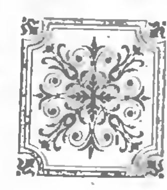
Когда говорят, что мы ничего не потеряем, потому что у нас и так 40 млн. бедных и они не пострадают, если несколько миллионов станут богатыми — нас обманывают. Мы еще не видали бедности, порождаемой обществом свободного предпринимательства, а она совершенно иная и не сводится к нехватке продуктов потребления. Это общество основано на «атомизации» человечества, а бедность человека — «атома» несравненно тяжелее, чем бедность на миру.

Когда говорят, что новым беднякам у нас будет жить хорошо, что им будут давать пособия и горячий суп, — нас обманывают. Рынок есть рынок, он чужд благотворительности, а лишние деньги появятся у наших капиталистов не скоро. Нам еще надо будет пройти период первоначального накопления, когда не до социальных программ.

Когда говорят, что благополучное большинство сможет наслаждаться жизнью, умело держа в повиновении некоторое количество бедняков, — нас обманывают. Духовно развитая часть капиталистического общества не наслаждается жизнью, а испытывает глубокий культурный кризис. У неподготовленного же человека зрелище настоящей бедности вызывает шок, а все мы — неподготовленные люди и наслаждаться жизнью не сможем. И очень сомнительно, чтобы наши бедняки оказались такими послушными. Не будет счастья в самой благополучной семье, если один сын вынужден будет стрелять в безработных, а другой станет левым террористом.

Все мы склонны думать, что нас лично бедность и безработица не коснутся. Но если нам жаль хотя бы детей, близких и друзей, надо как следует подумать прежде чем поддерживать кардинальное изменение всего нашего общества, которое окажется необратимым. Ведь до сих пор не обсуждались другие возможности, а они есть. Нам вовсе не обязательно бросаться из нашей нынешней бедности в новую, гораздо более худшую. Мы можем обеспечить всем достойную жизнь с разумным повышением достатка более ловких и трудолюбивых, но без создания островов общества потребления. Но уж если мы сейчас не можем добиться даже гласного обсуждения альтернатив дальнейшего пути, то ни о какой успешной борьбе за экономические права в ближайшем будущем и речи быть не может.

Май 1990 г.



ОЧЕРК И ПУБЛИЦИСТИКА

НИКОЛАЙ ЛИСОВОЙ

ВЛАДИМИР КРЕСТИТЕЛЬ

Немногие имена на скрижалях истории могут сравниться по значению с именем святого равноапостольного Владимира, крестителя Руси, на века вперед предопределившего духовные судьбы русской культуры и русского православного народа. Владимир был внук равноапостольной Ольги, сын Святослава. Мать его, Малуша, — дочь Малка Любечанина, которого историки отождествляют с Малом, князем Древлянским. Приведя к покорности восставших древлян и овладев их городами, княгиня Ольга повелела казнить князя Мала, за которого пытались ее сватать после убийства Игоря, а детей его, Добрыню и Малушу, взяла с собой. Добрыня вырос храбрым, умелым воином, обладал государственным умом, был впоследствии хорошим помощником племяннику Владимиру в делах военного и государственного управления.

«Вещая дева» Малуша стала христианкой (по гипотезе Н. П. Кондакова—вместе с великой княгиней Ольгой в Царьграде), но сохранила в себе таинственный сумрак языческих древлянских лесов. Тем и полюбилась она суровому воину Святославу, который — против воли матери — сделал ее своей наложницей. Разгневанная Ольга, считая невозможным сожительство своей ключницы, пленницы, с сыном Святославом, наследником великого Киевского княжения, отправила Малушу с глаз подальше, в некую Будутину весь. Там и родился (около 960 года) мальчик, названный русским языческим именем Володимер.

Корни русского имени... Кто и когда займется вами — из лингвистов, историков, поэтов? Между тем, если говорить о славянском язычестве, главное его реальное наследие — язык, поэзия, именослов. Нет, Владимир не значит «владеющий миром», ни даже «владеющий даром мира», как писал я в статье о нем в «Настольной книге священнослужителя». Володимер (во всех древних рукописях через «ять») — значит «владетельнейший», «самый владетельный». Как Добромир — «самый богатый»...

А парадокс в том, что Владимир не был вовсе «владетельным», не был даже «младшим сыном» Святослава — он был бастардом. Это не было тогда бранным словом, но было социальным термином. Наиболее известным в Европе был Нормандский Бастард, хотя нам привычней называть его Вильгельмом Завоевателем...

Тут уместно сказать, что и на Руси в X столетии варяги, предки нынешних шведов и норвежцев, принимали деятельное участие в государственной и военной жизни. Купцы и воины, они прокладывали новые торговые пути в Византию и на Восток, участвовали в походах на Царьград, составляли значительную часть торгового населения древнего Киева и княжеских наемных дружин. Главный торговый путь Руси — из Балтийского моря в Черное — называли тогда путь «из Варяг в Греки». На варяжскую дружину опирались в своих начинаниях вожди и устроители ранней русской государственности.

Киевская Русь занимала срединное место между языческой Скандинавией и православной Византией, и нередко господствующими в духовной жизни Киева оказывались то живительное веяние христианской веры, шедшее с юга (при Аскольде в 860—882 гг., при Игоре и Ольге в 940 — 950 гг.), то губительные вихри язычества, налетавшие с севера, от Варяжского моря (при вещем Олеге, убившем Аскольда в 882 г., при восстании древлян, убивших Игоря в 945 г., при князе Святославе, отказавшемся принять Крещение, несмотря на настояния своей матери Ольги).

Когда в 972 г. Святослав был убит печенегами, великим князем Киевским оставался назначенный им старший сын, Ярополк. Средний сын, Олег, былинный Вольга Святославович, держал древлянскую землю. Владимир — Новгород. Правление Ярополка (970 — 978), как правление его бабки Ольги, вновь стало временем преимущественного христианского влияния на духовную жизнь Руси. Сам Ярополк, по мнению историков, исповедовал христианство, хотя, возможно, латинского обряда, а это никак не соответствовало интересам его варяжских дружинников — язычников, привыкших считать Киев оплотом своего влияния в землях славян. Их предводители постарались поссорить между собой братьев, вызвали междоусобную войну Ярополка с Олегом, а после того, как был убит Олег, поддержали Владимира в борьбе против Ярополка.

Будущий креститель Руси начинал свой путь убежденным язычником и опирался на варягов, специально приведенных им из-за моря в качестве военной силы. Его поход на Киев 978 года, увенчавшийся полным успехом, преследовал не только военно-политические цели, — это был религиозный поход всего русско-варяжского язычества против нарождавшегося киевского христианства. 11 июня 978 года Владимир «сел на столе отца своего в Киеве», а несчастный Ярополк, приглашенный братом для переговоров, при входе в пиршественный зал был предательски убит двумя варягами, пронзившими его мечами «под пазухи».

Видимо, к этому периоду торжества язычества в Киеве при вокняжении Владимира следует отнести отмеченную в источниках гибель святых мучеников Феодора Варяга и сына его Иоанна, которую можно в этом случае датировать 12 июля 978 г. Возможно, впрочем, что подвиг киевских святых имел место летом 983 г., когда волна языческой реакции прокатилась не только по Руси, но и по всему славяно-германскому миру. Против Христа и Церкви почти одновременно восстали язычники в Дании, Германии, прибалтийских славянских княжествах, и всюду волнения сопровождались разрушением храмов, убийством духовенства и христиан-исповедников. Владимир в тот год ходил в поход на литовское племя ятвягов и одержал над ними победу. В ознаменование этой победы киевские жрецы и решили устроить кровавое жертвоприношение.

...Жил среди киевлян, сообщает преподобный Нестор Летописец, варяг по имени Феодор, долгое время до того пробывший на военной службе в Византии и принявший там святое Крещение. Языческое имя его, сохранившееся в названии «Турова божница», было Тур (скандинавское Тор), или Утор (скандинавское Оттар), в старинных рукописях встречается то и другое написание. У Феодора был сын Иоанн, красивый и благочестивый юноша, исповедавший, как и отец, христианство.

«И сказали старцы и бояре: бросим жребий на отроков и девиц, на кого падет он, того и зарежем в жертву богам». Очевидно, не без умысла жребий, брошенный языческими жрецами, пал на христианина Иоанна.

Когда посланные к Феодору сообщили, что его сына «избрали себе боги, да принесем его им в жертву», старый воин решительно ответил: «не боги это, а дерево. Ныне есть, а завтра сгинет. Не едят они, не пьют и не говорят, но сделаны человеческими руками из дерева. Бог же един, Ему служат греки и поклоняются. Он сотворил небо и землю, звезды и луну, солнце и человека и предназначил ему жить на земле. А эти боги что сотворили? Они сами сотворены. Не дам сына моего бесам».

Это был прямой вызов христианина обычаям и верованиям язычников. Вооруженной толпой язычники ринулись к Феодору, разнесли его двор, окружили дом. Варяг, по словам летописца, «стоял на сенях с сыном своим», мужественно, с оружием в руках, встречая врагов. (Сенями в старинных русских домах называли устроенную на столбах крытую галерею второго этажа, на которую вела лестница.) Он спокойно смотрел на бесновавшихся язычников и говорил: «Если они боги, пусть пошлют одного из богов и возьмут моего сына». Видя, что в честном бою им не одолеть Феодора и Иоанна, искусных воинов, осаждавшие подсекли столбы галереи, и когда те обрушились, навалились толпой на исповедников и убили их...

Первыми «русскими гражданами Небесного Града» назвал их списатель Киево-Печорского Патерика, епископ Симон, святитель Суздальский. Последняя на кровавых языческих жертв в Киеве стала первой христианской жертвой — сораспятием Христу. Путь «из Варяг в Греки» становился для Руси путем из язычества в Православие, из тьмы к свету.

...Дивен Бог во святых Своих. Камня и бронзы не щадит время, а нижний сруб деревянного дома святых варягов, сожженного тысячу лет назад, сохранился до наших дней; он был обнаружен в 1908 году, во время раскопок в Киеве, у алтаря Десятинной церкви.

Так Владимир стал «единодержцем» Киевского государства, «покорив окрестные страны, одни — миром, а непокорных — мечом».

Но Господь уготовил ему иное поприще. Где умножается грех, там, по слову Апостола, преизобилует благодать. «И прииде на него посещение Вышнего, призре на него Всемилостивое око Благого Бога, и воссияла мысль в сердце его, да разумеет суету идольского прельщения, да взыщет Единого Бога, сотворившего все видимое и невидимое».

Дело принятия Крещения облегчалось для него внешними обстоятельствами. Византийскую империю сотрясали удары мятежных полководцев Варды Склира и Варды Фоки, каждый из которых уже примерял царскую корону. В трудных условиях императоры, братья-соправители, Василий, прозванный впоследствии Болгаробойца, и Константин, обратились за помощью к Владимиру.

События развивались быстро. В августе 987 года Варда Фока провозгласил себя императором и двинулся на Константинополь, осенью того же года послы императора Василия были в Киеве. «И истощились богатства его (Василия), и побудила его нужда вступить в переписку с царем Руссов. Они были его врагами,

ЛИСОВОЙ Николай Николаевич. Родился в 1946 году в городе Станиславе. Учился в Московском инженерно-физическом институте. В 1972 году закончил аспирантуру Института философии АН. Кандидат философских наук. Автор ряда публикаций по философской и исторической проблематике. Автор книги стихов «Круг земной» (1989). Живет в Москве.

но он просил у них помощи, — пишет о событиях 980-х годов Яхъя Антиохийский, один из арабских хронистов. — И царь Руссов согласился на это, и просил свойства с ним».

В награду за военную помощь Владимир просил руки сестры императоров Анны, что было для византийцев неслыханной дерзостью. Принцессы крови никогда не выходили замуж за «варварских» государей, даже христиан. В свое время руки царевны домогался для своего сына император Оттон Великий, и ему было отказано. Но теперь Константинополь вынужден был согласиться.

Был заключен договор, согласно которому Владимир должен был послать в помощь императорам шесть тысяч варягов, принять святое Крещение и при этом условии получить руку царевны Анны. Так в борьбе человеческих устремлений воля Божия определила вхождение Руси в лоно Вселенской Церкви. Великий князь Владимир принимает Крещение и направляет в Византию военную подмогу. С помощью русских мятеж был разгромлен, а Варда Фока убит. Но греки, обрадованные неожиданным избавлением, не торопятся выполнить свою часть уговора.

Возмущенный греческим лукавством, князь Владимир «вборзе собра вои своя» и двинул «на Корсунь, град греческий», древний Херсонес. Пал «неприступный» оплот византийского господства на Черном море, один из жизненно важных узлов экономических и торговых связей империи. Удар был настолько чувствителен, что эхо его отозвалось по всем византийским пределам.

Решающий довод снова был за Владимиром. Его послы, Олег и Ждьберн, прибыли вскоре в Царьград за царевной. Восемь дней ушло на сборы Анны, которую братья утешали, подчеркивая значительность предстоящего ей подвига: способствовать просвещению русских князей и земли их, сделать их навсегда друзьями Ромейской державы. В Тавриде ее ждет святой Владимир, к титулам которого прибавился новый, еще более блестящий — цесарь (царь, император). Надменным владыкам Константинополя пришлось уступить и в этом — поделиться с зятем цесарскими (императорскими) инсигниями. С того времени он чеканит монеты по византийским образцам и изображается на них со знаками императорской власти: в царской одежде, на голове — императорская корона, в правой руке—скипетр с крестом.

С царевной прибыл посвященный святым Патриархом Николаем II Хризовергом на Русскую кафедру митрополит Михаил Сирин (то есть сириец) — со свитой, клиром, святыми мощами и другими святынями. В древнем Херсонесе, где каждый камень помнил святого Андрея Первозванного, совершилось венчание святого равноапостольного Владимира и блаженной Анны, напомнив и подтвердив исконное единство благовестия Христова на Руси и в Византии. Корсунь, «вено царицы», был возвращен империи. Великий князь отправляется с супругой в обратный путь к Киеву. Впереди великокняжеского поезда с частыми молебнами и несмолкающими священными песнопениями несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама святая вселенская Церковь двинулась в просторы Русской земли, и, обновленная в купели Крещения Святая Русь открывалась навстречу Христу и его Церкви.

Наступило незабываемое и единственное в истории утро Крещения киевлян в водах Днепра. Накануне святой Владимир объявил по городу: «Если кто не придет завтра на реку — богатый или бедный, нищий или раб — будет мне враг». Священное желание святого князя было исполнено беспрекословно: «в одно время вся земля наша восславила Христа со Отцем и Святым Духом».

Трудно переоценить глубину духовного переворота, совершившегося молитвами святого равноапостольного Владимира в русском народе, во всей его жизни, во всем мировоззрении. В чистых киевских водах, как в «бане пакибытия» осуществилось таинственное преображение русской духовной стихии, духовное рождение народа, призванного Богом к невиданным еще в истории подвигам христианского служения человечеству. — «Тогда начал мрак идольский от нас отходить, и заря Православия явилась, и Солнце Евангельское землю нашу осияло».

В память священного события, обновления Руси водою и Духом, установился в русской Церкви обычай ежегодного крестного хода «на воду» 1 августа, соединившийся впоследствии с празднеством Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, общим с греческой Церковью, и русским празднеством Всемилостивому Спасу и пресвятой Богородице (установленным Андреем Боголюбским в 1164 году). В этом соединении праздников нашло точное выражение русское богословское сознание, для которого неразрывны Крещение и Крест.

Всюду по Святой Руси, от древних городов до дальних погостов, повелел Владимир ниспровергнуть языческие требища, иссечь истуканов, а на месте их рубить по холмам церкви, освящать престолы для Бескровной Жертвы. Храмы Божии вырастали по лицу земли на возвышенных местах, у излучин рек, на старинном пути «из Варяг в Греки» — словно путеводные знаки, светочи народной святости.

С первых веков христианства ведет начало обычай воздвигать храмы на развалинах языческих святилищ или на крови святых мучеников. Следуя этому правилу, святой Владимир построил храм святого Василия Великого на холме, где находился жертвенник Перуна, и заложил каменный храм Успения пресвятой Богородицы (Десятинный) на месте кончины варягов-мучеников. Великолепный храм, призванный стать местом служения митрополита Киевского и всея Руси, первопрестольным храмом русской Церкви, строился пять лет, был богато украшен мозаиками и фресками, крестами, иконами и священными сосудами, привезенными из Корсуня. День освящения храма пресвятой Богородицы, 12 мая (в некоторых рукописях — 11 мая), святой Владимир повелел внести в месяцесловы для ежегодного празднования.

Событие было соотнесено с существовавшим уже праздником 11 мая, связывавшим новый храм двойной преемственностью. Под этим числом отмечается в святцах церковное «обновление Царьграда» — посвящение святым императором Константином новой столицы Римской империи, Константинополя, пресвятой Богородице (в 330 году). В тот же день при княгине Ольге освящен был в Киеве первый, деревянный храм Софии — Премудрости Божией (в 952 году). Владимир посвящал тем самым, вслед за равноапостольным Константином и Ольгой, не только храм, но и стольный град земли Русской, Киев, Владычице Небесной, прогностически объявляя его Третьим Римом, преемником Царьграда.

Тогда же князем была пожалована Церкви десятина, почему и храм, ставший центром общерусского сбора церковной десятины, нарекли Десятинным. Древнейший текст уставной грамоты, или церковного Устава, святого князя Владимира гласил: «Се даю церкви сей Святыя Богородицы десятину из всего своего княжения, и тако же и по всей земле Русской от всего княжья суда десятую векшу, из торгу — десятую неделю, а из домов на всяко лето — десятое всякого стада и всякого жита, чудной Матери Божией и чудному Спасу».

Летопись сохранила молитву святого Владимира, с которой он обратился к Вседержителю при освящении Десятинного храма: «Господи Боже, призри с Небесе и виждь, и посети виноград Своего, яже насади десница Твоя. И сверши новые люди сии, им же обратил еси сердце и разум — познати Тебя, Бога Истинного. И призри на церковь Твою сию, юже создал недостойный раб Твой во имя Рождшей Тя Матери, Приснодевы Богородицы. Аще кто помолится в церкви сей, то услыши молитву его, молитв ради Пречистой Богородицы».

С Десятинной церковью и епископом Анастасом некоторые историки связывали начало русского летописания. При ней были составлены «Житие святой Ольги» и «Сказание о варягах-мучениках» в их первоначальном виде, а также «Слово о том, како крестися Владимир возмя Корсунь». Там же возникла ранняя, греческая редакция «Жития святых мучеников Бориса и Глеба».

Киевскую митрополичью кафедру при святом Владимире занимали последовательно митрополиты: святой Михаил Сирин (умер 15 июня 991), Феофилакт, переведенный в Киев с кафедры Севастии Армянской (991—997), Леонтий (997—1008), Иоанн I (1008—1037). Их трудами были открыты первые епархии русской Церкви: Новгородская (первым ее предстоятелем был святитель Иоаким Корсунянин (умер 1030), составитель Иоакимовской летописи, Владимиро-Волынская (открыта 11 мая 992 года), Черниговская, Переяславская, Белгородская, Ростовская. «Сице же и по всем грады и по селам воздвизахуся церкви и монастыри, и умножахуся священницы, и вера православная цветяше и сияше яко солнце». Для утверждения веры в новопросвещенном народе нужны были ученые люди и школы для их подготовки. Поэтому Владимир с киевским духовенством «начаша от отцов и матерей взимати младые дети и давати в училище учитися грамоте». Такое же училище устроил Иоаким в Новгороде, были они и в других городах. «И бысть множество училищ книжных, и бысть от сих множество любомудрых философов».

Великий князь твердой рукой сдерживал на рубежах врагов, строил города, крепости. Им построена первая в русской истории «засечная черта» — линия оборонительных пунктов против кочевников. «Нача ставити Володимер грады по Десне, по Выстри, по Трубежу, по Суле, по Стугне. И населил их новгородцами, смольнянами, чудью и вятичами. И воевал с печенегами и одолевал их». Действенным оружием часто была мирная христианская проповедь среди степных язычников. В Никоновской летописи под 990 годом записано: «Того же лета придоша из болгар к Володимеру в Киев четыре князя и просветишася Божественным Крещением». В следующем году «прииде печенегский князь Кучуг и прият греческую веру, и крестися во Отца и Сына и Святого Духа, и служаше Владимиру чистым сердцем».

Под влиянием святого князя крестились и некоторые видные иноземцы, например живший несколько лет в Киеве норвежский конунг Олаф Трюггвасон. В далекой Исландии поэты-скальды называли в те времена христианского Бога «хранителем греков и русских».

Своеобразным средством христианской проповеди были и знаменитые пиры Владимира: по воскресеньям и большим церковным праздникам после литургии выставлялись для киевлян обильные праздничные столы, звонили колокола, славословили хоры, «калики перехожие» пели былины и духовные стихи. Например, по поводу освящения Десятинной церкви князь «сотвори пирование светло», «раздавая имения много убогим, и нищим, и странникам, а по церквам и по монастырям. Больным же и нищим доставлял по улицам великие кади и бочки меду, и хлеб, и мясо, и рыбу, и сыр, желая, чтобы все приходили и ели, славя Бога».

В 1007 году святой Владимир перенес в Десятинную церковь мощи святой равноапостольной Ольги. А четыре года спустя, в 1011 году, там же была погребена его супруга, сподвижница многих его начинаний, блаженная царица Анна. После ее кончины князь женился на немке — вступил в брак с младшей дочерью графа Куно фон Эннингена, внучкой императора Оттона Великого.

* * *

Эпоха святого Владимира была ключевым периодом для государственного становления православной Руси. Объединение славянских земель и оформление государственных границ державы Рюрико-

вичей происходила в напряженной духовной и политической борьбе с соседними племенами и государствами. Крещение Руси от православной Византии было важнейшим шагом ее государственного самоопределения. Главным врагом святого Владимира стал Болеслав Храбрый, в планы которого входило широкое объединение западнославянских и восточнославянских племен под эгидой католической Польши. Начало соперничества восходит еще ко времени, когда Владимир был язычником: «В лето 6489 (981). Иде Володимер на ляхи и взя грады их — Перемышль, Червень и иные грады, иже есть под Русью». Последние годы X столетия также заполнены войнами Владимира и Болеслава.

После кратновременного затишья (первое десятилетие XI века) «великое противостояние» вступает в новую фазу: в 1013 году в Киеве был раскрыт заговор против святого Владимира: Святополк Окаянный, женившийся на дочери Болеслава, рвался к власти. Вдохновителем заговора был духовник Болеславны, католический епископ Колобжегский Рейнберн.

Заговор Святослава и Рейнберна был прямым покушением на историческое существование Русского государства и русской Церкви. Святой Владимир принял решительные меры. Все трое были арестованы, и Рейнберн вскоре скончался в заточении.

Святой Владимир не мстил «гонящим и ненавидящим» его. Принесший притворное покаяние Святополк был оставлен на свободе.

Новая беда назревала на Севере, в Новгороде. Ярослав, еще не столь «мудрый», каким он вошел позже в русскую историю, став в 1010 держателем Новгородских земель, задумал отложиться от своего отца, великого князя Киевского, завел отдельное войско, перестал платить в Киев обычную дань и десятину. Единству Русской земли, за которое всю жизнь боролся святой Владимир, угрожала опасность. В гневе и скорби князь повелел «мосты мостить, гати гатить», готовился к походу на Новгород. Силы его были на исходе. В приготовлениях к последнему своему (к счастью, несостоявшемуся) походу креститель Руси тяжело заболел и предал дух Господу в селе Спас-Берестове 15 июля 1015 года. Он правил Русским государством тридцать семь лет (978—1015), из них двадцать восемь лет прожил во святом Крещении.

Готовясь к новой борьбе за власть и надеясь в ней на помощь поляков, Святополк, чтобы выиграть время, пытался скрыть смерть отца. Но патриотически настроенные киевские бояре тайно — ночью — вывезли тело почившего государя из Берестовского дворца, где сторожили его люди Святополка, и привезли в Киев. В Десятинной церкви гроб с мощами святого Владимира встретило киевское духовенство во главе с митрополитом Иоанном. Святые мощи были положены в мраморной раке, поставленной в Климентовском приделе Десятинного Успенского храма рядом с такой же мраморной ракой царицы Анны...

Дело святого Владимира, которого народ назвал Красным Солнышком, связано со всей последующей историей Русской Церкви. «Им мы обожились и Христа, Истинную Жизнь, познали», — засвидетельствовал святитель Иларион. Подвиг его продолжили его сыновья, внуки, правнуки, владевшие Русской землей в течение почти шести столетий: от Ярослава Мудрого, сделавшего первый шаг к независимому существованию Русской Церкви, — до последнего Рюриковича, царя Федора Иоанновича, при котором (в 1589 году) Русская Православная Церковь стала пятым самостоятельным Патриархатом в диптихе Православных Автокефальных Церквей.

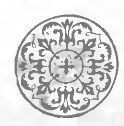
Празднование святому равноапостольному Владимиру было установлено святым Александром Невским после того, как 15 июля 1240 года, помощью и заступлением святого Владимира, была им одержана знаменитая Невская победа над шведскими крестоносцами.

Но церковное почитание святого князя началось на Руси значительно ранее. Митрополит Иларион, святитель Киевский (умер 1053), в «Слове о законе и благодати», сказанном в день памяти святого Владимира у раки его в Десятинном храме, называет его «во владыках апостолом», «подобником» святого Константина, и сравнивает его благовестие Русской земле с благовестием святых апостолов.

Но имя Красного Солнышка «слышно и ведомо» было и в других углах тогдашней ойкумены. Через двести лет, в далекой Гяндже, в Азербайджане, в смутном, полусказочном контексте Низами сложит о нем стихи:

Ибо тою красотою он рассеял мрак,
Он всегда имел убранство красное,
что мак.
«Шах в багряных бармах» —
был он прозван потому,
Что в багряном цвете радость
выпала ему.

«Та красота», о чем вряд ли думал мусульманский поэт, — это красота и радость откровения Лика Христова в русском человеке, залог и свет предназначающегося Преображения, «красота, что спасет мир».



КРИТИКА

ЮРИЙ ДЬЯКОНОВ

«ПРОГРЕССЫ» КИНО

(КАК ГОТОВИЛАСЬ «КАТАСТРОЙКА»)
ЗАМЕТКИ КИНОКРИТИКА

Всё как будто по плану идет...
По какому-то адскому плану.

Юрий Кузнецов.

Удивительно нагляден «прогресс» советского кино, если обозначить его основные этапы. Этот экскурс любопытен, ибо развитие происходит с железной последовательностью, вынужденно «искривляясь» лишь в эпоху «культа личности» или в творчестве отдельных русских кинорежиссеров, количество которых, при всех колебаниях конъюнктуры, не превышает 5—10 процентов.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПУТИ К ДЕГРАДАЦИИ

Советский кинематограф с первых своих шагов занял позицию р-р-революционного разрыва с «бур-р-ржуазным» кино. И по сей день напоминают поколениям кинематографистов ленинские слова о дореволюционных кинодеятелях как «пошлых спекулянтах». Правда, киноведы по рассеянности не поясняют, что сказал это вождь, находясь за рубежом, под впечатлением зарубежных фильмов. Но это, так сказать, пустяки. Главное — разрушим «до основанья»! Увы, не популяризируются слова известного французского историка кино Жоржа Садуля, отмечавшего, что по количеству и качеству картин русское кинопроизводство занимало тогда одно из первых мест в мире. Менее чем за 10 лет оно перешло от выпуска нескольких лент до производства 499 игровых фильмов (1916 год). Они демонстрировались в 4000 кинотеатрах, в том числе 229 петроградских. 70 процентов выпущенных на экраны лент были отечественного производства, которые пользовались наибольшим успехом у зрителей (ныне, как известно, на советские фильмы зритель почти не ходит, доходы дают зарубежные ленты).

Что же это был за феномен?

При всей наивности и несовершенстве многих лент они реализовали естественное стремление людей к общению, когда «тысячи людей приходят к человеку» (Андрей Белый). В прессе подчеркивалась мысль о кинематографе, отмечает киновед Нея Зоркая, как об «искусстве для всех». И при этом именно русские кинематографисты вышли вперед благодаря обращению к ж и з н и Р о с с и и, опираясь на фольклор и отечественную классику. Были экранизированы Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Л. Толстой, Достоевский, Гончаров, Некрасов. Созданы значительные для своего времени фильмы «Пиковая дама» Якова Протазанова с Иваном Мозжухиным в главной роли, «Анна Каренина», «Николай Ставрогин» (по «Бесам»), «Барышня-крестьянка», «Ночь перед Рождеством» и другие. Первым игровым фильмом была экранизация русской народной песни «Из-за острова на стрежень» («Понизовая вольница»).

Р-р-революционный советский кинематограф 20-х годов отошел от этой «буржуазной» традиции: фактически русская классика не экранизировалась. Если и был, скажем, фильм по комедии Фонвизина «Недоросль», то режиссер Г. Рошаль назвал его «Господа Скотинины», с соответствующим набором масок «русских харь». В «Капитанской дочке» Ю. Тарича по сценарию В. Шкловского (1928 г.) Гринёв во время штурма крепости бежит в страхе; стоит на коленях перед Пугачёвым, лепеча: «Простите... Я в гостях здесь»; танцует менуэт над трупом Савельича, ставшего, как и Гринёв, писарем у Пугачёва.

Это кинохулиганство обосновывалось тем же Шкловским теоретически. Он учил: «С Толстым, Пушкиным, Лермонтовым и

ДЬЯКОНОВ Юрий Анатольевич родился в 1931 году в г. Владикавказе. Окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Киновед, кинооператор, автор пяти книг о кино и многих статей. Оператор-постановщик фильмов «Золотые рога», «Колодец» и др.

Достоевским нужно бороться (заметьте, не иначе, как бороться, иного классики, оказывается, не заслуживают! — Ю. Д.) по линии изменения сведений, которые они сообщают. «Капитанская дочка», «Герой нашего времени» и «Бесы» — все это запас неправильных фактов... Мы должны в кино... создавать вещи, параллельные произведениям классиков... Кинокартина будет существовать рядом с литературным произведением, пользуясь его материалом и в то же время вытесняя его. Иначе быть не может. Гражданский мир — удел кладбища» (сегодня эти строки звучат особенно актуально и в значительной мере объясняют, к чему нас вели некоторые отдельные кинематографисты в отдельных случаях).

Для уяснения железной последовательности в проведении этого курса перешагнем через пять десятилетий и обратимся хотя бы к фильму «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» Фрида, Дунского и Митты. Единственной светлой личностью среди «птенцов гнезда Петрова» оказывается арап, потому что он, пишет критик Липков, «единственный из всех осмеливается отстаивать человеческое достоинство... в окружении, забывшем о самом понятии «человечность». То есть, по Пушкину, человеком, достойным своего призвания, Ганнибала сделала Россия эпохи Петра. По фильму, лучшим в себе Россия обязана человеку извне, иной породы.

Но вернемся к русскому кино 1908—1917 гг. «Потомства наши,— писал В. Стасов, — и не одно ближайшее, а многие, многие, все-все... увидят, как он (Лев Толстой) стоит, ходит и сидит... как он волнуется... Явилась гениальная, гениальнейшая кинематография».

Русское кино сохранило нам запечатленную М. Пинегиным экспедицию Г. Я. Седова к Северному полюсу, кругосветный переход ледокола по Великому Северному Пути, «Воздушный флот России», «Вербное воскресенье в Москве», «Русских чемпионов мира», «Нижегородскую ярмарку», Л. Толстого, Ф. Шаляпина, поручика Нестерова, многих славных наших деятелей.

Что же оставил нам советский кинематограф хотя бы от того периода, когда появился звук и можно было запечатлеть интервью, например, с Шолоховым или Асафьевым, Макаренко или Горьким, Немировичем-Данченко или Станиславским, художником Нестеровым, академиком Павловым, с Пришвиным? Кориным? Да фактически ничего, кроме интервью с академиком Цициным, престарелым А. Стахановым, с Г. К. Жуковым (увы, только о битве под Москвой). В чем же дело? Почему и по сию пору нет хотя бы намёток съемок фильмов-интервью с замечательными людьми, которые тоже, увы, смертны? Неужели только потому, что оплата за фильмы-интервью низка и «навара мало»? Неужто правду говорили на V съезде кинематографистов, что «проблемы Родины перестали быть внутренней потребностью многих киноработников, а точнее — кинодельцов»? Но остановимся пока только на этом сопоставлении с кинематографом «пошлых спекулянтов».

Что же еще привлекало 3/4 русской публики именно на русские фильмы? «Синематограф,— писал Андрей Белый,— уют, трогательное поучение! Синематограф — предвестие. Он возвращает нам простые истины, захватанные грязными руками; возвращает человеческое единение, милосердие, незлобивость без всякой теоретики — просто, улыбчиво... Приходят усталые, одинокие — и вдруг соединяются в созерцании жизни, видят, как она многообразна, прекрасна, и уходят, обменявшись друг с другом взглядом случайной, и потому более всего ценной, солидарности... И в душе снова радость: «Еще не все оплевано!»

В кинематографе 20-х годов, «рождавшегося в решительной полемике с кинематографом дореволюционным» (Л. Козлов) воцарилась (и ныне прорвалась на экран уже полностью) идея *гражданской войны*. Оплеванными оказались не только «контрреволюционеры (в весьма широком, фактически безграничном понимании), но и вся дореволюционная Россия, как «власть тьмы» и «тюрьма народов». Именно эти лозунги внедряли ленты «Старое и новое», «Крест и маузер», «Арсен Джорджиашвили» («Убийство генерала Грязнова»), «Арсен-разбойник», «Белый орел», «Его превосходительство», «Чем ты был?» и т. п. Руководствовались авторы картин бесценными указаниями «авторитетнейшего вождя партии», «крупного марксиста» (так характеризуется «авторитетнейший» в ряде публикаций журнала «Искусство кино»)— Л. Троцкого. Что же предрекал «мыслящий человек» с его «наступательной, твердой и убедительной» деятельностью? Это мы узнаем из доклада Троцкого, публикуемого журналом. «Те двадцать — пятьдесят лет, о которых мы (Л. Троцкий) говорим, являются прежде всего периодом открытой гражданской войны». Это, оказывается, «гражданская война, подготовляющая величайшую культуру будущего...»! (Предвиделись, очевидно, нынешние кинематографические «чернуха» и «порнуха».)

На что же надежды? Троцкий поясняет: «...немало стихов, посвященных борьбе, Первому Мая и прочему. Все эти стихи в сумме своей (на вес, очевидно? — Ю. Д.) были очень важными и значительными культурно-историческими документами... Культурно-историческое их значение не меньше, чем значение произведений Шекспиров, Мольеров и Пушкиных всего мира». Любопытна не эта «авторитетнейшая» чепуха, а тот сюсюкающий восторг, с каким воспевается Троцкий нынешним киноведением.

Ну, что нужно Троцкому, понятно: «посвященное борьбе, Первому Мая и прочему». А что не нужно? Главная опасность — «мужиковствующие»! Вот те на! Александр Николаевич Яковлев, как же так? Я думал, что Вы это сами придумали, свою печально известную инструкцию «Против антиисторизма»? А Вы, даже не сославшись на «авторитетнейшего», впрямую его переписывали, повторяя все те же проклятия «старому, патриархальному крестьянству», «справному мужику», «почвенникам», радетелям «народного национального характера», «истокам», «храмам и крестам»? С одной стороны, по-человечески понятна Ваша надежда, что «Искусство кино» о Вас тоже скажет, как о Лейбе Бронштейне: «Лаокоон... этот человек ждет своего подлинного отражения в кинематографе» («Искусство кино», 1990, № 3). Но, с другой — что же Ваши помощники не могли сочинить что-нибудь лично Ваше, вроде «шариковых» Коротича или «навозной кучи» Евтушенко?

Итак, руководимые «авторитетнейшим вождем партии», кинематографисты 20-х годов «самоопределялись посредством разрыва с традицией, нарушая устоявшуюся систему условностей контакта с аудиторией» (Ю. Богомолов). В общем: «Шашки наголо!» вместо «милосердия» и «простых истин», о которых писал А. Белый.

Но вдруг случилось ужасное. До участников гражданской кино-войны стали доноситься слухи о немыслимых требованиях: объединения нации перед лицом все более приближавшейся агрессии. Появились исторические романы, из которых следовало, что Русское государство и даже «царские сатрапы» вроде бы участвовали в борьбе за независимость России. Появился кошмарный лозунг о труде как о деле чести, доблести и геройства?! И только в наши дни из журналов «Искусство кино», «Огонёк» и подобных мы узнали, что «тоталитарная идеология, доведенная до предела (чем же, ужас, даже читать страшно; ну ладно, открываю глаза.— Ю. Д.) коллективистской идеологией... это апелляция к массе, к народу, к нации в целом... к каким-то соборным коллективистским формам существования...» Ну, взять, скажем, того же Пырьева или Александрова, хоть «Волгу-Волгу». Ведь ужас, какой тоталитаризм! «Все делается коллективно и во имя коллектива. Коллективизм всегда побеждает... Сама песня о Волге, которую сочинила Стрелка, разрушает индивидуальное, авторское, потому что к концу фильма песня появляется в стольких интерпретациях, что это уже не ее песня. Авторство, так сказать, присвоено. И это тоже порождение коллективного гения». Уф-ф. Дайте дух перевести. Может быть, это розыгрыш? Какой там! Наисерьезнейшая дискуссия «Кино тоталитарной эпохи». В общем, песня Стрелки, которую стала петь вся страна, страною этой, выходит, украдена. Караул! Без спросу песню поют! Как видим, этот укор — яркий признак новой коротиче-евтушенковской «демократии».

Итак, запомните те, кто хочет получить «отлично» у «демросов», повторяйте: «апелляция к народу, к нации в целом» — это нехороший тоталитаризм (есть и хороший, но об этом «демросы» пока из скромности мало говорят). Естественно, «очень плохо» — за коллективизм. На этом вопросе нам придется задержаться, ибо слишком уж головы заморочены рядом привлекательных вроде лозунгов.

Вспомним для начала, что «гуманистический индивидуализм как принцип жизни выработан... идеологами первой капиталистической нации и подсказан потребностями становления буржуазного общества» (К. Маркс). Полное осознание этой глубокой мысли позволит понять все производные: «индивидуализм», «разумный эгоизм», «сильный человек, которому все позволено», и т. п. В эпоху Ренессанса, как пишет А. Лосев («Эстетика Возрождения»), «люди совершали самые дикие преступления и ни в коей мере в них не каялись, и поступали они так потому, что последним критерием для человеческого поведения считалась тогда сама же изолированно чувствовавшая себя личность». Отсюда: «Я есть мера всех вещей», «Я — цель, все остальное — средство».

Как отмечал глубоко исследовавший эту тему литературовед Ю. И. Селезнёв, «такой монологизм (индивидуализм) сознания проявляет себя в противопоставлениях... индивидуалистической личности — государству, народу, нации; одного народа, провозглашающего себя «избранным»,— всем остальным народам мира, одного «избранного» класса» (буржуазии) — другим, трудящимся классам, и т. д.». Трагедия сознания человека как «меры всех вещей» предстала перед человечеством в романах Достоевского. И национальное своеобразие русской литературы (вслед за идеей соборности ее философии и православия), что ее деятели видели свою миссию не в том, чтобы выразить свое личное «Я», а в том, чтобы стать «эхом русского народа». И потому центр мироздания для русской культуры не индивид, но *народ*.

Если мы с этим согласились, то вернемся к киноведам. «Романтическая мечта об общности,— пишет киновед А. Тимофеевский,— основа всякой утопии, всякого фашизма и самая страшная угроза демократии». Все верно, если фашизмом называть идею соборности и иметь в виду нынешнюю «демократию». «Демократия, основанная на единстве нравственного идеала,— причудливая фантазия авторитарного мышления... **В конфликте между личностью и государством, который теперь надолго определит духовную ситуацию в стране** (выделено мною.— Ю. Д.), каждый должен был сделать свой выбор... И здесь надо прежде всего сказать о диссидентах, о нашем демократическом движении (оказывается, это одно и то же, ценное признание.— Ю. Д.) Потому что все они... утверждали одно: *личность выше государства*...»

В этой связи Тимофеевский проклинает «колхозно-партийный сленг», «заклинания вспомнить Родину-мать и склонить перед ней выю», вообще время, когда «через «высокое» искусство насаждалась, по известному выражению поэта, как картофель при Екатерине, всякая «духовность», «нравственность», «историческая преемственность»... «Отдельный человек в джинсах ждал своего часа».

Как видим, идеологи периода деидеологизации совершенно четко выполняют команды нарождающейся буржуазии, воспевая индивидуализм «Я — как цель», противопоставляемое государству, народу, нации. Это надо нам четко понимать, чтобы нас не водили за нос «отдельные индивидуумы в джинсах», дождавшиеся своего часа. Именно потребностями крепнущего капитализма активно внедряется идеология индивидуализма, порождающая производ-

ны типа «личность выше государства», «безусловный приоритет общечеловеческих ценностей» (А. Н. Яковлев), «средства массовой информации — опора перестройки» (А. Н. Яковлев), «чем хуже, тем лучше» (Бунич) и т. п. Поэтому никак не могут идеологи капитала принять русскую соборность, где центр мироздания не индивид, но народ, коллектив, нация в целом. Именно в этой связи соборность заклеймлена как тоталитаристская, фашистская и т. п. нехорошая идеология. И тогда идея коллективизма, пронизывающая советские фильмы 30—60-х годов, объявляется тоталитаризмом.

Естественио, что труд как «дело чести...» глубоко чужд «отдельному (от народа) человеку в джинсах». И он, выпятив нижнюю губу, цедит: «Это так называемый «производительный труд». «...Когда зритель смотрит эти картины, он понимает, что трудиться необходимо». Не правда ли, читатель, ужасная нарисована картина? Тем более в государстве, где на гербе серп и молот (также активно осмеиваемые «отдельным человеком»). Это издевательство над трудолюбием народа, над основой основ нашей жизни, я рассматриваю как наглое оскорбление нации.

Особенно радостному осмеянию подвергается поражающий иностранцев массовый героизм народа, столь ярко проявившийся в годы войны. Вот издевается критик М. Черненко: «...любой персонаж, как только его звала труба долга, естественно и непринужденно становился героем». Критик М. Ямпольский открыл, что положение было еще более ужасным: «Герой выдвигался не первый план и проходил через испытания... (кошмар какой-то! бедный зритель эпохи тоталитаризма. — Ю. Д.) Такая мифология, конечно, использовалась для утверждения идеологии культа с характерным для нее мифом о сверхгерое, жертвою, вечным личным подвигом... Эта мифология была укоренена в самых архаических слоях народного сознания, в архетипах». И тут даже мудрый Ямпольский, увы, проговаривается. Он пишет: «Старая мифология... вступила в острое противоречие с новой молодежной культурой, культивирующей... совершенно иные мифы...» Вот о чем главная забота! «Попасть в масть» новой «молодежной метакультуре сопротивления» (это так ныне называется). Но об этом чуть позже.

Пока лишь напомню — для некоторого отдохновения от киноведения — о размышлениях любимого народом актера Николая Крючкова: «Всегда хотелось играть героя, который, шагнув с экрана, способен ворваться в реальную жизнь, завоевать симпатии зрителей и стать примером, своего рода властителем дум... Герои экрана воплощали тот идеал, к которому следовало стремиться... передовой этический и эстетический идеал эпохи... Если говорить о влиянии на молодую аудиторию, я всегда считал и считаю, что человек воспитывается прежде всего на положительном примере». Ну ладно, что их слушать, сталинистов. Пойдем дальше, дельше, дальше, вслед за отдельным в джинсах.

Особенно он негодует — не поверите! — по поводу фильмов о наших национальных героях. «...В довоенный период по указаниям Сталина были созданы фильмы об Александре Невском и Суворове... затем наступил черед Кутузова, Нахимова, Ушакова». Причем прозорливость кинокритиков, ныне особенно развернувшихся, оказывается просто поразительной. «Обращаясь к опыту своего детского еще восприятия, я могу сказать, что эту картину («Александр Невский».— Ю. Д.) я не пошла смотреть сознательно,— пишет М. Туровская.— Для меня это была картина шовинистическая». Это «идеологическая икона, — дополняет Б. Хазвнов.— Князь клеймит врагов народа, двурушников (Хазанов с 1982 г. проживает в Мюнхене.— Ю. Д.) и предателей — богатых купцов... Классовый враг есть не кто иной, как враг национальный». Весьма обижен Хазанов за Запад, который в картиме «замыслил поработить Русь и сломает себе на этом шею...» С облегчением взирая на нового героя нашего времени, сегодняшнего «богатого купце», Б. Хазанов радуется: «Вся эта развесистая клюква исчезла е воронке прошлого, в унитазе времени...».

Помню, как мы, мальчишки военной поры, бежали смотреть новый фильм И. Пырьева «Секретарь райкома» или «Концерт — фронту». Ныне все это в киноведении вызывает просто скрежет зубовный: и «фольклор, осененный ореолом наивысшей державности и идеологической чистоты,— Верико Анджапаридзе исполнит грузинскую народную песню «Сулико»; и такие «привычные стабилизирующие элементы», как Максим в исполнении Чиркова, который произносит уходящим на фронт «слова о патриотизме и Родине». «Не обойтись без русской народной песни, и ее споет... каким-то истошным голосом Русланова». С дрожью в голосе автор этого пасквиля, Мирон Черненко, горюет: «...во время войны все кинопроизводство было поставлено на службу патриотическому воспитанию народа, обучению «науке ненависти», если вспомнить знаменитую шолоховскую формулу...» Это, по мнению Черненко, «реабилитация российского имперского мышления», «взвинченного патриотизма». А уж «Вставай, страна огромная», по мнению Н. Климонтович, является вообще «антимасонским гимном». Запретить немедленно! И правда ведь, мы этот прекрасный гимн не слышим.

Прошли годы. Сменяли друг друга все более орденоносные вожди, но, к огорчению безродных космополитов, то бишь плюралистов, все еще на экране появлялись положительные герои.

Но уже к середине семидесятых стали появляться фильмы, вначале документальные, авторы которых объясняли юным, что живут они в ужасном государстве, под гнетом. Скажем, в картине рижанина Герца Франка «От кентавра», посвященной якобы соревнованию лошадей-тяжеловесов, популярно объяснялось, что вот так тебя будут нежить и холить, а вот так — избивать, и будешь ты всю жизнь в упряжке... А вот эта свалка — твое будущее, молодой человек («Запретная зона» того же режиссера). Тупы и бездуховны, по мысли режиссера Б. Гелвнтера, рвбочие, герои его фильма «Эхо», и даже непонятно, почему столь прекрасны создаваемые ими изделия из уральского камня...

Причем все чаще в подобных лентах указующий перст останавливался на старшем поколении — «виновнике мучений молодежи». Вначале это были «жранные «шутки», когда красотки в плавках отплясывали на полу, изготовленном из фотопортрвтов старичков и старушек; когда девице удавалось притопнуть точно по физиономии предков, это получалось особенно забавно (Рижская студия)... Беспрерывно страдают герои фильма «Костер по четвергам» (по сценарию Л. Жуховицкого и И. Григорьева). Волнуясь, говорит юноша: «Я думал, еду, где нет Ивана Ивановича, которому надо заглядывать в глаза... Вначале оно так и было... А потом, смотрю, снова те же Иван Ивановичи». Сочувствуют авторы и девушке, которая признается, что не может жить дома: «...где все есть, где утром просыпаешься — завтрак на столе, где до работы две минуты пешком, где мама все время. Ну, я не могла дома жить».

Все более агрессивными к старшему поколению, причем именно русскоязычному, становились фильмы прибалтийских республик. В часовой картине Литовской киностудии «Полет в ночь», посвященной вроде бы литовским партизанам, авторы устроили фектически суд над русским летчиком, который якобы не туда забросил нескольких желающих стать партизанами. Ни летчику, ни его коллегам слово не дано, но всю картину вершится этот «суд». В фильмах «Вильнюсский университет», «Тарту — город весны» молодежи сообщают о непрестанных «вражеских нашествиях», о неназванных «завоевателях», о «порабощении». От фильма к фильму, намеком или прямой ложью, воспитывалась неприязнь к русским, к «центру».

На этих «дрожжах» и поднялись ленты Абрама Клецкина, Ефима Марголина и Юриса Подниекса «Легко ли быть молодым?» и «Кирпичный флаг. Выстрелы Артураса Секалаускаса» С. Бержиниса и Ж. Пиолипавичене. Из картин следовало, что нужно судить общество за издевательства над молодыми. Судить нужно, естественно,— взрослых. В чем же они опять провинились перед молодыми? И на фронте их убивали, и в тылу, и гноили в лагерях. Ну, живучие! «Старшие могут вовлекать молодого человека в общественную жизнь»,— пугает Ю. Щекочихин. В общем, взрослые так, оказывается, замучили юных, что художник вынужден или «противопоставить себя общепринятым культурным нормам и удалиться от дел... или предать свое возрастное сословие» (Ворошилов).

Но нет, не удалось идеологии, старшим, государству притеснить художника. И герой игровой ленты «Взломщик», артист рок-ансамбля Костя кричит, выбивая стекла трамвая: «Я без этой жизни не могу! Всех нас изменить уже нельзя, нас можно только уничтожить! Уничтожить. Ты понял?!» После лент о плохих взрослых и смелых молодых хочется убивать, убивать этих старших, их государство взорвать и всё вокруг. И взрывают, и убивают. Очень велика в этом заслуга нашего кинематографа и руководящего им Союза кинематографистов.

С таким багажом пришло советское киноискусство к дням сегодняшним. Как же сейчас окончательно определились позиции?

КОГДА МАСКИ СБРОШЕНЫ

Хотя в решениях V съезда Союза кинематографистов говорилось о поддержке им ленинского курса КПСС, маски были очень скоро сброшены.

Да и могло ли быть иначе? Стоило проследить за многолетним кино-издевательством над Россией, над русскими классиками, стоило понаблюдать за перекошенными от восторга физиономиями кинематографистов, прорвавшихся на просмотр очередной американской модной ленты, чтобы твердо понять: капитуляция перед «дядей Сэмом» свершилась в душах советских кинематографистов весьма давно и поистине пророческой оказалась давняя картина Л. В. Кулешова «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924 г.), где американскому бизнесмену бандитская шайка с помощью инсценировок демонстрировала «немытую Россию», а главарь шайки, Жбан, «обнажал голову перед флагом культурнейшего из государств мира» (естественно — американским). Ну буквально сценки из сегодняшнего Дома кино, где показывают толстосумам кино-ужасы «тоталитарной России» и млеют перед американским флагом.

Еще бы. Американские киномонополии давно взяли под свой контроль кинопроизводство и кинопрокат на большей части земного шара. Противостояла их экспансии лишь советская кинематография. Меж тем давно известно, что проникновению экономическому и превращению той или иной страны в сателлита США должна предшествовать агрессия идеологическая. «Следует начинать с отрицания идеологии вообще, объявив ее жандармом свободы. Следует объяснять людям, что путь к демократии лежит через деидеологизацию». «Пропаганда — острие первоначального проникновения, подготовка населения территории, избранной для вторжения. Это первый шаг, затем вступает в действие пятая колонна...» Сегодня мы с вами можем убедиться, что эти инструкции ЦРУ не пустые слове. Еще ранее ценность этих советов поняли мудрые кинематографисты, межрегиональная депутатская группа, вся «Демократическая Россия».

И вот свершилось! В феврале 1991 года леворадикальная пресса с восторгом сообщила, что Союз кинематографистов СССР вступил в «ДЕМОКРАТИЧЕСКУЮ РОССИЮ»!, не скрывающую стремления взять власть, истребить идеологию социального равенства, коллективизма и антикапитализма, установить капитализм, развалить «империю зла», разогнать советы. А так как неизбежно сопротивление,— установить фашистские диктаторские режимы в остающихся от страны разрозненных территориях. То есть тот самый Союз кинематографистов, который вместе со всеми

«плюралистами» требовал «деидеологизации», «департизации», «плюрализма» и т. п., как выясняется, мечтал лишь об одном — искоренении одной идеологии, его не устраивающей, и установлении буржуазной. И ник-как-кого «плюрализма»! Можно разгримировываться! Пришел новый хозяин!

Вот для чего нужно было многолетнее кино-оплевывание многовековой истории народа и гениев России. Вся эта кино-«чернуха» служила целям внедрения в сознание людей идеи бесперспективности государства. Нужно было, так сказать, «расчистить площадку» и радостно указать: «Видите? Пусто. Берите и владейте!» И, анализируя фильм Киры Муратовой «Астенический синдром», киновед пишет: «...темой ...становится социальная агония общества... состояние «клинической смерти».

Кино-похороны советского общества совершаются под траурную музыку лент и киноведческих причитаний по главным виновникам «агонии» — русскому народу и его государству. Как сообщает в «Искусстве кино» М. Эпштейн, ничего и не могло хорошего получиться у народа, «страдающего хандрой, его этнической патопсихологией» (это иллюстрируется в многосерийной ленте «Дубровский», где единодушно завывают в пьяной тоске Троекуров и его слуга): ведь «чувством тоски сродняются ямщик и барин... Пустота — неутолимый наш соблазн, сама блудница вавилонская, раздвигающая ноги на каждом российском распутье».

Символическим образом этой России-блудницы стала воспетая у нас и за рубежом «Маленькая Вера», не оставляющая никаких надежд на спасение этноса с патопсихологией: «Семейство как бы обречено смерти, все они готовы к смерти потому что уже мертвы» (критик Г. Масловский). «...Внутренний пафос этого фильма, пользуясь лексикой героев картины, можно было бы выразить так: в гробу мы видели всякие идеологические монополии... Идеологический культ неприемлем для авторов фильма... Похоже, что антиидеологизм становится своеобразной доминантой кинопроцесса»,— пишет критик Л. Карахан. Вы замечаете, читатель, как быстро все стареет. Только что на все лады киноведение воспевало деидеологизацию. Но успехи «Дем. России» оказались столь решительными, что пора переходить от деидоологизации к — идеологии нового класса.

Правда, менее изысканно по поводу этапного произведения новой советской (советской ли?) кинематографии, пишет зрительница Р. Ч. из Рязани. Рассказывает, как пошли они с дочкой смотреть «Маленькую Веру»: «После кино нам с дочкой неловко смотреть в глаза друг другу. Я всю жизнь учила ее целомудрию, стыдливости, порядочности, наконец, воспитывала на лучших книгах и... привела на такое кино. Всё. С тех пор больше не ходим...»

Но имеет ли какое-либо значение для кино-сверхчеловеков мнение этих «плебеев»? Ведь «трем из четырех ныне живущих поколений (исключая юное) уготована судьба стать перегноем истории»,— любезно поясняет киномыслитель Лев Рошаль. И кино-мысль как самое мощное свое идеологическое оружие всеми способами осуществляет

ВНЕДРЕНИЕ СМЕРДЯКОВЩИНЫ

Действительно, они понимают, что именно РУСОФОБИЯ ныне одно из надежнейших средств развалить союз, развязать гражданскую войну, о необходимости которой учил Лейба Бронштейн. И многие фильмы и статьи напоминают известные размышления Смердякова из «Братьев Карамазовых»: «Может ли русский мужик против образованного человека чувство иметь?.. Я всю Россию ненавижу... Хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с».

Один из самых удачных, по мнению «демросов» (будем так для краткости именовать кинематографистов, преклонивших выю пред «Демократической Россией»), метод русофобии — замалчивать, что у русских что-то было хорошее. Скажем, эффективно не экранизировать «Тараса Бульбу» или «Василия Тёркина» (предпочитая Чонкина), «Севастопольские рассказы» или «Порт-Артур», не снимать фильмы о героях Куликовской битвы или отечественной войны 1612 года, о героях 1812 года о Пушкине или Тютчеве. Если создаешь «документальную» ленту о «лапотной» России, то не приводить цифр ее развития в начале века.

Если появятся удачные экранизации — «Подросток» Е. И. Ташкова или «Несколько дней из жизни И. И. Обломова» Н. С. Михалкова, то или замолчать ленту, или огорчиться, что она не по Добролюбову. А если рискнет Николай Бурляев снять первый в истории мирового кино фильм, с уважением говорящий о русском писателе («Лермонтов»), то выстрелить в него 6×6=36-ю отрицательными рецензиями еще до выхода ленты на экран. «Всё, мол, в наших руках! Знай, на кого руку поднимаешь! На Николая Соломоновича Мартынова!»

Вообще, замечу, защита исторических, и не только исторических, негодяев, немало зла причинивших России,— одно из главных хобби «кино-демросов». Ю. Богомолов искренне обижен за Гришку Отрепьева, показанного в фильме С. Бондарчука «Борис Годунов» менее импозантным, нежели царь. Б. Окуджава, М. Козаков и другие персонажи ленты «Храни меня, мой талисман» Р. Балояна мечтают о фильме про душку Дантеса. И чтоб без всякого Пушкина! Критик Л. Аврутина, опираясь на фильм «Оно», изображающий «абсурд нашей истории», ее «дурацкий балаган», так характеризует россиян: «Не люди — людишки. Божьи твари, обделенные разумом... Рабы! Насквозь и безнадежно...»

В произведениях «демросов» о России есть два, условно говоря, мира: вызывающая омерзение толпа русских, удел которой — монотонный труд, и избранные, способные к творчеству. В ряде случаев один из избранных — автор — находится за кадром, но его холодное презрение к

копошащимся под ногами «гоям» ощущается весьма определенно.

Окончательное решение «русского вопроса» пришло наконец во время «круглого стола» в редакции журнала «Киносценарий». Большую лепту внес критик Ст. Рассадин, сообщивший приятную для «стола» новость: «русского народа просто не существует». Куда же делся? А-а, вот почему: «...он поставлен в положение империального народа... и ему внушили самое калечащее сознание, что он первый среди равных, что он старший брат и т. д. Мне, например, в Прибалтике или где бы то ни было (очевидно, в США, Японии.— Ю. Д.) всегда стыдно...» Отчего ж такие муки маститого русофоба? Пора бы уже перестать страдать, Ваша позиция хорошо известна. Но хочется Ст. Рассадину помочь мировому сообществу: «Я считаю, что лучше бы нам не думать, что такое русский национальный характер, лучше бы нам не продолжать этой линии обособления». Действительно, если еще и русские будут думать о своем национальном характере, то ужас что может произойти! Могут и камнями забросать! Избави бог! Но каков же выход из тяжелого положения «имперского народа»? Что еще мешает, кроме дум о национальном характере? О, у Ст. Рассадина выношенная программа: «...задача русского кинематографа — не ощущать себя русским». Но это, собственно, на 99 процентов так и есть! Последний процент прихлопнуть? Бу сделано! Что же еще прикажете, г-н? Пожалуйста: «...отвечать за то, в чем не виноват. Без этого комплекса безвинной вины в России ничего не получалось». Это мы сколько хочешь, отвечаем! На своей шкуре ваши уроки чувствуем! Еще-то что? Громить, понятно, «почвенническую шваль». Да чисто вокруг, барин. Одни «демросы» с плакатами и автоматами.

М. Ромадин сообщил: «Художник не выражает стиль государства, не выражает национальных черт, он выражает нечто противоположное». Ну да, это мы каждый день на экране видим. Но все же поконкретней. «Художник по национальности кем бы он ни был... принадлежит одной-единственной национальности: он безродный...», — вот так разъяснил философ К. Свасьян. Батюшки, думаю, сколько было шума по поводу безвинно обвиненных в «безродном космополитизме». Подвел, выходит, Сталина пророческий дар. Не в ту эпоху попал. Сказал бы про «безродных» нынче — никто бы не обиделся, справку бы просили, что «безродный»,— для облегчения выезда за рубеж.

Точку на русских поставил режиссер Э. Рязанов, сообщив, что «...в будущем ничего не светит... Нужно разрушать до основания». «...Для меня самое страшное,— дополнила А. Гербер,— это фильмы, которые выявляются как чисто русское направление в кино».

Вот это действительно сказано от души! И ведь как успешно применяется! Скажите, читатель (я обращаюсь в первую очередь к молодым). Вы знаете фильмы поэта экрана Александра Довженко? Ивана Пырьева? «Молодую гвардию» и другие картины Сергея Герасимова? «Уроки французского» или «Подросток» Евгения Ташкова? «А у нас была тишина» В. Шамшурина? «Целуются зори» Сергея Никоненко (по «Бухтинам» Василия Белова)? «Монтер», «Однажды 20 лет спустя» Юрия Егорова? «Дерево Джамал» Ходжакули Нарлиева? «Влюблен по собственному желанию» режиссера Э. Микаэляна, где неказистая, даже смешная Вера (Е. Глущенко) пытается спасти и спасает (!) от отупения молодого рабочего Игоря Брагина (О. Янковский)?

Вы знакомы с классикой русского неигрового кино, такими выдающимися кинопроизведениями Бориса Карпова и Павла Русанова, как «Слово об одной русской матери» (об Епистимии Федоровне Степановой и девятерых ее сыновьях, отдавших жизни за нашу Родину), как «Сергей Есенин»? Видели ли такие поэтические ленты, как «Сердце солдата» (как спас и усыновил погибавшего немецкого мальчика советский воин), «Роменская мадонна» (как спасла и усыновила в годы войны 48 детей Александра Деревская; фильм был удостоен главного приза международного Лейпцигского кинофестиваля), «Генерал Петров» (о подвиге воина, оставшегося без рук, но продолжающего служить Отчизне), которые создал Анатолий Слесаренко? Знакомы ли с картинами сибиряка В. Кузнецова «Плотина», «Русский узел», «Предчувствие»? А может быть, вам знакомы сказки Александра Роу, об одной из которых, «Морозко», видный деятель кино Сидней Поллак сказал, что, «к сожалению, такую картину трудно было бы сделать, несмотря на гигантские возможности американского кино. Сотворить подобную атмосферу чуда, чистоты, доброты, основанную на человеческих отношениях, сейчас вряд ли возможно...»

То есть на новом, нынешнем, этапе кино-русофобии не только громятся последние русские мастера, не идет поиск талантов в российской «глубинке», не только шельмуются фильмы классиков русского кино, но даже и эти немногие ленты вам не дадут увидеть. И объяснят: «Рынок-с... Господин Таги-Заде велел по 150 американских картин заказывать на год-с — они лучше идут-с». Таким образом, на корню уничтожается все, что могло бы с экрана напомнить нации о ее существовании. И ведь все довольны при этом: и «верха», что «антисемитов» истребили (так ныне величают тех, кто не вздрагивает при слове «русский»), и «четвертая власть» — что не надо силы тратить на уничтожение уже уничтоженного. Только вот, увы, недобитых несколько писателей осталось... Поэтому те, кто еще на что-то надеется, заклеймены как

ПРОКЛЯТЫЕ ЛИТЕРАТУРОЦЕНТРИСТЫ

Один из самых излюбленных транспарантов деидеологизированно-демросовского киноведения: «Долой литературу!» Почему? Еще в конце 70-х годов С. А. Герасимов, человек энциклопедической культуры, утверждал необходимость гармонии традиции и новаторства, отмечая при этом определяющее значение литературы для

развития кинематографа. Выявляя те негативные тенденции, свидетелями развития которых мы являемся, Герасимов предостерегал: «Тут же угодливо, на подхвате, пристроилась теория деструктивного кинематографа, где принцип разрушения, возведенный в ранг единственной добродетели века, с презрением отшвыривает все нравственные ценности, обрекая их на уничтожение вместе с человеком и самой природой. Теория деструктивного кинематографа широко исследуется в книге модного американского искусствоведа Амоса Фогеля «Кино как разрушительное искусство». Концепция этого исследования свидетельствует, что разрушительная власть кинематографа зиждется на разрушении его литературного начала, и это, разумеется, наиболее последовательное отражение всей сущности деструктивного принципа. Прежде всего избавиться от литературы как наиболее прямой идеологии, отделить искусство от сознания (разрядка моя.— **Ю. Д.**), опровергая таким образом всю логику нажитых человечеством нравственных и эстетических ценностей, высвободить человеческие страсти, с тем чтобы он, человек, вступил на путь активного, ничем не сдерживаемого самоистребления».

Трагически оправдываются ныне эти предостережения кинорежиссера. С нашего экрана давно исчез «поиск человека в человеке», глубокое проникновение в психологию. Он демонстрирует глубокое равнодушие к изображаемым персонажам. Маски, воцарившиеся на киноэкранах,— агрессивный и примитивный злодей, тупой милиционер, секс-красотка, рокер и т. п., как и фигурки из паноптикума,— однозначны. Любопытны лишь их схватки, совокупления и т. п. Естественно, что у фигурок нет и не может быть идей, совести, идеалов. Все заключено лишь в авторе. Один из режиссеров, В. Грунин, замечает: «...в искусстве есть только один «кит» — автор. Для меня человеческий характер, воспроизводимый в фильме, не представляется некоей абсолютно неприкасаемой ценностью. Вспомним, как действует бактериофаг. Он влезает в бактерию, поселяется в ней и разрушает ее. Я пытаюсь действовать так же...» Поэтому естественно, если киномир творит киноавтор, «не оскверненный литературщиной, идеологией, логикой» (М. Черненко), то смена вех может совершаться без особых затруднений.

Но почему же так дорого демрос-киноведению и кинопрактике это обессмысливание? Дело в том, что даже малейшее прикосновение к опыту литературы, к ее нравственным посылам, к ее пытливому, до исступления, интересу к тайникам человеческой души, к ее л ю б в и к человеку наносит действительно непоправимый ущерб искусству кино-шахмат, кино-грязи.

Довольно откровенно об этом пишет критик Ю. Богомолов, говоря о «краеугольном камне преткновения: литературоцентризме». Он, по его мнению, «позволяет образовать нечто вроде Неформального Института Жрецов, в обязанности которого входит хранить и оберегать высокий уровень «культуры». Вот где она, ужасная опасность! Упаси боже! Это представить себе невозможно даже и в страшном сне: «высокий уровень культуры». В наказание Ю. Богомолову, что ли, такие кошмары?! С дрожью в голосе перечисляет бедный критик эти напасти: «идеологическая чистота», «национально-патриотическое бдение» (так и слышится скрежет зубовный критика, оскорбленного в своих лучших русофобских чувствах); «идеология», «социалистические идеалы» (нет чтобы «капиталистические»!), патриотические чувства» (о ужас!), «национальные сокровища, духовные реликвии, духовное и душевное здоровье народа». Критик с отвращением отбросил ручку, посмевшую написать такое, вытер руки и достал с заветной полки инструкцию В. Шкловского «Как ставить классиков», украшенную «звездой Давида» и свастикой. Прижав эту книгу-библию к груди, шептал наизусть заветные строки. Обретя новые силы для борьбы против «высокого уровня культуры», он принялся строчить дальше, с робеспьеровским пафосом пригвождая к позорному столбу нечестивцев, которые смеют еще выходить с этими «идеалами» «как с хоругвями».

Чтобы успокоиться, критик вставил в плэйер-монитор кассету с любимым советским фильмом «Псы», где воистину может отдыхать его душа. Волки-людоеды пожирают в пустыне людей-людоедов. И вот в живых остаются лишь двое. Это уже не люди, а одичавшие звери. Нечеловеческий вой несется над Мертвым городом... Ю. Богомолов устроился поудобнее, чтобы насладиться финальными кадрами, в особой мере лишенными всяких «реликвий» и «душевного здоровья». Немного полегчало.

Но мысленно он все же возвращался к ненавистным «хоругвям». «Душевное здоровье народа»? Ха-ха! Не видят, что ли, проклятые «черносотенцы», что никакого народа нет! Это сказал, кроме Ст. Рассадина, и сам Г. Померанц! «Сознание народной правды, народной обиды и народной мудрости, и народной замкнутости на своих народных интересах,— писал «великий»,— стало такой же смертельной опасностью, как эгоизм класса». Какое счастье, что есть у нас Г. Померанцы! Что бы мы без них делали? Так и блуждали бы в потемках, всё верили во всякие «народность», «народная мудрость». Да быть ее у «вечных рабов» (спасибо, Сахаров с Гроссманом вразумили) не может. На кого же вся надежда? Ясно, не на народ же вшивый. «Развитая личность, стоящая на уровне задач атомного века, скорее даст правильный ответ, чем большинство, ибо ...народе нет...»

Немного отдохнув на «Псах» и еще одном советском фильме, «Семья вурдалаков», демрос-критик принялся объяснять пагубность фильмов, на которых воспитывались поколения, спасшие мир от фашизма: «они означали победу множества над единичным» (а главное ведь,— это сейчас все знают,— судьба меньшинства, например сексуального!— **Ю. Д.**)

Чтобы окончательно уничтожить попытки возродить мифы о «литературе», «высоком уровне культуры», «духовном здоровье народа» и прочих вредных вещах, руководство «стоящих на уровне» решило проблему кардинально. Из редколлегии журнала «Искусство кино» были выведены народный артист СССР, лауреат Ленинской премии С. Ф. Бондарчук (его вывели и из коллегии Госкино СССР, руководимой А. И. Камшаловым); доктор искусствоведения, профессор Р. Н. Юренев, В. Е. Баскаков (он был отстранен и от руководства ВНИИ киноискусства, его место занял «киновед» А. Адамович); из руководства ВНИИ киноискусства был изъят доктор искусствоведения, профессор, крупнейший специалист в области документального кино С. В. Дробашенко (он был заменен «киноведом» А. Нуйкиным). И т. д.

Да и можно ли было терпеть в Союзе кинематографистов или в Госкино СССР человека, который последовательно, из фильма в фильм, экранизировал русскую классику? Можно ли было оставить в журнале «Искусство кино» профессора Ростислава Юренева после его статьи «На экране — национальный характер (О русском герое в советском кино)», где он посмел сказать, к примеру, что в героях 30—40-х годов, сыгранных Н. Крючковым, Б. Андреевым, П. Алейниковым, раскрываются многие грани характера русского трудового человека, а именно — рабочий азарт, гордость своим мастерством, совестливое отношение к обязанностям, взаимопомощь, а также удаль, упоение силой. О ужас, что он писал, этот Юренев! Прошу слабонервных зажать уши: «Словно в торжественном марше, за рядом ряд — лица русских людей. Русский народ встает передо мной. Русское кино создало правдивый и многоликий портрет своего народа... с его силой и широтой, с его мягкостью и лиризмом, с его стремлением к справедливости, к победе совести и добра». Да его сразу надо было расстрелять за такое мракобесие! Небось в обществе «Память» плохих книжек начитался!

Вот убрали этих «народопоклонников», «славянофилов» из редакции «Искусства кино», зато теперь здесь одни с в о и люди: главный редактор К. Щербаков («Мы будем сопротивляться как сукины дети... глотки нам не заткнуть»); В. Дмитриев (озабоченный «сексуальным моментом» и его пропагандой); режиссер Е. Цакаван (что «продолжает искать и находить новые доказательства нравственной чистоты Зубра»); философ В. Толстых («Есть что-то нездоровое в призывах к нравственности...»); знакомые уже нам. А. Гельман, Г. Франк, горячо надеющиеся на то, что будут реализованы

МЕЧТЫ ВСТУПИВШИХ В «Д Е М Р О С»

Главное — неустанно внушать тупым массам необходимость «частной собственности и свободного рынка» (А. Гельман); необходимость и естественность разделения людей «на богатых и бедных» (он же); необходимость «смены или вытеснения существующей социальной системы принципиально другой», причем «переход от социализма к какому-то другому строю вряд ли будет галантным, без драм. Но кто обещал возвращение к капитализму без жертв?» — в печатном органе Госкино СССР, руководимом бывшим функционером ЦК КПСС А. И. Камшаловым.

И ник-как-кой пощады сопротивляющимся! «Как быть с консерваторами?» — грозно вопрошает на страницах журнала «Искусство кино» А. Гельман и строго инструктирует: «...Не успокаиваться до тех пор, пока хоть один консерватор подает голос». Хоть один! Хоть пол-консерватора (пионер)! если он вдруг не хочет в капитализм! «Того, у кого клокочет в горле тост за дружбу народов, шлагбаумами удержать немыслимо»,— предостерегает А. Нуйкин.

«У нас в запасе нет вечности,— торопит А. Гельман.— Где выход?.. выход один — восстание разума...» (вспомним предрекавшийся Троцким в 1924 году период открытой гражданской войны, после которой-то «только и начнется настоящее строительство культуры» гельманов, «сукиных детей» и пр.). И «демросы» от кино к гражданской войне «всегда готовы»! «...Не исключено,— творит свой суд критик А. Шемякин,— что нам еще придется пережить «сечу при Керженце» между «созидателями» и «разрушителями», после чего выяснится неготовность народа к самоуправлению». Есть уже и фильм «В преддверии гражданской войны».

Что там несчастный рабочий, осужденный за то, что осмелился высказать свое мнение о сионизме (и погибший затем в тюрьме)! Тут целый Союз кинематографистов из года в год призывает к гражданской войне, к реставрации капитализма, к избиению инакомыслящих — и никому дела нет! Действительно вакуум власти. Или скрытое поощрение.

Разгромили государство, разогнали воевод... Вообще-то я посоветовал бы борцам с «шовинистами» и «почвенниками» обратить свои взоры на действительно закоренелых шовинистов. Скажем, на Японию, где каждое утро начинается с гимна в честь государства и фирмы. Вот ведь где они окопались, «рабы государства»! Вот откуда их трудолюбие... Тьфу, не угожу так. Ладно, езжайте в США, наплюйте в глаза школьникам, студентам, молящимся на свой флаг. Ведь его надо разделить на 49 флагов, государств и президентов. Облейте презрением китайцев, не собирающихся вроде бы пока разваливать свою «империю».

Одна из главных задач кино-демросов — окончательно подавить сопротивление всяких «патриотов». Беспрерывное сведение киноведами счетов с Ниной Андреевой заставило меня вновь прочесть ее статью и действительно ужаснуться фантазиям о «духовных последователях Троцкого», «потенциальных советских миллионерах», о «проповеди прелестей капитализма», о «воинствующем космополитизме». Вот до чего доводит «сталинистов» их неприязнь к подлинной демократии!

Разгромив них андреевых, кожиновых и прочих, надо ведь и перспективы какие-то обрисовать перед бывшим советским, ныне оккупированным «демросом» населением. Это пожалуйста, тут всегда наготове киновед Л. Карахан: «...Идея стать на время американской колонией (были же в конце концов варяги) представляется не такой уж безумной». В самом деле. Ведь на

время же! Побудем-побудем колонией, а потом опять Россией! Ладушки?

А что делать с теми, кто еще в затылке чешет, даже задумывается? А их надо превратить в скотов, побольше им эротики, жестоких сцен насилия, вестернов, мюзиклов, полицейских драм, «триллеров». Полезно также «примерить на себя н е г е р о я, с л а б о г о человека... отступника» (кинокритик А. Трошин).

Очень нужны фильмы вроде «Дней затмения» А. Сокурова, из которых следует, что «все безнадежно и мир обречен».

Особые надежды возлагаются на «параллельное кино». Один из представителей этого течения, режиссер Е. Юфит, «перенес метаморфозы крупных изменений человеческого тела на тело киноискусства: полуразложившаяся пленка, небрежный монтаж, герои — либо трупы, либо самоубийцы, либо полуживые люди» в сопровождении песенки: «Наши трупы пожирают разжиревшие жуки, после смерти наступает жизнь что надо, мужики!» «Люблю трупаков в состоянии позднего распада,— признается автор фильма,— жировоск, гнилостная эмфизема, торфяное дубление. Все это находит отражение в моих фильмах».

Обещано нам и «перпендикулярное» кино. Это в первую очередь фильмы о сексуальных меньшинствах. Мы познакомимся не только с жизнью гомосексуалистов, лесбиянок (один из первых фильмов: «Захочу — полюблю»), некрофилов (любителей трупов; создана игровая картина Н. Репиной «Грань», где знакомимся с трупоположеством в морге), «педофилов» (предпочитающих детей), «зоофилов» (поклонников животных, тематика еще разрабатывается) и т. п.

Соответственно растет число лент, посвященных другому меньшинству — богоизбранному «малому народу», его красоте, мужеству в борьбе с русским тоталитаризмом: «Шапка» по В. Войновичу; воспетый «Комиссар» А. Аскольдова, «Попугай, говорящий на идиш» Эфраима Севелы, «Закат» А. Зельдовича, «Изыди!..» Д. Астрахана, «Куколка» Исаака Фридберга; «Дамский портной» А. Борщаговского и Л. Горовца, где Исаак — И. Смоктуновский, Соня — Т. Васильева; «Биндюжник и король» В. Аленикова — по Исааку Бабелю (герой этой предельно пошлой ленты плюет русским в лицо) и т. п. Готовятся и фильмы-«антиутопии» типа «Невозвращенца» А. Кабакова, где предсказывается, как будут мучить «богоизбранных» гои «в черных поддевках». В руке у каждого будет «аккуратно выструганный светящийся в темноте свежим деревом кол». Главари «витязей» разъезжают по Красной площади на белых конях, а рядовые черносотенцы в очередной раз взрывают памятник Пушкину.

Большие надежды возлагаются на помощь американского конкурса Хартли-Меррил, на его образец — сценарий И. Квирикадзе «Американская шлюха, или Путешествие по России с папой-алкоголиком». Из него мы наконец узнаём, кто был «Ленин» (артист, изображающий на демонстрациях Ленина). Однажды пьяный Ленин стоит на броневике, начинает расстегивать ширинку брюк и лить струю. «Рабочие, готовые идти на свержение царизма, отбежали от броневика и с недоумением смотрят на неприличное поведение Великого Вождя». Мы узнаём также про героя: «Твоя мать была (...)!» Дальнейшее цитирование невозможно в связи с тем, что не все наши современники достигли высот нравственности журнала «Искусство кино». Ставим многоточие и отсылаем интересующихся к журналу (№ 1 за 1991 год).

Хорошо идут за рубежом и фильмы вроде «Наблюдателя» и подобных, показывающих, как страдают эстонцы от проклятых русских.

Могут принести валюту и картины, которые показывают грязь и скотство Руси и ее вождей. Так, в картине «Кремлевский треугольник» мы узнаём, как насиловал царь Иван Грозный жену своего сына Ивана, как слышал это под дверью сын. Хоть знаем теперь, почему кровопийца и развратник юношу убил. На основе этого 35-тысячного эскиза планируется создание картины более чем за миллион, шире и подробнее показывающей подлинное лицо «империи зла».

Это лицо поможет увидеть фильм Ю. Мамина «Бакенбарды», где убедительно показано, что если в каком-нибудь городке появятся любители Пушкина, да будут носить цилиндры и крылатки, да читать его стихи, да заменят в городе надоевшие призывы строками Пушкина, то... Как вы думаете, читатель? Вовек не догадаетесь. Сие означает... Слушайте! Что движение пушкинистов неизбежно станет... фашистским. Мораль прозрачна. В стране неисправимых шовинистов любое объединение русских — во зло.

Благодаря расцветающему искусству «метакультуры сопротивления», «чернухи» создается ложь о нашем народе. Просматривая эти фильмы, «верха» и «низы» как бы смотрятся в кривое зеркало, видят себя искаженными, но вместо того, чтобы сменить зеркало, они начинают перекраивать свою физиономию. «Экран заполнили рэкетиры, проститутки, дельцы, жулики всех мастей,— говорил в своем последнем интервью замечательный актер Николай Рыбников,— а вот для настоящего нашего современника места на экране не находится». Да, сегодняшний советский кинематограф откровенно стал орудием р а з р у ш е н и я и особенно опасен для неокрепшего сознания. Призывая к анархии, к восстанию, к смене политической системы, давая уроки порнографии, проституции, гомосексуализма, жестокости и насилия, предрекая и готовя неминуемую гибель страны, призывая к ее развалу («прошлое наших республик было во многом таким зависимым, унизительным, бесчеловечным, что оно дает людям полное моральное право помышлять об отделении. Это выстраданное право, его никто не должен сметь отрицать или замалчивать» — тот же А. Гельман), кинематограф сегодня в большей своей части стал откровенным в р а г о м советского общества, врагом народов нашей многонациональной страны. И никакого в этом обвинении нет «37 года», ибо тогда не хозяйничали в стране миллионеры, зарубежные капиталисты, сепаратисты, антисоветчики. Сегодняшний «демросовский» кинематограф и его глашатаи — это фактически та самая «навозная жижа распущенной опустившейся «поп-масс-культуры», о которой пишет А. Солженицын, добавляя: «И наше нынешнее телевидение услужливо разносит те нечистые потоки по всей стране»,— что тоже звучит сегодня весьма актуально.

И страна, в целях самосохранения, должна закрыть эти отравленные потоки, особенно непоправимый урон наносящие молодежи.

К сожалению, это вряд ли удастся, так как орган Союза кинематографистов и Госкино СССР — журнал «Экран» (1991, № 4) категорически возражает против проекта указа Президента СССР «О первоочередных мерах по пресечению пропаганды насилия, жестокости и порнографии», ибо борьба с растлением людей — это, оказывается, «рычаг... для того, чтобы устранять неугодных, чтобы всех держать в вечном напряжении... плод недомыслия... выкидыш... грозит окончательно разбить лоб и нашей культуре, и нашей нравственности». Думается, это надо записать золотыми буквами на Доме кино — на мраморной доске: «Борьба с порнографией — главная угроза культуре и нравственности».

А пока журнал «Искусство кино» подготовил специальный выпуск, посвященный окончательной грядущей победе массовой культуры. «Фильм катастроф, фильм ужасов, эротический фильм — встряска за встряской», — молится об их господстве на нашем экране В. Вильчек. «Меня не смущает даже порнография как масс-культура... А вот Достоевский был удивительно несексуальный писатель. Мне кажется, он ужасный лгун» (В. Ерофеев).

Большинство средств массовой информации дружно восхваляют «навозную кино-жижу» и порой дают инструкции по бóльшему зловонию. Вот одна из таких инструкций. «Знаменитый французский певец Серж Гинзбур снял фильм о любовных, в том числе и откровенно постельных, отношениях престарелого отца и его 14-летней дочери, которая ревнует его к своим школьным подругам — с ними он тоже всегда не прочь поразвлечься. В роли героя Гинзбур снялся сам, а в роли дочери снял свою родную дочь... Американский масскульт создает некую транснациональную культурную среду... борьба с американским натиском бессмысленна»,— просвещает нас критик Л. Карахан. Надо надеяться, вскоре появится и советский вариант этой кино-мерзости. В режиссеры можно было бы пригласить Е. Евтушенко, он ведь тоже знаменитый.

* * *

Мы с моими «соавторами» — ДЭЭРовскими киномыслителями — пытались показать, как закономерно советский кинематограф сменил розовый цвет на черный и оказался в услужении нарождающемуся капиталу. Мафия обслуживает мафию. «Жопа! Жопа! — кричат нам с экрана.— Говно на лопате» («Рябина на коньяке»). Вот это самое г... на лопате — яркий образец сегодняшнего кинематографа, окончательно обнажившего свою звериную русофобию, цинизм, оказавшегося рупором буржуазной идеологии. Мы хоть знаем теперь, какие таились в душах кинематографистов мечты о надругательстве над советской страной, над русским народом, над отечественной культурой, над моралью и нравственностью.

И все же они просчитались. Надолго превратить страну Ивана Сусанина и Пушкина, Пересвета и Осляби, Сергия Радонежского и Достоевского в скотов — невозможно. Стоит только прочесть хоть часть писем тех самых зрителей, что «разоблачены» в сотнях киноведческих выступлений. Так, рабочий Г. Кокунько из Москвы пишет: «Спасти мир, человечество от катастрофы может только высокое искусство, красота — а к ней искусство сегодняшнего дня должно человека поднимать, тянуть вверх. Любое же псевдоискусство, обращающееся к животным инстинктам человека, опускающееся до низменного уровня,— оно как раз и порождает духовно неразвитых людей».

И надежды наши не на растерявшиеся, коррумпированные власти или депутатский корпус, где шесть процентов рабочих и крестьян. А на трудовую Россию и ее интеллигенцию. И опорой — наша великая отечественная история, философия, культура.

А пока... русские фильмы нужно заказывать за рубежом. Или (тоже маловероятная вещь) попросить у людей пожертвования на создание хотя бы одной русской киностудии.

КРИТИКА

Круг чтения

ГЛЕБ ГОРЫШИН

Сегодня. Вчера. Всегда.

ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ.
«Сорокоуст».
Лениздат. 1990.

Сорокоуст — поминальная молитва по усопшему на сороковой день. Глеб Горбовский вынес это слово в заголовок новой книги, освободив его от литургийного чина, как бы заново найдя, удивившись дивному звуку:

> Какое сказочное слово —
> Сорокоуст! Букет из губ.
> Не смысла груз, не грусть основа —
> мне строй его музыки люб.

Стихи, включенные в книгу, приурочены поэтом к трем временным ипостасям: сегодня, вчера, всегда. Книга снабжена подзаголовком: триптих — три картины одной руки. Конечно, картины чем-то отличаются одна от другой. Всеобъединяющее «всегда» вобрало в себя существенно важное для поэта, че однажды им высказанное: я ни от чего не отрекся, не примирился сегодня с тем, что ранило душу вчера, поклонюсь тому, что свято было всегда и пребудет во веки веков

Я думаю, у Горбовского есть не только внутренняя потребность в таком самоутверждении, но и серьезные — внешние — поводы объясниться. Вспомним, как рьяно «разбирали» поэта его маститые «сотоварищи», критики, окололитературная «мелочь» — на Горбовского «раннего» и «позднего», «бунтарствующего» и «покорившегося» и т. д. Так заведено, продолжается более двух десятилетий; в свое время Горбовского укорял в «успокоении» Евтушенко, совсем недавно тот же яд излился во вступительном слове некоего Топорова — к публикации «раннего» Горбовского в «левой» газете «Смена». Представление поэта, кажется, вполне доброхотное, а внутри яд: был поэт и весь вышел; яд изливается беспрепятственно, несть ему заслонки — и травит.

Новая книга — «Сорокоуст» дает возможность приобщиться к внутренней судьбе поэта — драматичной, импульсивной, исполненной борения с бесовством во всех его видах — и в итоге — к мудрости смирения перед тем, что превыше гордыни.

Чего нет и не было у Горбовского ни вчера, ни сегодня, так это политических деклараций, какой-либо «зазывности» — идти со мною во главе в ту или в эту сторону. Чего нет, того нет. Лирический герой Горбовского, его авторское «я», всегда выбирает себе точку зрения, взгляд на мир не уровне «худших», отвергнутых, обойденных силой и славой. Впрочем, и этот выбор не окончательный: Горбовский избегает заносчивых провозглашений. Хотя свое место поэта прекрасно сознает, будь то вчера или сегодня. Вчера он позволял себе поерничать, сегодня о том же самом умеет говорить спокойно, мягко, с нажитым правом наставительности — и, как всегда, в единственной, собственной, гармонизированной форме, «с железной примесью ума».

Вот, к примеру, его «вчерашнее» стихотворение о «месте поэте в общем строю», ставшее фольклорным в среде любителей поэзии Горбовского:

> На заборе, не при деле,
> на осеннем ветерке,
> люди лучшие висели —
> от плохих невдалеке.
>
> Фотографии поникли,
> пробрала их с ветром дрожь,
> И серьезные те лики
> поливал осенний дождь.
>
> А в квартирах в это время
> люди худшие, в тепле,
> потребляли чай с вареньем...
> Словом — жили на земле.
>
> А меж тем и этим братством,
> сам не свой стоял поэт...
> и решал: куда податься?
> Середины-то ведь нет!

В сегодняшних стихах тоже немало размышлений — «куда податься?», — однако насущный вопрос все более перетекает в медитацию, и если «взбодряется» в уме, то разве что перед лицом вечных ценностей бытия.

> Так как ты, да и я, да и вон
> не мудрее, чем воздух, чем снег.

Предполагаю, что в этом месте моего похвального слова Глебу Горбовскому авторы версии о двух Горбовских—дерзком и смиренном — схватят меня за руку: «Ага! Вот оно: сколько скрытого смысла, лукавства, озорства, раскрепощенности, если угодно, политической сатиры в стихе раннего Горбовского, как не боится он бросить вызов системе... И как у позднего все уклончиво, вяло, общо...»

На что я отвечу: читайте, читайте Глеба Горбовского, новую его книгу или любую на выбор — как у больших поэтов во все времена, у него есть пронзающие душу поэтические откровения, философические максимы, ошеломляющие метафоры, живопись, музыка — и есть навык, мастеровитость, потребность в завершенности, выделанности. Чего у него никогда не бывало—так это служебных, неискренних, по заказу, непоэтических строк. Поэзия Горбовского содержательна, к ней приложимы общеупотребительные, похвальные: «современна», «злободневна» и — всегда победительна именно как поэзия, обращена к эстетическому чувству, воздействует поверх содержания самим звучанием стиха. Как говорили в старину, пленяет.

> Всё постепенно: красота
> подспудно зреет в юном лике,
> цветок на куполе куста,
> тревога в журавлином клике,
> всё, всё — внутри нас и вокруг —
> заботе внемлет безупречной:
> не перестраиваться вдруг,
> но — совершенствоваться вечно!

Это — сегодняшний Горбовский, элегический. Но и в элегии он полемичен: кому политики позарез не хватает — извольте! чем не антиперестроечное настроение?! Не в том смысле, чтобы взойти на трибуну, рвануть рубаху и — даешь! или: долой! Поэт приглашает к раздумию, постепенности, настраивает ваш дух на возвышенный лад, с камертоном в руке. То есть лечит душу поэзией.

А ведь, бывало, сыпал соль на раны, бывало. Давайте углубимся в чтение вчерашнего Горбовского. Важно заметить, что большинство стихов раздела «Вчера» в книге «Сорокоуст» печатаются впервые: такое время настало, сам поэт не потерял интереса к себе вчерашнему, редактор нашелся с пониманием (редактировал книгу «Сорокоуст», как и все другие книги Г. Горбовского в издательстве «Советский писатель», И. Кузьмичев, ему посвящено одно из стихотворений в книге). Так что «Сорокоуст» не только новая книга, итог, но и первое прочтение раннего Горбовского, новость даже для его давних почитателей (есть у поэта истовые радетели, собирали все написанное им под настроение, прочитанное в случайной компании; сам-то он в молодости жил как птица Божия — данной ему минутой). Стихи конца пятидесятых, шестидесятых, начала семидесятых уникальны хотя бы тем, что пафос «оттепельных» хрущевских и последующих лет в них выразился как бы от обратного, антипафосно, с гримасой. Ортодоксов «бытовой» Горбовский шокировал грубостью сцен и картин, снобам импонировал, но только отчасти: все же кондово-демократично... Гримаса в стихах Горбовского тех лет не для эпатажа, не «пощечина общественному вкусу», а — потому, что мучился сам. Поэт по-своему воплощал, выражал этот самый общественный вкус, трансформируя его талантом в бытовую фантасмагорию, хотя бы одним проводком соединенную со Вселенной. А если говорить о мировоззренческой почве, художественной ориентации — с запасом на судьбу — то в учителя себе Глеб Горбовский выбрал Федора Достоевского, с его «фантастическим реализмом». Изначально «почвенный» поэт, Горбовский в то же время и «петербуржец», весь, с потрохами, принадлежит сему «вымышленному городу».

Личная его судьба, или, как он любит выражаться, планида, кажется, вобрала в себя жестокость, бесчеловечность переживаемой нами эпохи. Увезенный перед войной — ребенком — на лето в деревню, Глеб оказался в первый же месяц войны на оккупированной территории, без родных (отец его в это время сидел в лагере, по 58-й); надо было стать волчонком, чтобы выжить... И он стал им. Потом годы беспризорства, армия, стройбат, объедки быта в питерских коммуналках, скитания по дальним окраинам, карьера грузчика в порту Москальво на севере Сахалина, побег с острова, без рубля в кармане, на третьей полке самого долгого поезда. Даже в средней школе Горбовский не доучился, сдал екстерном на аттестат зрелости. И — уличная богема, поэзия подворотен, забегаловок, выворачивающие душу кумпанства... (Обо всем этом — в собственном ключе, с необыкновенной памятливостью — Глеб Горбовский написал в автобиографической повести «Остывшие следы».)

Песни Горбовского пятидесятых годов (тоже включенные в «Сорокоуст») до сих пор поют, иногда не имея понятия об их авторе, вставляют в ретроспективные фильмы, ибо они вошли в городской фольклор, тотчас находящий отклик у толпы или у одинокой заблудшей души.

> ...Когда качаются фонарики ночные
> и черный кот бежит по улице, как
> черт,
> я из пивной иду,
> я никого не жду,
> я навсегда побил мой жизненный
> рекорд.

Помню, в те годы Глеб Горбовский мог взять в руки гитару... В его музыке и пении не было ни одной сторонней ноты. Однако невозможно представить себе Горбовского поющим с эстрады, у микрофона — бардом. Он изредка пел только для своих — решительно выбрал поэзию той ясности звучания, когда не нужен аккомпанемент.

В шестидесятые годы молодой Глеб Горбовский с поражающей легкостью — как дышал, — облекая в стихотворную

форму предметы жизненного обихода, ландшафты обитания, лики... то есть чаще морды — субстрат того мира, в котором жил, как будто произносил речитативом нескончаемый монолог «о времени и о себе».

Он всегда относился с уважением к тому, что почитал «нашим» (хотя, конечно же, и шутил). «Это вам не фешенебельная стрит. Наша улица бандитами пестрит».

Из-под пера Горбовского в то время вдруг выходил иронический сонет с прибавкой (или антисонет) — стихотворение шестнадцати-семнадцати строк, легкой, воздушной, безупречной конструкции — даже цитату не вынешь...

Хочу увидеть короля.
Живого. В праздничном мундире.
Ведь где-то есть еще земля,
пускай — единственная в мире,
где стража стынет у крыльца,
где королевская охота,
принцессы, бледные с лица,
по гроб влюбленные в кого-то...
Ведь где-то есть!
А может — нет?
Скорей всего король задушен.
Дворец пошел под сельсовет
или, по пьянке, был разрушен.
Сменнула стража, что к чему,
ушла в пожарники... А девы —
так до сих пор и не пойму —
принцессы, глупенькие, где вы?

Само собой понятно, что в те годы Горбовский печатался редко, заслуженно носил над своей забубенной головушкой ореол скандальности. Когда вышла книга его стихов «Тишина», — помню, скромная книжица в желтой обложке, — на нее тотчас последовала разгромно-доносительная рецензия в тогдашней «Советской России».

После этого Горбовского и близко не подпускали к печатным органам. На хлеб он зарабатывал в экспедициях — в Якутии, на Чукотке, благо друзей — поклонников его таланта — в геологической среде хватало. По осеням привозил с Колымы или Индигирки чавычу, муксуна, блокноты, заполненные стихами, — начинался пир без приглашения, для всех, кто причастен. Рыба съедалась, стихи выговаривались, поступали в атмосферу, разносились истовыми любителями по углам... И — ложились под спуд: печататься было негде.

Мы уже имели случай заметить, что стихи Горбовского, особенно в раннюю пору, на заре, рассчитаны на обратную связь, душевный отклик... То есть не рассчитаны, а взыскуют сочувствия, как протянутая рука пожатия. В них нет академизма; стихи не могут вылеживаться в столе, в сундуке, ибо — живые, пульсируют. Непечатание стихов означало для поэта... не буду договаривать, не знаю... Судите сами.

По внешним признакам, силой обстоятельств Горбовский оказывался в одном ряду, списке с теми, кого назвали диссидентами; его печатали за границей — в этом списке; дома... приглашали куда следует, беседовали, предостерегали. Круг сужался, нажим ужесточался и с той стороны, и с этой. Неординарная фигура, яркость таланта, популярность Горбовского «в низах» подымали ряд, список, в который поэта включали, давая понять, что все же... с суконным рылом в калашный ряд, до элиты, парень, не дотягиваешь... Хватка системы, невозможность самоосуществления «в стране пребывания», может быть, что-то еще — те, кого поминали в одном ряду с Горбовским, оказывались «за бугром».

Что было поделать с собою поэту? — порывались сердечные связи с собратьями по духу, ремеслу, судьбе; обрубались — навсегда... Ответ опять же поищем в книге «Сорокоуст», не выходя за пределы стихов, ибо в стихах — весь Горбовский, без умолчаний и недомолвок; его «вчера» — добрых пятнадцать лет безоглядной работы на износ... «Добрых» — не то слово; в стихах запечатлены пики отчаяния, искреннего, как колокольный звон... по самому себе, как у Есенина:

В час есенинский и синий
я повешусь на осине.
Не Иуда, не предатель,
не в Париже — в Ленинграде,
не в тайге, не в дебрях где-то —
под окном у комитета.
Что мне сделают за это?

Я не собираюсь выдавать желаемое за действительное, не забегаю вприпрыжку вперед... С фасада жизни сияли плакаты, лозунги, упразднили устав... Фигура поэта-трибуна, режущего правду-матку без ножа, проваливалась в яму — это уж точно. Поэзия вернулась на круги своя, не стезю вечных истин, оборотилась к соединению душ, на почве, приемлющей семя для всхода. Горбовский, чуткий к лейтмотиву времени, как взрыватель мины к гусенице танка, отдает себе отчет... Он даже приглашает своих критиков к переговорам — в духе времени — «за круглым столом»:

Нам говорят, что мы уже не те...
Но видит Бог, что мы имели дело
не только с временем,
с его прозрачным телом,
но с жизнью!
. . . .
Нам говорят, что мы обречены,
но разве то, что мы на свете жили, —
не ярче вечности,
ее бессмертной пыли?
Нам говорят...
А мы все ждем весны.

Это — сегодняшний Глеб Горбовский.

В шестидесятые годы он был обнаженным нервом общественной атмосферы; нерв вибрировал, душа кровоточила от надсады со всех сторон обступившей лжи. Податься было некуда — ни башни из слоновой кости, ни «моего дома — моей крепости»... «На помойке в драном стуле я сижу, как воробей...»

Это шутка, но в стихах Горбовского нет пустых обещаний кому-либо, даже себе самому. Поэт ощущал в себе силу — не для взбрыка, а для долгого несения креста не свою Голгофу. Впрочем, такое уподобление выспренно. Поэт поклонялся земным кумирам, по ним сверял свой путь в литературе, будучи верным подданным сей владычицы душ — светоносной и беззащитной перед тьмой-тьмущей зла. Смолоду до седых кудрей множество раз поэт Глеб Горбовский обращался сердцем к поэту Сергею Есенину как предтече по судьбе, собрату по масти.

Могу представить Блока
согбенным старичком.
Жена белеет сбоку
и тросточка торчком.
. . . .
И лишь один... С гитарой,
с оравой прихлебал,
не умещался в старость,
как я ни представлял.
Вот он стоит сквозь возраст,
и стать его — пряма!
Под русскою березой,
как молодость сама!
Стоит, как крест над храмом,
как музыка земли...
И на душе ни шрама,
ни пятен... от петли.

Я думаю, главное созвучие, единодушие Горбовского с Есениным выражено в есенинском: «Если крикнет рать святая: — Кинь ты Русь, живи в раю! Я скажу: не надо рая, дайте родину мою». Это — сквозное у Глеба Горбовского, всегдашнее, сыновнее и отеческое, христиански-святое, возвышенное, изначально прекрасное, как утро на берегу неотравленной реки. Здесь и точка опоры поэта, и почва для выживания. Разумеется, такой Горбовский намеренно не замечен его истолкователями.

В ранних стихах мотив России звучит подспудно, то есть редко включается в обиход само это слово, мотив-то звучит... Нынче Россия приобрела для ее сыновей, дочерей, то есть для нации, вполне реальный смысл последнего прибежища, оплота, дома, средства соединения... Национальные страсти на окраинах бывшей империи осатанели, льется кровь... Но русский дух привносит в обезумевший мир надежду всеприимства, благорасположения. И если Горбовский уведомляет-остерегает: «Еще Россия не сказала свои последние слова!» — то надо отнестись к гласу поэта (хотя бы и вопиющего в пустыне) со всей серьезностью, поэт ни в какие времена не витийствовал всуе.

Так нужен, дорог, спасителен в наше пропащее время глагол разума, не поколебленный вселенской тряской.

Почитаем сегодняшнего Горбовского в книге «Сорокоуст», да и вчерашнего, всегдашнего, — и мы проникнемся его высокой гражданственностью, лирической безоглядностью, сердечной решимостью послужить России как родному существу, дать ей слово надежды, защитить от навета. То есть Горбовский верен себе, внемлет смыслу времени, если угодно, эпохи; преображает сей сокрытый смысл в строки своей поэзии. Вибрировать на нерве нынче бесчеловечно. Действенность стиха — в его духовном наполнении.

...Мне и тогда, и нередко теперь
мнится под грохот весенней воды:
старая мельница — сумрачный
зверь —
все еще дышит, свершая труды.
Слышу, как рушат ее жернова
зерен заморских прельщающий крин.
Так, разрыхляя чужие слова,
в муках рождается русский язык.
Пенятся воды, трепещет каркас,
ось изнывает, припудрена грусть.
Все перемелется — Энгельс и Маркс,
Черчилль и Рузвельт, — останется
Русь.

Вот этого и не заметили в «позднем» Горбовском его всезнающие «благодетели» слева, впрочем, и с другой стороны, — обретенного поэтом духовного права говорить от имени мира русских людей, не упустив при этом из виду ни одного из тех, кто не осилил социальную лестницу, остался в самом низу.

Очнемся — не от запаха мимоз —
от ностальгий, сосущих кровь и мозг,
от поминальных вздохов по Руси —
она жива. И не на небеси.
Жива в глазах приютского дитя,
в тоске пропойцы, снятого с гвоздя,
в забытой бабке в мертвом хуторке
. . . .
Она жива...

В этом главное, как говорится, кредо поэта.

Признаюсь, уж давно, когда мне бывает... ну, всяко бывает, беру с полки книгу Глеба Горбовского и тотчас нахожу с ним общий язык, так нужный для задушевной беседы, а лучшего нам и не дано... Сойдемся вместе, беседа завяжется — и споткнется; стихи Горбовского навевают... нет, не золотые сны, — помогают обрести дно под ногами в быстро идущем потоке жизни, несущем тебя, бывает, и заносящим. Прочтешь Горбовского — и вспомнишь, кто ты есть. Вот, например, стихотворение «Третьи», написанное «сегодня», посвященное «памяти мирных граждан войны»:

Участникам войны — почет и ордена,
смерть и бессмертье, а на долю третьих
(в борьбе сторон есть третья сторона),
на долю третьих —
лишь ухмылка смерти.

А если жизнь, то чаще без отца,
без дома, без любви,
с душою инвалида...
Участникам войны,
тем, кто глотнул свинца,
и тем, кто не глотнул, —
и слава и эгида.
Жить под эгидой подвига — одно,
жить под опекой ужаса — другое.
Участникам войны завидовать грешно...
А третьи...
Вот ведь дело-то какое...

Третьи — это и есть мы все, большинство; Глеб Горбовский взял на себя обязанность говорить от нашего, большинства, имени, предоставить нам голос. Вот ведь дело-то какое...

Ленинград

НАШИ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

При журнале создан Фонд «Наш современник»
для поддержки патриотической прессы
в наши трудные времена

Деньги вы можете перечислить на счет МП «Русло»:
расчетный счет № 2609704 в коммерческом банке «Пресня Банк»
МФО 201114 — для «Нашего современника».

Редакция благодарит нашего соотечественника
гражданина США Михаила Сторчилло,
приславшего в помощь журналу 500 долларов.
Зарубежные читатели, желающие поддержать «Наш современник»,
могут посылать свои пожертвования на счет МП «Русло»
№ 07005232 в Агропромбанке, г. Москва, через следующие счета·

в долларах США

Account of Agroindustrial Bank, Moscow № 1. 227594.001.00 with Credit Lyonnais, New York Branch. 95 Wall Street, New York, N.Y., 10005, USA. Telex: 423494, 82723, 62410.

в марках ФРГ

Account of Agroindustrial Bank, Moscow № 1110007630 with Dg Bank (Deutsche Genossenschaftsbank). Am Platz der Republik, D-6000, Frankfurt/M, BRD. Telex: 699796, 699797.

ВНИМАНИЮ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КООПЕРАТИВОВ!

Журнал «Наш современник», широко распространяющийся
в нашей стране и за рубежом,
в том числе в США, Англии, Франции, Канаде, Швейцарии, Японии,
Китае, Австралии и других государствах
начинает публиковать рекламу по договорным ценам.

С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

103750, Москва, Цветной бульвар, 30.
Телефоны 200-24-12, 928-32-16, 200-23-54, 921-43-59.
Звонить с 12.00 до 18.00, кроме пятницы, субботы и воскресенья.

АНКЕТА «НАШЕГО СОВРЕМЕННИКА»

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Редакция журнала придает большое значение изучению мнений, оценок, предложений своих читателей. Мы постоянно анализируем почту редакции, регулярно проводим встречи авторов журнала с аудиторией. Сегодня «Наш современник» приглашает Вас принять участие в опросе. Редакция надеется, что, несмотря на все сложности нынешнего времени, Вы откликнетесь на нашу анкету.

При заполнении анкеты следует обвести кружком число (кодовую позицию), стоящее против ответа, который соответствует Вашему мнению, или написать ответ на специальнс отведенном для этого месте илн же на отдельном листе бумаги.

Страницу с анкетой следует вырезать и вместе с Вашими дополнительными ответами (если они будут) послать в редакцию журнала по адресу:

103750, ГСП, МОСКВА, ЦВЕТНОЙ БУЛЬВАР, 30.

Для облегчения обработки материалов опросе на конверте пометьте: «Анкета «Нашего современника».

1. СКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, В ТЕЧЕНИЕ СКОЛЬКИХ ЛЕТ ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ ЧИТАТЕЛЕМ ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННИК»?

1 — 1—2 года
2 — 3—5 лет
3 — 6—10 лет
4 — более 10 лет

ЧИТАЮТ ЛИ ЖУРНАЛ, КОТОРЫЙ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ:

	Регулярно	От случая к случаю	Не читают
2. Члены Вашей семьи	1	2	3
3. Друзья, знакомые, родственники	1	2	3

4. КАК ВЫ В ЦЕЛОМ ОТНОСИТЕСЬ К ИДЕЙНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ЖУРНАЛА «НАШ СОВРЕМЕННИК»?

1 — положительно
2 — скорее положительно, чем отрицательно
3 — скорее отрицательно, чем положительно
4 — отрицательно
5 — затрудняюсь ответить

5. ИЗМЕНИЛОСЬ ЛИ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА—ДВА ГОДА И, ЕСЛИ ИЗМЕНИЛОСЬ, ТО В КАКОМ НАПРАВЛЕНИИ?

1 — в положительном направлении
2 — осталось без изменения
3 — в отрицательном направлении
4 — затрудняюсь ответить

УДОВЛЕТВОРЯЕТ ЛИ ВАС КАЧЕСТВО, УРОВЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА-ДВА ГОДА В СЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛАХ ЖУРНАЛА?

	Удовлетворяет	Отчасти удовлетворяет, отчасти нет	Не удовлетворяет	Затрудняюсь ответить
6. Прозы	1	2	3	4
7. Поэзии	1	2	3	4
8. Очерка и публицистики	1	2	3	4
9. Критики	1	2	3	4

10. ЕСЛИ ВЫ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЧЕМ-ЛИБО ИЗ ОПУБЛИКОВАННОГО, ТО ПОЧЕМУ (напишите)? ____________________

____

____

____

11. О ЖУРНАЛЕ «НАШ СОВРЕМЕННИК» ВЫСКАЗЫВАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ МНЕНИЯ. С КАКИМИ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ВЫ МОГЛИ БЫ СОГЛАСИТЬСЯ?

1 — в публикациях журнала глубоко и объективно раскрываются исторические судьбы России, в том числе ее советского периода
2 — в целом авторы журнала защищают командно-административную систему и выступают против демократических преобразований
3 — в журнале проводится очень важная мысль о единстве экономики, нравственности и экологии
4 — в журнале постоянно звучит неверная по своей сути идея русского национального избранничества
5 — журналом справедливо подчеркивается, что будущее России невозможно без опоры на отечественные культурно-исторические традиции
6 — слабыми являются публикации журнала на экономические темы, поскольку в них превратно толкуется «рыночный» опыт цивилизованных стран

12. СОБИРАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПОДПИСАТЬСЯ НА ЖУРНАЛ В БУДУЩЕМ ГОДУ?

1 — да
2 — нет
3 — еще не решил

13. ЕСЛИ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ, ТО ПОЧЕМУ?

1 — не устраивает содержание журнала
2 — высокая стоимость подписки на журнал
3 — крайне нерегулярная доставка журнала читателям
4 — другое (напишите) ________________

____

14. На страницах журнала обсуждается широкий круг мировоззренческих проблем. **В ЭТОЙ СВЯЗИ НАМ ХОТЕЛОСЬ БЫ ЗНАТЬ, КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ВЗГЛЯДОВ НА МИР, НА ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА ВАМ ТАК ИЛИ ИНАЧЕ БЛИЗКИ.** (Можно отметить несколько позиций)

1 — либеральный
2 — социалистический
3 — монархический
4 — экологический
5 — национальный
6 — консервативный
7 — технократический
8 — космический
9 — патриотический
10 — религиозный ________________
11 — другое ________________
12 — затрудняюсь ответить

В заключение: не могли бы Вы сказать несколько слов о себе?

15. ВАШ ПОЛ:

1 — женский
2 — мужской

16. ВОЗРАСТ

1 — до 17 лет
2 — от 17 до 19 лет
3 — 20—29 лет
4 — 30—39 лет
5 — 40—49 лет
6 — 50—59 лет
7 — 60 лет и старше

17. ОБРАЗОВАНИЕ:

1 — неполное среднее
2 — среднее, среднее специальное
3 — высшее
4 — имею ученую степень

18. РОД ЗАНЯТИЙ ________________

19. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ ________________

20. КАКОВ РАЗМЕР МЕСЯЧНОГО ДОХОДА НА ОДНОГО ЧЛЕНА ВАШЕЙ СЕМЬИ?

1 — до 100 рублей
2 — от 101 до 200 руб.
3 — от 201 до 300 руб.
4 — от 301 до 400 руб.
5 — от 401 до 500 руб.
6 — свыше 501 руб.

21. ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ (напишите)?

____

____

____

22. ВАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ РЕДАКЦИИ:

____

____

____

____

Благодарим Вас!

дением равных прав языков всех — больших и малых — народов и созданием первой славянской азбуки.

Правда, недруги славянства не раз пытались пресечь одну из величайших традиций нашей культуры. Впервые эта "забывчивость" проявилась в 1682 году. С тех пор о празднике Кирилла и Мефодия Русь не вспоминала почти 180 лет. Следующая попытка выкорчевать народный обычай была предпринята в 1917 году.

Традиция величания славянского слова возродилась только в 1986 году благодаря мурманским писателям Виталию Маслову и Виктору Тимофееву и журналисту Дмитрию Тараканову.

За минувшие шесть лет у славянских торжеств сложились свои обычаи. Естественно, день славянского слова широко отмечает Церковь. 24-го мая во всех православных храмах в честь святых равноапостольных Кирилла и Мефодия совершаются божественная литургия и крестный ход. Ученые в этот день проводят научные собрания. В школах же праздник по обыкновению начинается уроком "В начале было Слово".

Но главное — всенародные торжества. Вот как они проходили в Смоленске, который был избран в нынешнем году главным центром праздника славянской письменности. После литургии в Успенском соборе и крестного хода на Массовом поле прошел концерт. На одной из центральных улиц, которая прежде носила имя Воровского — человека, во многом способствовавшего забвению славянской культуры, появилась мемориальная доска с изображением великих славянских просветителей. Теперь это улица Кирилла и Мефодия. А в устье реки Смядынь на месте гибели одного из первых русских святых Глеба был открыт и освящен памятный знак.

Вячеслав ОГРЫЗКО

Фотографии Вячеслава Карева, Геннадия Малофеева и Анатолия Пантелеева